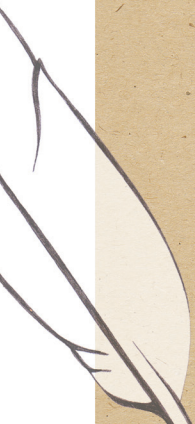


ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы
Книга одиннадцатая
(III - 2007)

Verlag "Partner"
2007



Редколлегия:

Даниил Чкония – *главный редактор*
Лариса Щиголь – *зам. главного редактора*
Людмила Агеева
Борис Вайнблат
Сергей Викман
Юрий Малецкий

“Zarubežnye zapiski“

ISSN 1862-8419

Все тексты этого и других выпусков журнала
представлены на интернет-порталах:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ

Журнал русской литературы

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Владимир Салимон. Я ещё не всё успел сказать. <i>Стихи</i>	2
<i>К 60-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА</i>	
Александр Мелихов. Два рассказа	10
Девушка и смерть	
Идиот	
Елена Елагина. Силы дарит страсть	25
<i>ПОЗДРАВЛЕНИЯ</i>	
Владимир Губайловский. Дорога на Чаттанугу. <i>Стихи</i>	34
Александр Кабаков. Рассказы	42
Миллион	
Сокровище	
Кот	
Эвелина Ракитская. Четыре стихотворения	58
Александр Иличевский. Случай Крымского моста. <i>Рассказ о реке</i>	61
Леонид Гиршович. Застолье. <i>Опыт в бытовом жанре</i>	73
Георгий Нипан. Два рассказа	96
Жёлтый лист, зелёный лист...	
Папа Карло	
Ольга Бешенковская. <i>Стихи</i>	109
Хаим Соколин. Серая зона. <i>Роман (окончание)</i>	114

ЭССЕИСТИКА, КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА

Марк Харитонов. Стенография начала века	151
Владимир Кантор. Немецкое русофильство, или предчувствие нацизма	161
Борис Хазанов. Станьте, дети, в круг	169
Сергей Чупринин. Признательные показания	173
Юрий Колкер. Мамура, крокодил, или сколько лет России?	177
Евгений Кочанов. Вращая разноцветный глобус (<i>окончание</i>)	182

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Евгений Минин. Пародии	191
Письмо в редакцию	197
Коротко об авторах	199

Сентябрь, 2007

Я ЕЩЁ НЕ ВСЁ УСПЕЛ СКАЗАТЬ

* * *

На лужах корка ледяная, ломкая,
но, может быть, мне это только кажется.
Из окон льётся музыка негромкая,
что с общим одичанием не вяжется.

Невольно я заслушаюсь звучанием
какой-нибудь ужасно тонкой скрипочки –
в неё смычок впивается с урчанием,
а дирижёр слегка встает на цыпочки.

* * *

Больше нам никто не обещает
тёплых и безоблачных деньков,
и лодчонки утлые качает
ветер на волнах вдоль берегов.

Неустойчивое равновесье –
это то, что трудно удержать.
Кувыркнулась птица в поднебесье.
Крепнет ветер, надо полагать.

* * *

Ночью дохнёт неожиданно холодом,
и сквозняки загуляют по дому,
что непременно послужит мне поводом,
дабы на жизнь посмотреть по-другому.

Будто с другими глазами действительно
можно очнуться во мраке кромешном
и изумиться, сколь он ослепительно
чёрен на фоне зимы белоснежном.

Если кому-нибудь предназначение
в небе сияющих звезд непонятно,
может за уличное освещение
горний их свет он принять, вероятно.

* * *

Существенный изъян венца творенья стал
особенно заметен в непогоду.
На площади пустует пьедестал,
похожий на дубовую колоду.

От птиц порою, как от мух, отбоя нет.
С утра до ночи вороньё кружится,
покруче хочет закрутить сюжет.
Осталось лишь – пойти и удавиться.

* * *

Вдруг воробьи за окном законные
весело так загалдят,
только одни лишь они, незаконные,
на всю округу шумят.

Им недосуг, что под вечер покроется
пруд окончательно льдом,
снулая рыбина, как это водится,
чуть не задохнется в нём.

Жизнь есть белковых тел существование.
Впрочем, ещё поглядим.
Думаю я, затаивши дыхание, –
малость еще погодим.

* * *

Солнце поднималось тяжело.
Если бы у солнца были ноги,
я б тогда решил, что их свело
от усталости на полдороге.

Но известно – ног у солнца нет.
У него – одни сплошные руки.
По холмам карабкаясь, чуть свет,
страшные испытывает муки.

* * *

Сердце разрывается от счастья,
и от боли на сырой песок
падаю я замертво в ненастье,
так как под собой не чую ног.

Может быть, лишь только на мгновенье
солнце из-за тучи кажет нос.
Чувствуется ветра дуновенье
при пролёте мимо нас стрекоз.

* * *

Осенних свадеб время близится.
Я вымыл пол собственноручно,
не чтоб в глазах твоих возвыситься,
а потому, что стало скучно.

Акация, как будто вёслами,
во тьме ветвями загребаёт.
Под кустиками низкорослыми
порой кошачий хвост мелькает.

Старуха, с виду полоумная,
кота с утра до ночи кличет.
Лицом в подушку дева юная
не без причины, верно, хнычет.

* * *

Жду, когда дворники станут лопатами
снег с тротуаров сгребать в полумраке.
Будто живущие под оккупантами,
мы испугаемся лая собаки.

Стук металлической двери последует
поутру следом за сдавленным стоном.
Прав без сомнения тот, кто советует
власть уважать и не спорить с законом.

* * *

Золотом мощённая дорога
очевидно пробы наивысшей,
а на сердце у меня тревога,
будто бы я сам – листок отживший.

Я на то имею основание
самое серьезное, должно быть, –
вместо снега, словно в наказание,
надо мной кружатся гарь и копоть.

* * *

Ничего значительного с нами
словно вовсе не произошло,
отчего тогда скриплю зубами
я во сне мучительно и зло?

На кого я затаил обиду,
и кому простить я не могу,
в общем-то вполне приличный с виду,
не из тех, кто ближних гнёт в дугу?

В сумерках из леса вышли волки,
и, оскалась, воют на луну,
а быть может, это стонут ёлки,
оказавшись в ледяном плену.

* * *

Словечки непроизносимые,
такие как *трансцендентальный*,
а за окном хлеба озимые
имеют вид весьма печальный.

А что такое есть томление,
как не упадок силы духа,
не лес осенний в отдалении,
старик глухой на оба уха?

* * *

В общем, пустяковые детали
более всего волнуют нас:
в поселковом клубе на рояле
тщательно разостланный матрас.

Крошечной ладошки отпечаток.
В доме, заколоченном давно,
где царит ужасный беспорядок,
чуть окошко приотворено.

В невзначай оставленную щёлку
ветер задувает снег с дождем,
и герань, похожая на ёлку,
вся заиндевел, горит огнем.

* * *

Непреодолимая преграда –
чащи непролазные окрест,
Машеньке куда ходить не надо,
так как там медведь ее заест.

Но она нередко спозаранку
из дому с корзинкой в лес идёт,
или же навстречу мне вязанку
хворосту тяжёлую несёт.

Девонька-красавица из леса
тащит непрестанно все подряд.
Мухоморов парочку для веса
спрятать норовит среди опят.

* * *

Как кошка, запах свежего белья,
ты любишь снег, кружащийся над лесом,
и вьюгой занесённые поля
разглядываешь с явным интересом.

Забыв об осторожности, чуть свет
ступаешь босиком на пол холодный.
Взаправду, на тебя управы нет,
поскольку женщины – народ свободный.

* * *

Трясогузка, серенькая мышка,
полубоком скачет по дорожке,
ей давным-давно была бы крышка,
попадись она соседской кошке.

Но на всё, должно быть, Божья воля.
Их пути по счастью разминулись,
посреди картофельного поля
мы с тобой в грязи не захлебнулись.

* * *

Скоро возраста окаменелости
я достигну, и от оголтелости,
необузданности и следа
не останется, верно, тогда.

Дорогая моя и любимая,
нынче ночь за окном нестерпимая,
снег на ветках еловых налип,
и они издают страшный скрип.

На морозе трава подзаборная,
прежде рыжая, сделалась чёрная.
Заклубился, завьюжился мрак.
Что-то с нами со всеми не так.

* * *

Фотки, испещрённые дождём,
будто бы засиженные мухами,
возле проходной ненастным днём –
старики сплошные со старухами.

Увидав знакомое лицо,
отвожу глаза смущённо в сторону,
путаюсь в худое пальтецо,
якобы нам всем досталось поровну.

Словно лес валил, копал канал,
у станка стоял с утра и до ночи,
палец сгоряча под нож совал
и при этом не молил о помощи.

* * *

Здание районной средней школы
издали похоже на тюрьму,
несмотря на то, что окна голы,
двери настезь.
В общем – не пойму.

Но когда я мимо проезжаю,
увидав знакомый силуэт,
почему-то головой качаю
и твержу:
На свете счастья нет.

* * *

Не на обозрение всеобщее,
к медсестре поворотился задом,
разом обнаживши тело тощее,
мученик с отсутствующим взглядом.

На заре рассвет полоской тонкою
растянулся меж землёй и небом.
Двор больничный обойдя сторонкою,
поспешил я в магазин за хлебом.

* * *

Кажется, воротится ещё
жизнь однажды на свои круги,
и неважно, что болит плечо,
что порою не поднять руки.

Что кардиограмма пострашней
роста цен, падения рубля,
с каждым днём вода в реке черней,
но белей окрестные поля.

* * *

Кто-нибудь, возможно, поклонится
церковке, но даже не заметит,
что она – седая, как ослица,
а на ней верхом Господь наш едет.

Вот она, взойдя на холм высокий,
то ли вниз спуститься не сумела,

Я ЕЩЁ НЕ ВСЁ УСПЕЛ СКАЗАТЬ

Перо бумагу только зря царапает,
как ни стараюсь – букв не разобрать.
Того гляди, курносая зацапает,
а я ещё не все успел сказать.

2006 г.

ДВА РАССКАЗА

ДЕВУШКА И СМЕРТЬ

Вместе с жарой и пылью началась всеобщая расслабуха, а на этот раз не явился и тренер. Поэтому Олег с Сергеем Качурой, по прозвищу Кача, разминались вдвоём в целом зале. Кача, ставши на мост, качал шею, и без того игравшую, казалось, какими-то даже неизвестными мышцами. Впрочем, среди пацанов было доподлинно известно, что у чемпиона мира Альберта Азаряна от усиленных занятий на кольцах развились новые мышцы, которые бывают только у обезьян.

Олег жал двухпудовую гирию, стараясь дойти до пятнадцати раз. Классе, наверно, в третьем Васька Душенин похвастался, что его брат пятнадцать раз жмёт двухпудовку, и вот эти пятнадцать раз, оказывается, стали для Олега эталоном силы. Он сколько угодно мог бы над этим насмешничать, сравнивая, например, Васькиного брата с Юрием Власовым или хоть с тем же Качей, но всё равно – четырнадцать раз не принесли бы ему и сотой доли удовлетворения по сравнению с пятнадцатью: собственное мнение никогда не может быть таким авторитетным, как чужое.

Олег бы лопнул, но дошёл до пятнадцати, но где-то к десятому разу начала исчезать рука. А никакая сила воли не может заставить трудиться то, чего нет. Олег мял бицепс, убеждаясь, что он всё-таки есть, а Кача отжимался на руках. Спина у него походила на туго обитую дерматином государственную дверь – везде вздувается, где не прихвачено гвоздями.

В груди Олега, когда он смотрит на Качу, начинает наливать теплом какая-то электрическая лампочка – благодарность Каче за то, что он такой, какой он есть. По общественному положению он что-нибудь на уровне замминистра – все блатные здороваются с ним чрезвычайно почтительно, – здесь же, в зале, он и вообще король, а держится почти застенчиво, смущённо улыбается, как будто не он тебе делает честь своим разговором, а ты ему. Когда он на тебе отрабатывает броски, чувствуешь себя как у Христа за пазухой, – обязательно подстрахует. А многие ведь, наоборот, радуются, что во время отработки не имеешь права сопровитляться, и норовят так припечатать тебя к ковру, что хочется не вставать часика полтора, – а они стоят над тобой, отставив ногу и горделиво глядя вдаль.

Кача, чтобы вспотеть, начинает лупить тяжёлый боксёрский мешок. Мешок тяжело содрогается, и на нём медленно затягиваются страшные вмятины. Олег невольно представляет себя на месте мешка – брр...

После тренировки Кача окидывает взглядом спортзал и видит беспорядок: гирия не на месте. Он несёт её без усилия, словно котёнка за шиворот. А Олегу и в голову не пришло побеспокоиться...

Интересно: при других Олегу хочется показаться более бывалым, чем он есть, даже приклатнённым, – а при Каче, наоборот, становится всего этого неловко. Он даже с удовольствием называл бы Качу не Качей, а Сергеем, только это тоже было бы ломаньем.

А потом, вдыхая волшебный запах борцовского пота, Олег любовался, как Кача бренчит многососковым жестяным корытом рукомойника, – ни у одного греческого бога не было этого сочетания стройности и мощи.

За Качей зашёл незнакомый парень с подбритыми в пилку от лобзика чернявыми усиками над румяными губками, сложенными, как у kota на коврике, с личиком не то красивым, не то ничтожным.

– Андрюха, – залихватски представился он и, словно на ярмарке, огрел Олега по ладони. С гордостью показал на Качу: – В одной шараге слесарим.

– Выпьешь с нами? – спросил Кача, будто и не подозревая, о какой чести идёт речь. А может, и правда не подозревая: для него ведь все люди равны.

– Само собой, – пожал плечами Олег. Пить ему приходилось в основном на семейных праздниках по полрюмки сладкого вина, которую мать пыталась перехватить у отца на пути к Олегу, а Олег сверкал на неё глазами и не кричал «что я, маленький?!» лишь потому, что так кричат только маленькие.

На улице Олег вдруг увидел мир с новой для себя жадностью и внутренне ахнул: «Неужели я это всё забуду?..» Взгляд его упал на влажный отпечаток велосипедного колеса: через равные промежутки длинные рубчатые дыньки отпечатывались всё слабее и слабее. И через годы и годы этот отпечаток въяве вставал перед его глазами, стоило ему захотеть.

Андрюха так затараторил с продавщицей винного отдела, что она забыла выпустить бутылку «Московской»; они держались за «Московскую» через прилавок, будто за руки, и она глядела на него особенным, ласково-вкрадчивым взглядом. И у Олега сжалось сердце – на него-то никто так не станет смотреть...

Он покосился на Качу. Кача снисходительно усмехнулся, как если бы Андрюха посреди магазина ни с того ни с сего пустился в пляс. У Олега отлегло от души: оказывается, можно считать, что Андрюха вовсе и не ухарствует, а наоборот – смешит людей. Как это Кача всегда находит правильный взгляд на вещи!

Зато продавщица карамелек не поддалась Андрюхиным чарам, за что и пострадала. Андрюха поинтересовался, как бы между прочим:

– Да, девушка, конфеты «Ласточка» у вас есть?

– Вы что, сами не видите?

– А трусов нет?

– Откуда? – воззрилась она.

– Из универмага. Возьмите хоть дешёвенькие.

– Не будет рожу воротить, – на улице прокомментировал Андрюха. – Знаете, есть ещё такая покупка: девушка, у вас какие волосы? А на голове?

Олег криво усмехнулся, не зная, как в таких случаях положено реагировать.

– Не цепляйся – не будет воротить, – резонно заметил Кача.

Что бы Олегу самому догадаться!

Они протиснулись в городской парк между толстенными прутьями ограды, ржаво-полированными поколениями пролезавших, разогнутыми в незапамятные времена неведомыми богатырями прошлого, каких в наше хилое время уже не сыщешь. По истоптанной пыльной тропке забралась в дохлые кустики акации, где и уселась среди серебристой полыни, в которой ещё вовсю стрекотали кузнечики, словно целая часовая мастерская. Об эти акации те же поколения открывали бутылки, и многие раны ещё не затянулись. А затянувшиеся обвели себя по краям выпуклым колечком, середина же волокнисто серела, будто голая кость. Сквозь кусты просвечивала нагая гипсовая женщина, прижимающая к животу пойманную рыбу, которую Олег долгое время принимал за мочалку. За женщиной вялым рыбьим зевком зияла эстрада для художественной самодеятельности. На правой её стороне низко и как-то траурно свисал длинный флаг. Слева молодой человек, стройный, как раскрытые ножницы, возвещал с плаката, сияя треугольной улыбкой: «Самодеятельность – лучший отдых!»

Перед бутылкой Олег собрался, как перед штангой, но выпилось неожиданно легко, будто вода, – и с какой-то подозрительной слащавостью. Удалось даже не поморщиться.

– Как вы только её пьете, – сокрушённо сказал Кача и после своей дозы выдохнул с силой паровоза, а потом сморщился, будто от изжоги. И опять это вышло у него как-то достойнее, чем у Олега. Ведь сколько уже раз убеждался, что лучше не ломаться...

Андрюха выпил как-то наспех и поскорее перешёл к главному – мужской беседе. Олег не верил своему счастью: да он ли это сидит в этих исторических кустиках с настоящими взрослыми парнями!

– Ты сколько баб попробовал? – потребовал Андрюха у Качи.

– Кончай, – отмахнулся Кача: как, мол, только самому не надоело.

– А я штук тридцать перепробовал за свою жизнь короткую, – довольно закончил Андрюха. Он вопросительно посмотрел на Олега, пытаясь найти в нём более благодарного слушателя, – и нашёл.

Это дело в последнее время стало для Олега чрезвычайно актуальным, – брало не столько, может быть, остротой, сколько неотступностью: стоило хоть минуту посидеть спокойно – и привязывалось. Вот и сейчас ему было трудно отвести взгляд даже от этой дурацкой бабенции с рыбой-мочалкой.

Но ни к одной реальной женщине он ничего подобного не испытывал. Образ, донимавший его по ночам, как будто не имел лица – зато остального было через край. Но в присутствии любой реальной женщины всё это улетучивалось без следа, пряталось за какие-то барьеры – у живых женщин он видел именно лицо, глаза, слышал их слова – а остального просто не существовало. Да он бы со стыда сгорел, если бы в присутствии настоящей женщины подумал о чём-нибудь в этом роде.

– Что естественно, то не безобразно, – приговаривал Андрюха, и видно было, что это для него не противовес каким-то другим мнениям, а единственная известная ему истина. И от первозданной свободы, с которой Андрюха говорил об этих делах, в самом Олеге тоже начинали таять какие-то ледяные барьеры. А ведь это очень приятно – узнавать, что чего-то в себе, оказывается, можно вовсе не стыдиться.

Женщин Андрюха называл просто *они*.

– Ты запомни, – настаивал Андрюха, – *они* сами хотят.

Вместе с тем надо было всё-таки *не зевать* – как на охоте: вовремя подставить ножку, перехватить руку (прямо спортивная борьба!), выключить свет, нажать на нужную кнопку незамысловатого пускового механизма: если баба *не даёт*, поверни ее за левую сиську. Однако в этих отношениях охотника и дичи для женщин не было ничего оскорбительного, а только приятное – они сами с чрезвычайной простотой занимались этим в самых, казалось бы, неподходящих местах: и здесь, под кустиками, и под танцплощадкой, и вон там, возле сортира.

– Дружинники ему тычут в спину, – хохотал Андрюха, – а она отмахивается: не мешайте, пускай кончит!

Такого чувства освобождённости Олег, кажется, не испытывал ни разу в жизни. А ещё болтают, что эти отношения могут быть чистыми, а могут – грязными! Ну, люди! – делают одно и то же, а всё равно своё норовят обозвать получше, а чужое похуже. Нет на свете никакой грязи, просто когда делаю я – это чистота, делает другой – грязь. Вот и весь секрет.

Олег с гордостью чувствовал, что несколько не опьянел, – наоборот, никогда он не ощущал такой лёгкости, ясности, уверенности.

Небо начало по-вечернему темнеть, проклюнулись первые звёздочки, будто наколотые шильцем в какой-то мир безбрежного света. Засветился фонарь, как

светятся сигнальные лампочки на приборах – пока ещё ничего не освещая, а будто стараясь привлечь к себе внимание, показать, как он умеет.

В атмосфере беседы почувствовалась некая исчерпанность. Надо было либо расходиться, либо добавлять. За добавкой пошли мимо танцплощадки, вокруг которой уже толпились завсегдатаи, скрывающие радостное возбуждение, оттого что запросто явились в столь небезопасное место, готовые уважать и окружающих героев и потому называющие друг друга очень ласково – Толик, Шурик... Однако каждый всё-таки понимал, что повысить своё достоинство здесь можно только за чей-то счёт, – поэтому все были настороже. Амбиции тут были натянуты очень туго. Что ж, для многих здесь их положение на танцах было единственным, за что они могли себя уважать.

Впервые в жизни, проходя здесь, Олег не испытывал ни малейшего напряжения: если Кача с тобой поддал – ты в безопасности за его каменной спиной. Кача потрясающе верный товарищ.

За высоченной противозащитной оградой танцплощадки ударил духовой оркестр, из-за кое-каких новинок переименованный в эстрадный, но всё же сохранивший некое расстроенное величие – глухое уханье барабана, грозный дребезг медных тарелок, надтреснуто-траурное пение труб. Впрочем, это понимали все, и эстрадные оркестранты приглашались на похороны ничуть не реже, чем раньше, и, бывало, отдуев, как они выражались, жмура, прямо от гробового входа отправлялись на танцы, где играла младая жизнь.

Оркестр набрал разгон, и мужской голос закричал в микрофон: «Джямаяакя!» – из Робертино Лоретти. Голос через репродукторы, с многократным эхом, звучал, как в вокзальных объявлениях. Певец отличался от любого непевца лишь тем, что считал возможным при таких вокальных данных брать с публики деньги.

Танцы начались. Но этого, казалось, никто не заметил. По площадке закружились одни девицы, разноцветным мельканием сквозь щели напоминая карусель. Мужчине разрешалось завернуть туда как бы невзначай и лишь тогда, когда толкотня там будет уже в разгаре. Началось взаимное пересидивание. Оживлённые стали еще оживлённее, безразличные – еще безразличнее.

Компани не замечали друг друга с удвоенным упорством.

Сообразившие на троих друзья гордо прошли сквозь мельтешение белых и красных рубашек, среди которых далеко не все были так сообразительны.

Когда они шли обратно с литой бутылкой «Вермута», которую Андрюха назвал «огнетушителем вермути», чем окончательно обворожил продавщицу, Олег ощутил внезапный холод под ложечкой: он встретился глазами с Идолом. Собственно, Идолом его называла мать, когда орала на него на весь квартал, а вообще не стоило так называть его в глаза. Кача-то, конечно, мог себе это позволить, но он никого не звал по кликухе, если это тому не нравилось.

В сущности, в глазах Идола не светилось ничего страшного, – наоборот, он тщательно следил, чтобы во взгляде его не было ничего живого, – но, вероятно, всегда страшен взгляд человека, для которого не существует никаких барьеров, кроме тех, о которые взаправду можно расшибить нос.

Идол с Качей жили по соседству друг с другом (и с Олегом), оба с незапамятных времён без отцов, у обоих матери уборщицы в одной и той же школе, только Качина мать всех называет сыночками, а Идолова всё время на каком-то надрыве, норовит замахнуть тряпкой. Один глаз у нее вставной, и когда она орёт и замахивается, он безнадежно смотрит в небо, как бы выдавая истинное состояние её души. Может быть, поэтому она дома ходила с пустой глазницей.

И то сказать, что и жизни у неё с Качиной матерью очень разные, – Кача вон и зарабатывает, и за водой бегаёт вместо вёдер с флягами литров по тридцать, а Идол только «пьёт из неё кровь». Кача с матерью хотя живут тоже не бог вест в каком домишке, но где надо побелено, где надо покрашено – даже уютно. А

Идолова халупа блиндажом выдавливается из земли, вся обтекаемая, как батискаф, из-за многочисленных обмазок глиной, а на плоской крыше разбросаны куски шифера и толя, придавленного обломками кирпичей. Кача всё это перекрыл бы в два счёта.

А Идол с утра отправляется на школьный двор и тщательно выбирает обломок штакетины – без сучков, а потом целый день складным ножом с рукояткой в форме бегущей лисички тщательно выстругивает грузинский кинжал. Он ювелирно отделяет грани и поднимает голову, только когда кто-нибудь проходит мимо. И все, встречаясь с его удивительно спокойным взглядом, отводят глаза. Олег, когда надо бывало бежать за водой, всегда с неудовольствием вспоминал, что придётся пройти мимо Идола. С виду Идол его не замечал, но у Олега росло неприятное предчувствие, что Идол уже давно его приметил.

– Хоть бы за водой сходил... идол! – с безнадежной остервенелостью кричит из-за ограды мать.

– Иди в ж... , косая падла, – всё-таки вполголоса отвечает Идол и внимательно смотрит вдоль лезвия кинжала.

Однако у Олега всегда такое чувство, что мать тоже не совсем права, что сразу обзывает его идолом, не дожидаясь, покуда он откажется. Даже Идолу нужно оставить возможность выбора, быть Идолом или человеком.

Когда же из парка доносится лязг и буханье оркестра с «Джямяйкой», Идол старательно расщепляет доведённый до совершенства кинжал на лучинки спичечной толщины и скрывается в блиндаже, откуда появляется в ослепительном вечернем костюме: узконосые мокасы, лазурные брючата, облипающие на икрах и обвисающие на ляжках и заду, моднейшая красно-оранжевая рубашка, спереди обтянутая, а сзади вздутая пузырём. Чтобы пузырь не опадал, складки вдоль спины располагались специальным образом в виде шпангоутов.

Невероятно спокойный, лишь слегка поигрывая желваками, он шагал к автобусной остановке и торчал там хоть два часа, – пройти восемьсот метров на своих двоих было ниже его достоинства.

Сейчас Идол стоял перед ними, абсолютно невозмутимый, одни только скулы слегка поигрывали.

– Выпьешь с нами? – пригласил его Кача.

– Этот с тобой, что ли? – Идол ткнул пальцем в Олега, одними бровями изобразив изумление и следя, чтобы голос был не более выразительным, чем скрип несмазанной двери. И Олег со стыдом ощутил, какое чистое у него лицо, какой живой и внимательный взгляд. Ещё и не забалдел, как назло... Может, хоть выхлоп есть? Он стал усиленно дышать в сторону Идола.

– Кончай, – Кача почти ласково дотронулся до Идолова локтя. Может быть, это не так уж и хорошо, что для Качи все люди равны?

Прежде чем забраться под кустики, Идол комком земли пресерьёзно затер глаза молодому человеку на плакате, а затем тщательно выбрал в чешуйчатой обшивке эстрады подходящую дощечку – без сучков, в три рывка отодрал и своей «лисичкой» принялся невозмутимо выстругивать грузинский кинжал – цель его жизни на каждый день. И такова была сила этой невозмутимости, что даже Андрюха примолк. Олег, стараясь не привлекать внимание Идола, высчитывал в уме, рассказать ли пацанам, что *они с Качей и Идолом* раздавили две бутылки на троих (Андрюха не в счёт, потому что «огнетушитель» больше обычной бутылки), или перевести водяру в винище, и тогда получится уже три бутылки?

* * *

Идол не стал сентиментальничать и удалился, как только опустела бутылка, даже кинжала расщеплять не стал – он любил разрушать именно совершенное.

На танцплощадке он постоял у ограды сколько полагалось, мёртвыми глазами глядя сквозь танцевальную толкотню и поигрывая желваками. Иногда его задевали, но сразу же терялись в толпе, и ему оставалось только мертветь и играть желваками, повторяя про себя: «Ну, суки, ну, суки...»

У выхода, на границе между светом и тьмой каменела контролёрша – гранитная бабка, непреклонно облачавшаяся от ночной сырости в ватник и кирзовые сапоги, не соблазняясь разливающимся вокруг великолепием. Она сунула ему контрамарку, по которой можно было вернуться обратно без билета.

– Надрыгался ногам? – полуутвердительно спросила билетерша. – Как всё равно козлы...

Снаружи, колеблясь, словно водоросли, тянулись вперёд и вверх, будто в необыкновенно активно работающем классе, десятка полтора рук с мольбой: «Контрамарочку, контрамарочку!..» Шедший впереди парень, не глядя, королевским жестом сунул этому осьминогу скомканную бумажку, после короткой, но бурной схватки растворившуюся в воздухе. Идол очень спокойно и тщательно, как расщеплял кинжалы, изорвал контрамарку и новогодним конфетти пустил по ветерку над головами просителей. «Ну, суки, ну, суки...» – повторял он про себя.

На улице ему попалась навстречу парочка – голубочки, защебетались, выпялились один на другого. Поравнявшись с ними, Идол изо всей силы ударил парня плечом в грудь, прибавив очень спокойно: «Смотри, куда идешь». Остановился и подождал. Но девчонка утащила парня прочь.

На автобусной остановке он минут сорок мёртвыми глазами смотрел на ожидавших и повторял про себя, поигрывая желваками: «Ну, суки, ну, суки...» В автобусе, стиснув челюсти и упершись локтями в стенку, он создал для себя тридцать сантиметров свободы, и его сосед, благообразный мужчина с портфелем, размышлял, глядя на его волевое лицо: «Порождение определённой микросреды».

Идол слышал за спиной трудную возню: «Вы не выходите? Давайте мы с вами поменяемся» – и ждал остановки. «...Ну, суки, ну, суки...» Когда автобус притормозил, он внезапно присел и, упершись ногами в стенку, с силой выпрямился вкось, к выходу, угодив изумлённому мужчине головой в подбородок, и, остервенело работая локтями, продрался на улицу, выдавив двух теток.

– Хулиган! – донеслось до него, но он не оглянулся. «Ну, суки, ну, суки...» – повторял он про себя.

* * *

После ухода Идола Андрюха с удвоенной силой вернулся к прежней теме. Они сами хотят, тут главное – не зевай! Многие из них даже лозунга «не зевай!» не могли целиком предоставить мужчинам, а начинали не зевать сами. Пройдись вот тут, по кустикам – обязательно какая-нибудь прицепится, начнёт предлагать себя. Плохо только, что в темноте не видно, ещё напорешься на какого-нибудь крокодила...

Странный человек... не всё ли равно: крокодил – не крокодил...

А с Олегом что-то произошло, как-то плохо он стал понимать, что ему говорит Андрюха, старался вслушиваться – и не мог. Даже всмотреться в женщину с рыбой толком не удавалось – всё она куда-то уплывала. И не потому, что было уже темно, – фонарь светил вполне исправно. На эстраде какая-то женщина, сладострастно изгибаясь на месте, исполняла медленный индийский танец, приманивая самцов, и он долго не мог понять, что это флаг колышется под ветерком.

Никак было не сосредоточить зрачки. Он попытался закрыть глаза, чтобы они успокоились, но сразу же ноги начали подниматься кверху, и он еле успел открыть глаза, пока ещё не очутился вверх ногами. Ломило голову и было жарко в самом себе. Струйками набегала слюна, и слишком противно было её сглатывать, и он

не знал, куда деваться от собственного дыхания, – таким мерзким вдруг стал приятный аромат «Вермута». Олег встал.

– Домой? – спросил Кача, но было слишком противно отвечать ему, будоражить рот, отвратительный, как помойка.

Завидев танцплощадку – рассышающую кадушку света, он с безразличием вспомнил, что тоже, случалось, изнывая от скуки и унижения, тянул руку за контрамаркой, надеясь, что она ему не достанется. Но это было почётное унижение, им можно было хвастаться, как, наверно, в старину не считалось унижительным напроситься в гости к королю.

Он зачем-то припал к освещенной щели. Перед ним кружились голые ноги в туфельках – полные, худые. Ему было на них наплевать. Он перевёл глаза вверх, на лица, и столкнулся с сияющим девичьим взглядом, которым она смотрела на своего партнёра. В нём что-то оборвалось. Насколько он мог еще соображать, он понял, что ему нужен именно взгляд, а не ноги, что он предчувствует в женщине какое-то умиротворение, – а с лозунгом «не зевай!» ни на взгляды, ни на умиротворение рассчитывать не приходится.

По пути в уборную он сбился с дороги и ориентировался исключительно по пронзительному запаху хлорки. Совершенно неожиданным было количество ям и бугров, деревья выскакивали как из-под земли. Они толкались совсем не больно, но буквально сшибали с ног.

Он вспомнил, что где-то неподалёку, если верить Андрюхе, дружинники кого-то тыкали в спину. Добравшись до места, он с усилием всмотрелся в огромное «ню» над желобком, в котором взбитыми сливками стояла хлорная пена – молочная река. Лицо у «ню» было нацарапано кое-как – «точка, точка, запятая», а всю свою страсть художник вложил в грандиозные бёдра, напоминавшие исполинский червонный туз. Может быть, всё-таки это и есть нормальный взгляд на женщину, а он, по обыкновению, путает и усложняет?..

Он, спотыкаясь, брёл в темноте, в которой, тоже спотыкаясь, разыскивали его несчастные женщины, не знавшие, кому предложить себя. Некоторые, может быть, не решатся так прямо обратиться к нему за помощью, но тут уж *не зевай*. Наконец неподалеку от танцплощадки одной из них повезло – она столкнулась с Олегом нос к носу.

– Не меня ищешь, девушка? – развязно спросил Олег, хватая ее за руку. Слова, интонация, жест сработали, как у автомата, – тоже, оказывается, сидели в нём.

Она рванулась, но это было не так просто. Автомат, пробудившийся в нём, хотел предложить ей не ломаться, но тут он случайно взглянул ей в лицо, иссечённое тенями ветвей, и увидел в нём испуг, гнев... И немедленно сработала другая автоматика – рука разжалась сама собой. «Извините», – пробормотал он, и она со всех ног кинулась к свету.

Он ещё долго блуждал в темноте, падал, продираясь сквозь кусты, уткнувшись в собственный локоть. Неполноценный он какой-то, что ли?.. У Андрюхи же вот полная гармония... Думалось механически, краешком сознания. Было так худо, что не хватало сил не только на тоску, а даже закрыть рот – да пусть его, хоть проветрится...

Что-то забелело впереди, и он очутился перед женщиной с рыбой. Могучие бёдра её плыли перед глазами и всё не могли уплыть до конца. В последнем, не потушенном мукой пятачке сознания вспыхивали какие-то обрывки: «Андрюха трепался... я смотрел на её бедра... а когда я посмотрел той девчонке в лицо, я уже не мог её держать... Лицо – зеркало души... Я думал, грязи нет... это и есть грязь, когда не смотришь человеку в лицо... когда тебе нужны его ноги... или руки... а на зеркало души тебе плевать... грязь – это та баба в уборной, с бёдрами и без лица... Всё, что без лица, – это и есть грязь... На том парне с плаката тоже лица нет – одна улыбка... теперь и глаз нет...»

Со слюной было истинное мучение – её ведь не сплюнешь, не закрыв рта, а сил на это не было. Если бы хоть не дышать «Вермутом»... За оградой миллионами окон переливался пятиэтажный дом, – столько окон Олег в жизни не видал, хотя некоторые и не горели – чернели, будто выбитые зубы. Стен было не различить, и окна пылали, словно дыры в небе, прорубленные в край безбрежного света.

– Так ты сюда вернулся? А я тебя ищу по всему парку... ещё, думаю, загребут с непривычки.

Кача бережно держал его за плечо, но и это было ему всё равно. Он и так еле успел нагнуться.

Уже нечем было, а его всё корчило. Лицо и мышцы живота готовы были лопнуть. Кача заботливо поддерживал его поперёк живота.

– Потрави, потрави, – одобрительно приговаривал он, и не мог не отметить профессионально: – Пресс ты хорошо поднакачал.

Наконец и Олег отплевался от клейкой слюны и принялся утирать залитое слезами лицо.

– Ну, что, можешь идти? – заботливо спрашивал Кача. – А то там метут всех подряд – в кустах какую-то бабу зарезали.

– Как?!

Олега сквозь всю его очумелость словно хватили пустым цинковым ведром по голове.

– За что?..

– А хер знает... Может, изнасиловать хотели, а она не давалась... А может, изнасиловали и пришили, чтоб не опознала... Тут же перо у каждого второго... Хотя в темноте... Как бы она их запомнила?.. Давай, давай, пошли.

– А... А какая она?..

Перед его глазами снова предстало иссечённое ветвями, искажённое гневом и страхом пухленькое личико.

– Не знаешь?.. Пухленькая?..

– Откуда я знаю, пошли!

Но Олег вдруг опустился в невидимую черную пыль и зарыдал так, как не рыдал, кажется, ещё никогда в жизни.

– Ты чего?.. Ты чего?.. – ошалело встряхивал его Кача, и Олег кусал себя за руки, колотил по щекам, но рыдания рвались из груди неудержимо, как рвота.

Наконец он сумел кое-как остановиться и, запрокинув голову, начал выкрикивать чёрному могучему силуэту:

– Это я её убил!.. Я!.. Слышишь, я!..

– Хватит мозги е...ть... – Кача даже перешёл на непривычный для него язык и, встревоженно отыскивал в темноте руки Олега, начал вертеть их перед глазами, стараясь в отблесках дальнего света отыскать на них следы крови.

Не нашёл. Рывком поставил Олега на ноги и, подталкивая в поясницу, повёл к дырке в заборе, бормоча:

– Не, тебе точно пить нельзя...

А Олег всё пытался объяснить через плечо:

– Я не в этом смысле... Но я тоже её схватил, понимаешь, она на меня смотрела как на убийцу, понимаешь?.. Может быть, я был последний, кого она видела в своей жизни, понимаешь?..

Но Кача уже не отвечал. Он явно желал побыстрее закончить этот весёлый вечер.

* * *

Олег был уверен, что это испуганное пухлое личико будет стоять у него перед глазами до конца его дней, но осенние дожди смыли это лицо вместе с летней пылью.

А под Новый год Кача с Идолом встретили подгулявшую компанию. Идол кого-то зацепил, Кача вступился – вышла драка. Как рассказывали, Кача укладывал противников штабелями, а Идол обрабатывал павших своей «лисичкой», в результате чего оказалось шестеро пострадавших. К счастью, благодаря зимней одежде слишком серьёзных увечий не было, но всё-таки Идол получил шесть лет, а Кача – три. Потом Олег уехал поступать в университет и больше Качу не встречал. Но он часто вспоминал его – и его мать, всех называвшую сыночками. И всегда думал, что, может быть, не так уж это и хорошо, что для Качи все люди были равны? Может быть, лучше бы ему быть не таким верным товарищем для каждого, с кем ему случалось поддаться?

А потом и его смыли дожди и метели...

ИДИОТ

Олег с невольной гримасой страдания смотрел, как Светка, кося в зеркало, пинцетом подправляет брови, – у неё на лице было написано чувство, которое у каких-нибудь там отцов-пустынников могло бы вызвать сомнение, не скрывается ли за явным самобичеванием тайное сладострастие. Он видел, что Светка им недовольна, но старался показать, что никакого недовольства нет, словно надеясь, что и она в конце концов ему поверит. Поэтому он заговорил с преувеличенной горячностью, как бы и не допуская мысли, что его разговор могут не поддержать.

– Знаешь, о чём я вчера подумал? – в вопросе больше контактности, чем в монологе. – Мы все сейчас ходим друг к другу в гости, как в публичный дом. Пришли развлекаться и готовы заплатить, но только точно по таксе. А попроси сверх этого, на чай, какого-нибудь элементарного участия – хоть скажи, что голова болит, – вытаращат глаза: какое неприличие, какое непонимание взаимных обязанностей!.. Парикмахер обслужил клиента и за это просится к нему переночевать. Мне раньше казалось, что когда люди собрались вместе, в этом уже содержится какое-то взаимное признание, какое-то обещание...

Олег мог бы ещё долго чересчур горячо уточнять одолевавшую его в последнее время мысль, но жена чересчур спокойно прервала его:

– Странно, мне вчера показалось, что вы с Верочкой прекрасно понимаете друг друга. – До чего пристально она разглядывает свою бровь, просто с головой поглощена. Сразу видно, что сейчас она именно жена, а не просто Светка.

– Как ты не понимаешь, – только ни единой ноты оправдания, лишь рядовая досада. – Для меня выражать интерес к женщине, в застолье, конечно, – просто форма вежливости.

– Да что ты оправдываешься (всё-таки вставила это слово!), делай, как тебе нравится.

В жизни не видел, чтобы человека так занимало зрелище собственной брови.

– Чего мне оправдываться... Но как ты не можешь понять такую простую вещь...

– Да я же тебе сказала: делай, что хочешь. Что ты на меня накинулся? – она иногда забывает о существовании нейтральных выражений, таких, например, как «выразил несогласие».

И так это она энергично укладывается, раз-два – и собралась. И не улыбнётся на прощанье, что, мол, ладно, всё это пустяки, – Олега это начинало удивлять. Но тем не менее «спокойной ночи» – и всё. Дверь захлопнулась. Он бы сделал что-нибудь, если бы мог предположить, что она так вот и уйдёт. Они никогда ещё так не расставались, даже на полчаса, – расставание всегда было сигналом к примирению. Даже на полчаса, а тут целая ночь: она сегодня дежурила «ночным

директором», – почему-то в праздничные дни, кроме охраны, в конторе должен присутствовать кто-нибудь из белых воротничков, – водопроводчика, что ли, вызывать в случае всемирного потопа и тому подобное.

Нехорошо сделалось у него на душе – неужели его штуки наконец надоели ей по-настоящему? Да нет, никаких особенных штук, но всё-таки он иногда начинал смотреть на себя её глазами и от этого умиляться своими поступками, для других глаз, в том числе для его собственных, довольно сомнительными. Впрочем, она тоже этим грешила.

Слава богу – звонок! И она не выдержала. С церемонным поклоном распахнул дверь, выпрямился – прямо наваждение! Вера! Забрела на огонёк. Такая же бойкая.

Он едва не выругался. Но, вмиг справившись, заговорил «по-свойски» с негласно условленной между ними дружелюбной грубоватостью: «О, здорово! Здорово, здорово, поздравляю с Международным женским». – «Спасибо, и мать вашу так же, ты жене-то хоть цветов купил?» – «У меня же нет личных денег (и лишних тоже), за её, что ли, покупать». – «Подлецы вы, мужчины (это с одобрением), хотя сейчас к цветам не подступишься, совсем озверели, за каждый веник – пятёрка». – «Пятёрка – да лучше я полбанки куплю». – «Вам бы только пить» (это тоже с одобрением). – «Да разве я пью». – «Не пьешь, пока не наливают». – «Да смотри, вот у меня две недели пол-литра стоит и до сих пор абсолютно девственна». (Вере нравятся пикантные шутки.)

В этом месте Олег забормотал и засуетился с рюмками, изображая повышенный азарт гостеприимства: он осознал, что квартира на всю ночь в его распоряжении. Вера польщённо отмахивалась: да не надо ничего, вот, кстати, у неё ветчина – заскочила в здешний универсам – тётки как звери – что у вас в сумке – это же они тоже не имеют права – ну, она расписывалась и говорит: что вы меня проверяете, это не на мне золотые кольца, а на вас.

За это она и нравится Олегу: в их компании она одна может сказать о себе: «расписывалась», а не «возмутилась». Олег начинает приходить в себя, но в смехе его уже слышна угодливость – классический атрибут обольщения. Теперь перед ним объект – до дружелюбия ли тут.

И с удовольствием вспоминает, что в их возрасте с этим делом всё наконец-то сделалось гораздо проще (несолидно только, что он об этом думает как пацан – будто чёрт-те о чём), и если он до сих пор не изменял жене, то лишь потому, что сам этого не хотел, побаивался, что ли, «переступить» – но вчера он был как никогда близок к грехопадению, помешали, вероятно, только условия места и времени. Кому, собственно, от этого плохо?

* * *

В те поры, когда во дворах ещё громоздились целые пространства поленниц, Верка в сатиновых шароварах бегала с мальчишками; шаровары мягким свисанием и покачиванием округляли, упрятывали её тонконогую вертлявость чертёнка. Когда она пробиралась в закуток меж гаражом и поленницей, Шурка толкнул её в бок: гляди, Батрачиха зырит, а Верка отрезала без купюр: «Ну ее в ж...». Они там курили, а может, и ещё чем-то занимались – она так и была оставлена в подозрении. А когда шуганула мать: «Верка, паразитка, а ну, вылезай!» – и попыталась сквозь щель вытянуть её скрученным в жгут фартуком, который по пути стащила через голову, совсем распатлавшись, – Верка выскочила, как ошпаренная кошка, только колыхание шаровар придавало её бегу мягкую плавность, а мать кричала вслед, брала на пушку: «Я же всё видела, как тебе не стыдно!», а Верка бормотала под нос: «Стыдно, у кого видно».

В школе училась без всяких – схватит пару, так тут же исправит, а когда она от-тарабанила квадраты чисел до тридцати, математичка, из-за своей полноты усвоившая манеру грубоватой, но мудрой бабы, покачала головой: умная голова, да дураку досталась. В техникуме – первая заводила вечеринок и пикников, похожих на вечеринки, «свой парень», злые языки поговаривают о чрезмерной лёгкости её поведения, и не совсем без оснований, но лёгкость эта проистекает более из компанейского, чем эротического начала.

Олег хорошо представлял Веру в детстве, хотя и не знал её тогда.

* * *

Нехитрая возня с рюмками и вилками не такое поглощающее занятие, чтобы оправдать молчание или хотя бы натужность в разговоре, но первые такты можно разыграть традиционно: хорошо прошла, первая колом – вторая соколом, огурчика бы сюда и т. п. Но дальше требуется кое-какая фантазия, во всяком случае ему, неосторожно приучившему знакомых к довольно изобретательному трёпу. Однако корыстная задняя мысль пудовой гирей тянет на дно: оказывается, даже для балагурства нужна известная необязательность, свобода творчества.

Таким образом, довольно быстро и бесцеремонно выясняется, что говорить им не о чём. Пока они выезжают на игривых интонациях, но на них одних долго не протянешь. Олег пробует продолжить вчерашнюю, казалось бы, стопроцентно гарантированную линию воспоминаний о детских отчаянных выходках, – бойцы, так сказать, вспоминают минувшие дни, – но всё вчерашнее сейчас почему-то не годится.

Да, меж двоими это был какой-то спектакль без зрителей. Неужели вчера это и был спектакль, и каждый ценил в другом хорошего партнёра? Противоречие между той мочалой, которую они жуют, и игриво-угодливими интонациями становится всё более разительным. Эти интонации не слишком нелепы лишь в качестве того, чем они и являются: в качестве приговорительной стадии к дальнейшему. Они словно провозглашают в открытую: смотрите, он не просто говорит – он готовит почву, вернее матрац. Но только что-то слишком медленно.

В её голосе уже чувствуется недоумение, но она ещё бодрится:

– Такие сволочи, подъезжает к остановке, а сам хоть бы чуть притормозил. Окатила вот досюда. Я специально с первой площадки села и говорю: пальто мне ваша жена будет стирать? Смотрит – луп, луп. Я спрашиваю, видите, что вы со мной сделали? Говорит: не может быть. Не может ещё быть! Я говорю: а! по-вашему, я сама купалась? Так он нарочно от площади Победы до Тюменской сорок минут тащился. Чуть на работу из-за него не опоздала. Стала выходить – говорю: вам на катафалке надо работать.

– Ха-ха-ха, – говорит Олег (почти «хи-хи-хи» – он почти не перестаёт подхихивать). – Это ты хорошо – на катафалке. Точно! – таким только на катафалке и работать! Покойников возить. Им ведь торопиться некуда. – Он в восторге от её находчивости, и никак ему не отстать от этого катафалка. С катафалком как-то спокойнее. Он бы ещё и пальто пошёл посмотреть, только для этого пришлось бы включить свет.

Уже совсем стемнело, но света они не зажигали. От уличного фонаря на стене светился струистый параллелограмм – такое волнистое стекло, хотя днём незаметно. Отсутствие света тоже обличало – с чего это вам так понравилось сидеть в темноте? – и требовало: или зажгите свет, или приступайте к делу. Но на Олега нашло такое оцепенение, какого он, кажется, не знал и в семнадцать лет. Чувственности темнота в комнате содержала не больше, чем темнота погреба с картошкой. Как будто просто погас свет. В полумраке женские лица обычно кажутся кра-

сивее, но ему было не до женских прелестей, — он уже просто не знал, как ему выпутаться.

Вдруг взять и включить свет? — на это требовалось, пожалуй, даже больше решимости. Мало того, что жалко оказаться идиотом — упустить такой случай, — но это значило бы окончательно показать ей, что всё кончилось, атака захлебнулась, а всё предыдущее, включая угодливость, игривость, темноту и рискованные шутки, было неизвестно зачем разыгранной комедией. Или разыгранной известно зачем, но помешала трусость. Олег прямо затосковал. Он решил было назначить себе срок, хотя бы досчитать до десяти, но удержался: всякий такой срок только подчеркнул бы его нерешительность — уже было ясно, что он «не переступит».

Но что за несчастье! Ведь вчера помешали только условия места и времени, его всерьёз тянуло к ней, даже в груди что-то щекотало, — не так чтобы очень, но всё-таки, — это было, что ли, возбуждение от удачного партнёра-сатирика, от музыки, движения? И решимость оттуда же? Выпивка и здесь была, но хмель его не брал, то есть в *этом* смысле не брал. Вчера во время танца он определённо её прижал, во всяком случае, усилию до этого не хватило какой-нибудь сотни граммов, — может, включить музыку, потанцевать? Но это тоже какой-то спектакль без зрителей... Главное, неловко прибегать к столь искусственным средствам возбуждения, — она сразу поймёт, она на этот счёт очень шустрая. Возражать не будет, но поймёт, — лучше уж не надо. Она уже с отчётливым недоумением рассказывает, как соседка каждый день просит её купить в булочной возле её работы тёплого хлеба, — как-то установила, что в это время туда как раз подвозят тёплый хлеб. Ха-ха-ха, тёплый хлеб, говорит он, ничего себе — тёплый хлеб. Ишь, лакомка какая — тёплый хлеб ей подавай, дай ей тёплого хлеба — и всё тут. До чего народ разбаловался — без тёплого хлеба к ним не суйся. Ну, не знал, что она такая сибаритка, а тёплый хлеб, кстати, вреден для желудка, древние греки, а, может, римы, тёплый хлеб давали только рабам. А ей, значит, нужен тёплый хлеб? Так-так. Так и запишем! Нуу! И долго ещё слышится: тёплый хлеб, тёплого хлеба, тёплым хлебом.

Она пробует вернуться к проверенной теме — отчаянным выходкам, — интересно, как она всё это понимает? — предложила пощупать выше локтя шрам от кровельного железа. Он чуть потрогал — и обратно: не хотел прибегать к фальшивому (и понятному ей) поводу пощупать — в духе восьмого класса, и потом, лишнее щупанье — лишняя атака, за которой последует лишнее отступление, а что оно последует — он уже не сомневался.

Силуэт Веры удалился в туалет, и какая-то слишком широкая вертикальная полоса света, казалось, говорила о том, что она не заперла дверь на задвижку. Он старался не слышать, что там происходит, но всё-таки невольно прислушивался. А потом испытание возобновилось.

Ночь тянулась бесконечно, словно полярная. Так долго, что у него возникли серьёзные сомнения, будет ли она вообще иметь конец, но недостаточно долго, чтобы эти сомнения успели рассеяться. Его угодливость из игриво-ласковой приняла форму адъютантской подтянутости, готовности ловко вскочить и щёлкнуть каблуками, ловко поклониться, ловко подтвердить, предложить руку. А может быть, это была лакейская подтянутость. Даже мышцы лица устали от подтянутого выражения. И он, галантно опрокидывая стопочку за стопочкой, переносил подтянутость долгие зимние месяцы, и даже крошечная печурка не потрескивала в его одинокой хижине. Где-то ближе к полярной весне он, подтянуто позвякивая шпорами, ощупью варил кофе, и кофейная лужица на столе потом служила для него неиссякаемым источником развлечений, даже когда она совсем рассосалась в скатерти.

А когда зажётся свет, это была не весна, а просто свет, словно после киносеанса. Они оба очень прозаически щурились от бестактно яркого света и готовы

были отгонять его от глаз, как дым. Лица у обоих были мятые и пятнистые от водки и нелепости. Подтянутости уже не было, а была не очень сильная – начальственная – виноватость, – будто он отказал просителю в его просьбе на основании государственных соображений. Про пятно на скатерти было уже забыто, что оно кофейное, и теперь оно было заурядно неприличным.

Когда она с усилием задёргивала басисто рычащие молнии на сапогах, он просительно пошутил: «У тебя молнии с громом». Она неліцемерно хмыкнула и пожала одним плечом. «Посиди ещё», – простодушно предложил он, и она снова не стала финтить: выпрямившись, с ещё набухшим от напряжения лицом, прямо глядя ему в глаза, спросила: «А чего высиживать? Пойду, пока трамваи ходят». – «А разве они сейчас ходят?» – автоматически спросил Олег, со страхом отыскивая в её лице признаки насмешки. – «А чего им не ходить – одиннадцать часов». Насмешки не было, наоборот, она смотрела с высокомерием оскорблённого, с тем высокомерием, которое, собственно, должно показать, что оскорблённый вовсе и не оскорблен. Олег ответил младенческой оживлённостью, живо интересующейся и цветом пуговиц собеседника, и его сапогами, ушами, а также вешалкой, абажуром, дверным замком...

Когда дверь захлопнулась, Олег с младенческим любопытством снова рассмотрел коврик у двери, абажур, свою рубашку, поскрёб ногтем пятнышко на рукаве. Потом он увидел себя в зеркале и вдруг, развязно осклабясь, подмигнул себе, чего никогда прежде не делал, поспешно отвернулся, бесшабашно воскликнул: «А! плевать!» – но зябко передёрнул плечами. Небрежной походочкой прошёлся по комнате, подёргивая углом рта, – что-то вроде нервно-презрительной ухмылки, – хотел, будто венником в парилке, огреть себя разок-другой какой-нибудь разудалой шуткой и внезапно, подойдя к кровати, – кажется, он уже догадывался, зачем он к ней идёт, – что есть мочи хватил по ней кулаком и плюхнулся на неё лицом вниз.

От водки и музейного духа покрывала сразу стало душно, он перевернулся на бок, лицом к стене и изо всех сил зажмурился, так что в глазах запрыгали жёлтые огоньки. «Идиотыдиотыдиотыдиот...» – корчась от неловкости, твердил он до тех пор, пока неловкость вдруг разом не смыло тревогой: да ведь он теперь больше никогда не сможет обнять женщину – обязательно вспомнит сегодняшнее, и им овладеет оцепенение. Но если он даже не посчитается с ним, бросится как с обрыва, – это приведёт только к ещё гораздо худшему позору. Здесь нужно не мужество отчаяния... Может, сегодня ему просто перед Светкой было совестно? Хоть не ври, – про Светку он ни разу и не вспомнил. Да и что, убудет её от этого! И он, сжимая ладонями виски, долго перекачивался с боку на бок и, кажется, даже постукивался лбом о стену.

Долго-долго он рассматривал невиданно пышную обойную флору, и столько ему в ней открылось: и недорисованные профили – и так, и вверх ногами, – и глаза, и детали верблюдинок, и кукиши – всего не перечислить. А потом он как-то вдруг спросил себя по старой методе: да в самом ли деле ему чего-то эдакого хотелось? И с неожиданной радостью ответил: именно что не хотелось!

Более того, в его нежелании было прямо-таки упрямство, как будто его заставляли что-то сделать, а он всё больше набычивался. Угодливость? – и она мешала, – она ему всегда плохо удавалась – приветливость с задней мыслью.

Но нет, этого мало, он ещё явственно ощущал... – на что же это похоже? А! Вот на что! Подбегает к тебе кто-то, смеётся, трясёт руку – а ты почему-то не можешь ему радоваться. И неловко тебе – а не можешь. И не его стыдно обмануть – ему было бы только лучше, – нет! – стыдно как будто перед самими знаками радости. Вроде как они такие дорогие для тебя вещи, что совестно использовать их не по назначению. Вот оно что! Раньше эротические ласки были для него

прежде всего средствами самостимулирования, а теперь они стали для него именно *ласками*, выражающими *ласковость*, доброжелательство, обещание помочь, если потребуется...

Но всё-таки – а вдруг этот страх теперь привяжется к нему насовсем?.. Чёрт, и Светки нет как назло, а то бы прямо сейчас попробовал...

Он нервно прошёлся по комнате, выглянул в окно.

Первый этаж, вокруг фонаря всё отлично видно. Кругляшки недавно спиленных ветвей светятся половинками разрезанных репок. Мартовский снег, потемневший, скристаллизовавшийся, ногами размолотый в рассыпчатый песок, чуть присыпанный новым снежком, тоже уже притоптанным, проглядывал сквозь него зёрнышками, будто манная каша сквозь молочную пенку. Чуть поодаль виднелся телефон-автомат, накренившийся, как Пизанская башня. Он уже так давно кренился, что каждый успел увериться, что не при нём он рухнет, и входил в него без опаски. Телефон...

В следующую секунду он уже был в дверях, в два бесшумных прыжка одолел семь ступенек, на улице перемахнул через мусорный бак. Одеваться ни к чему. Такая лёгкость на душе, – тело восхитительно слушается его. В будке на всякий случай щелкнул выключателем, – и вдруг вспыхнул свет. Исправно! Это тем больше радуется, чем реже случается. Стало совсем уютно, особенно когда знаешь, что сейчас снова в тепло.

Диск визжит, как несмазанная телега. В трубке гудки, космическое откашливание.

– Здравствуйте, это ответственный дежурный? С вами говорит начальник городской охраны пожаров.

Молчание.

– Алло, алло! Света, это ты?..

Снова молчание.

И наконец брюзгливый надтреснутый бас.

– Нету твоей Светы. Током убило.

– Как убило?..

– Как убивает?.. У тебя там розетка есть? Вот разбери её и возмись за концы – узнаешь.

– Так как?.. Так что?.. Её совсем, что ли?..

– Приезжай – увидишь, – немножко смягчился бас. – Может, ещё успеешь проститься.

Ничего не соображая, Олег ринулся со двора на улицу. Морозец уже проникал сквозь рубашку, но было кощунственно обращать на это внимание. Однако завидев мчащиеся по проспекту редкие машины, он сообразил, что без куртки обойтись можно, но без денег никак.

Взбежал по лестнице он задыхаясь, как старик, трясущимися руками, кроя себя страшными проклятиями, долго не мог попасть ключом в скважину.

Выгреб из всех карманов всё, что было, до последней мелочи – на такси хватит раза на три, – не попадая в рукава, натянул куртку уже на лестнице, протолкнув сквозь рукав пригревшийся в нём шарф. Вытянул его на бегу, изо всех сил заставляя себя всматриваться под ноги: сейчас сломать ногу – и всему конец.

На мерцающем в туманных фонарях страшном проспекте, чёрно-серебрящемся среди ночных снегов, он отчаянно махал каждой проносившейся машине сначала просто рукой, потом трепыхающимися бумажками, но эти железные акулы с белыми огненными глазами, абсолютно безжалостные, как все в этом мире, равнодушно вжикали мимо.

Наконец он выбежал прямо навстречу какой-то пятой-седьмой из них и упал на колени, пригнув голову, чтобы не видеть, задавит она его или нет. На истерический визг тормозов он лишь что есть мочи зажмурился.

Открыл глаза. Радиатор скалился метрах в полутора, из дверцы выпрастывался лысый толстяк с каким-то поблескивающим стальным инструментом.

Опережая ругань, а может быть, и удар, Олег вытянул ему навстречу руки с мятыми бумажками и воззвал словно к господу богу:

– У меня только что жену убило током! Отвезите меня, здесь недалеко, я всё отдам, вот, возьмите деньги, у меня есть ещё часы, куртка...

Толстяк колебался, кажется, опасаясь, что имеет дело с сумасшедшим, и Олег, стараясь, чтобы голос не срывался на визгливые нотки, изо всех сил изображал нормальность, чувствуя, что лёд трогается.

– Не думайте, я нормальный человек, я работаю, у меня есть диплом, я просто сейчас так выгляжу, я здесь рядом живу, могу показать, клянусь, заходите завтра – я вам всё покажу, возьмёте все, что захотите...

Он совсем забыл, что квартира эта съёмная и ему там принадлежит лишь двухпудовая гиря да комплект пластинок «Бориса Годунова».

– Садись, – наконец бросил толстяк, и Олег не бросился целовать ему руки только потому, что тот сразу же двинулся к машине.

Олег пробрался с другой стороны, стараясь занимать как можно меньше места.

Они мчались по какому-то совершенно чужому страшному городу, и Олег безостановочно молился одними губами: Господи, сделай так, чтобы она была жива – клянусь, я никогда больше ни до кого не дотронусь, клянусь, я тебя больше никогда ни о чём не попрошу, никогда больше не буду говорить, что я в тебя не верю...

* * *

Светкин институт чернел страшным циклопическим кирпичом, поставленным на попа, – горели только две вертикальные цепочки окон на лестничных клетках да бессмысленно сиял пустынный вестибюль за дюралевой застеклённой дверью. С колотящимся в ушах и горле сердцем Олег лихорадочно нашаривал мечущимся взглядом звонок и никак не мог опознать его в белом квадратике на чёрном фоне.

Нашёл, утопил его прыгающим пальцем – ледяная тишина. Подолбил остервенело – вестибюль безмолвствовал. Олег развернулся к стеклу правым боком и изо всей силы врубил локтем, словно в драке под дых. Сдавленно взвыл и ухватил себя за отшибленную руку, покачался, сдержанно мыча. Потом отступил на два шага и с разворота что было силы врубил по стеклу каблуком.

Звон посыпавшихся стёкол был перекрыт пронзительнейшим нескончаемым электрическим звонком, заглушавшим любые человеческие звуки. Поэтому когда в огромной косой звезде среди растрескавшегося стекла показалось перепуганное Светкино лицо, Олег был уже не в силах что-либо понимать. Он опустился на припорошённый снегом бетон, обхватил руками колени и разглядывал Светку так, словно собирался её кому-то описывать.

* * *

Однако к прибытию энергичного милицейского наряда они уже успели обо всём договориться. Дверь разбили хулиганы, она испугалась и вызвала мужа. Да, она знает, что посторонним здесь не место, но случай был исключительный. А потому – не подбросят ли они его до дома, им же всё равно нужно патрулировать.

Она подлизывалась, простодушничала, а Олег только тупо кивал. Наконец он тяжело, словно расслабленный дед, вскарабкался в воронок, и они куда-то тронулись. Может быть, домой, может быть, в тюрьму, может быть, на кладбище, может

быть, на свалку, – Олег с беспредельной ясностью понимал, что случиться в этом мире может решительно ВСЁ.

Елена ЕЛАГИНА

СИЛЫ ДАРИТ СТРАСТЬ

(Писатель Александр Мелихов – публицист)

Скажу сразу: перед разверзшейся задачей – осмыслить то, что сделано (и продолжает делаться ежедневно) писателем Александром Мелиховым в публицистике, оторопь возьмёт всякого. Это всё равно что попытаться обозреть ПСС Толстого или Бальзака (имеется в виду исключительный объём написанного). И хоть пишут публицистику нынче все (А кому, скажите, в наше удивительное время стремительной девальвации художественного текста дозволено жить в тесной макдональдсами башне из слоновой кости? Изгонят тут же, а засмеют так, что вовек не отмоешься!), но здесь случай всё же особый, поскольку предполагает почти забытый нынешними прагматиками толстовский посыл «не могу молчать» – правда, в своеобразной современной версии.

Из чего рождается нынешняя публицистика с её даже и в России кое-где очень неплохими гонорарами? Разумеется, в первую очередь из желания соответствовать запросу. Запрос нынче в русскоязычном мире, опять же в первую очередь, политический: хочешь заработать – становись, кем бы ты ни был изначально, политическим аналитиком. И вот блестящий, умнейший, образованнейший литературный критик (оговорюсь сразу – никого лично в виду не имею, речь о типажах, востребованных временем), скрипя зубами, выдавливает каждую неделю по актуальной политической колонке, так сказать, остроумно и с одобряемых соответствующей средой либеральных позиций реагирует на происходящее (примеры и в Москве, и в Питере у всех на виду). Получается почти всегда и в самом деле толково и едко, но скрип зубовой, увы, таки различим в кружеве острот и аллюзий. Ему бы своим делом заниматься – но за своё дело нынче не платят и платить, видимо, уже не будут никогда (унизительную беготню за грантами вынесем за скобки – там свой талант нужен и свои молодые силы). Такой вот, похоже, необратимый ход приняло развитие цивилизации. Резон номер два: активное присутствие в т. н. политической (а то и цивилизационной) аналитике резко поднимает статус её автора – был всего лишь крепким прозаиком, коих тьмы и тьмы, а стал заметным политологом, присутствует на всех телеэкранах, зван на все конференции, участвует во всех престижных сборниках, т. е. приобрёл соответствующий вес, порой и международный. А то, что своё пишет всё хуже и хуже, так кому это интересно, кроме бывших сокамерников по литературе, которые все сплошь как бы и неудачники? Здесь успех иного рода: тот же президиум советского литературного генералитета, только погоны другие.

Но – вернёмся к нашему герою. Думается, от гонораров он не отказывается (впрочем, тут же и раздаёт половину неимущим, так уж устроен), статус ему особенно повышать не надо – и так принят во всех престижных столичных журналах, газетах и влиятельных московских литературных тусовках (что для питерца большая редкость), а что остаётся? А остаётся то самое «не могу молчать», но скорее не в толстовском морально-нравственном аспекте (типа, люди, что это вы творите? опомнитесь, покайтесь и вернитесь на праведную дорогу!), а в варианте резкого,

чтоб не сказать – возбуждённого, ума учёного-писателя, когда идёт неостановимый аналитический процесс осмысления происходящего, требующий немедленной вербализации, если не в виде чеканных формулировок и формул, то хотя бы в стройной системе векторов, задающих направления мысли. Иначе – разорвёт, как перегревшийся паровой котел.

Пишет Мелихов, как кажется, во всех мыслимых публицистических жанрах: от острополитического, важного именно для данной минуты аналитического комментария до добротного и в то же время ярко разработанного биографического очерка, при желании вполне могущего быть развёрнутым в книгу хорошо всем известной серии ЖЗЛ (и здесь равно блистательны очерки и о Норберте Винере, и об Илье Эренбурге). Реагирует на все едва уловимые колебания общественной атмосферы с чуткостью самого тонкого барометра. И везде интересен (держит текстом до конца – на середине не бросишь), оригинален (никаких общих мест и «заклятий огнём и мраком» в виде расхожих до свинцовой пошлости цитат) и стилистически узнаваем. Как сказал о нём некий закордонный зоил, не щадящий ничьи священные авторитеты, нож не просунешь в эти тексты. Т. е. – ничего лишнего, никакой провисающей жировой ткани, сплошь упругая мыслительная мускулатура.

И ещё, может быть, самое главное: Мелихов в эпоху тотальной ризомы, всеобщей фрагментарности и релятивистской размагничности эпохи постмодерна удивительно, не по-нынешнему целен и стоек в своём восприятии и описании мира. Герой по античному образцу, но – герой мысли (впрочем, и сократовская цикута, как помним, была наказанием за обучение молодых мыслить). И позицию свою обозначает с предельной открытостью привыкшего к точности математика: *«...Человек жив только иллюзиями и фантазиями. Любить мы можем только собственные фантомы. Вся история человечества есть история зарождения, борьбы и упадка коллективных фантомов. Причина наркомании, самоубийств, немотивированных преступлений, депрессии, всеобщей подавленности в упадке коллективных иллюзий. Вот причина всех причин. /.../ Даже и сегодня в господствующих психологических моделях считается, что стремление к красоте – это только маска стремления к пользе. Я готов доказывать обратное: стремление к пользе – это только маска стремления к красоте. Человек больше всего хочет быть красивым и значительным».*

Неподготовленное ухо вполне может быть шокировано как самой цепочкой рассуждений, так и излюбленными мелиховскими терминами: только «фантом» и «грёза», ну, иногда смягчённо – «иллюзия», никогда не скажет «идея» со всеми производными. И это, надо сказать, вещь принципиальная. Дружески доверяя читателю, Мелихов не ленится объяснять, а то и подробно растолковывать, что имеется в виду. Создав свой терминологический ряд (скажем, замечательно точна его «маска» – социальная видимость, под которой скрываются идеологические «высокие» мотивы), он, дабы не возникло разночтений и двойственности в толкованиях, напрямую, по ходу дела, даёт и сами определения. Хотите из авторских уст услышать точное значение непривычного в научном обиходе слова? Пожалуйста: *«Фантомы – это любые эмоционально убедительные, но не выдерживающие стандартных верификационных процедур модели явлений, призванные не только соблазнять и воодушевлять, но и устрашать. Их функция – поражать воображение, а не только требовать „служить и жертвовать“! Пожалуй, тех, которым следует только служить и жертвовать, нет даже и вовсе, все они ещё и серьёзнейшим образом служат нам, иначе они не прожили бы столько тысячелетий. Но, обретая с их помощью смысл жизни, их приходится ещё и защищать. А вот защищать, совсем ничем не жертвуя, по-видимому действительно невозможно».*

Но – парадокс? – при таком жёстком структурировании социокультурного цивилизационного пространства Мелихов – о чём бы речь ни шла – абсолютно не выносит примитивной чёрно-белой графичности, не уставая повторять с упорством

проповедника, что не бывает простых решений, что любой плакатный лозунг – скорейший путь в неразрешимый и чаще всего кровавый общественный тупик: «Расистскую сказку, преподнесённую миру под маской науки, подхватила именно невежественная чернь. Равно как марксизм и прочие тоталитарные учения. Фашизм – это бунт простоты против непонятной и ненужной сложности социального бытия; эту мою формулу, за которую, кстати, я получил премию фонда «Антифашист», нельзя оставить в стороне, если хоть сколько-нибудь полно рассматривать мои социально-философские взгляды».

Самостоятельность и неангажированность Мелихова никакой влиятельной социальной группой иногда приводит в замешательство: позвольте, а как же быть, скажем, со святой святых нынешнего цивилизованного мира, политкорректностью, в следующей цитате: *«Тем, что я пробуждаю в человеке стремление быть красивым, я несколько не ущемляю его. Напротив, я даю ему возможность стать сильнее. Восхищение титанами не подавляет. /.../ Если мы в угоду слабым и обойдённым разрушим наши представления о красоте, чтобы их не обижать, то и они останутся в жалком мире, где нечем восхищаться?»* А вот как хотите! Но спорить с такой логикой, согласитесь, нелегко. В самом деле, кто захочет жить в мире столь серьёзных изъятов? Ну а уж продолжение этой мысли и вовсе нокаутирует «невидимую руку рынка», столь любезную всякому радикальному (а другие в России, вроде, и не водятся) либералу: *«В защите нуждаются не только слабые люди, но и слабые ценности, слабые святости, которые на рынке, в конкурентной борьбе проиграют. К ним относятся, прежде всего, искусство и культура»*. Хранителем же и создателем коллективных грёз по Мелихову является национальная аристократия: *«Надеюсь, излишне разъяснять, что национальная аристократия образуется не по крови, а по готовности жертвовать близким и ощутимым во имя отдалённого и незримого. Но, поскольку всякая коллективная наследуемая деятельность вдохновляется коллективными наследуемыми фантомами, то и деятельность национальной аристократии должна неизбежно вдохновляться фантомами главным образом не личными и не общечеловеческими, а национальными»*. /.../ *«Но аристократы в индивидуалистическом обществе составляют меньшинство и потому они не должны считать глас большинства гласом божьим, не должны покоряться авторитету большинства. Однако на сколь жестокие меры они должны быть готовы для защиты своих ценностей, я думаю, предрешать заранее не нужно, а нужно всеми силами избегать ситуаций, в которых аристократические и плебейские ценности повели бы борьбу на взаимное истребление. Аристократы более всех заинтересованы в социальном сотрудничестве. Тем более что в войне их почти наверняка ждёт поражение»*.

Но при такой бескомпромиссно-жесткой, казалось бы, позиции Мелихов – очередной парадокс? – лишён какой бы то ни было спеси избранничества. Скорее он удивительно демократичен, не отказывая «простому человеку», т. е., будем говорить прямо, человеку малообразованному, человеку толпы во всём высоком, свойственном им же назначенным аристократами: *«...самый что ни на есть простой человек тоже нуждается в том, чтобы ощущать себя причастным чему-то прекрасному и бессмертному. Надо только внушать ему эту мысль уж никак не устрашением, которое способно разве что сменить равнодушие на ненависть. Личное и сверхличное, плебейское и аристократическое могут вполне мирно ужиться друг с другом, и Медный всадник будет не топтать Евгения, но пробуждать в нём гордость за род человеческий и, стало быть, отчасти и за себя. Это, собственно, давно и происходит – стоит посмотреть, как потомки бедного Евгения из Барнаула и Челябинска фотографируются на его фоне. У государства и личности есть общий враг – скука, бессмысленность существования, с которыми справиться одними лишь личными средствами невозможно. Уж очень мы все слабы и мимолётны»*.

Есть такая общая беда у рецензентов поэтических книг: ступив на сомнительную тропинку цитирования (а разговор о поэзии без этого практически бессмыслен, поскольку стихи прозаическому пересказу не поддаются), видишь, что уже не ты управляешь текстом, а он тобой, потому что цитировать хочется буквально через слово. С мелиховскими текстами та же проблема: есть ли смысл в пересказе и интерпретации, если уже найдены самые точные слова? «...как быть, если на все сложнейшие вопросы то и дело слышишь одну и ту же примитивность: финансирование, финансирование, финансирование...

Что нужно делать для укрепления семьи? Финансировать! Как тут удержаться, чтобы не добавить: этого мало, необходим ещё и культ материнства, отцовства, продолжения рода, то есть служение неким рационально недоказуемым образам (не хочу произносить слова идеал, чтобы не множить поводы для разногласий). Что нужно сделать для укрепления науки? Финансировать! Как же не добавить, что без культа знания все деньги будут выброшены на ветер? И что без культа воинской доблести людей не заставят рисковать жизнью никакие деньги? Я слышу одни и те же глупости, вот и возражаю примерно одно и то же».

В публицистике Мелихова есть прелестный стилистический секрет: за внешней доступностью изложения (минимум терминов и цитат, только самые необходимые, необыкновенно ясные периоды мысли, никакой наукообразной затемнённости и «барражирования» для набегания объёма, чем грешат тьмы и тьмы публицистов) в самых-рассамых, казалось бы, непритязательных газетных заметках «по поводу» всякий раз скрывается самая настоящая философия высокой пробы. Но является она не в академической тоге и позе с веером модных словес и имён, а в как бы простеньком повседневном платье – не всякий спервоначалу и признает принцессу с её единственно крошечной ножкой в этой Золушке. Но уж раз признавший будет стараться далее не пропустить ни одного мелиховского текста, поскольку читать их – истинное удовольствие. Причём двойное – и мыслительное, и художественное. А вот угнаться за всеми публикациями – задача, говоря уже подзабытым языком вождя мирового пролетариата, архисложная: такое впечатление, что пишет Мелихов не то что непрерывно, а, как индийский бог, сразу всеми шестью руками – не уследишь! Какое бы печатное издание в руки ни попало – опять Мелихов! И опять неожиданно, ярко, интересно!

Человек поверхностный, улавливающий лишь внешние коды интеллектуального мейнстрима, натываясь в каждом мелиховском тексте на методичную последовательность «долбления в одну точку», может принять это за начётническую узость и самоповтор, в то время как человек широко и самостоятельно мыслящий, свободный от шор «группового знания», обнаруживает здесь универсализм мелиховской методики в приложимости к широчайшему ряду проблем. Чаще всего это совершенно конкретные приложения нескольких более или менее универсальных принципов. Если при анализе любого явления, любого конфликта Маркс спрашивает: где здесь корысть? Фрейд: где здесь подавленная сексуальность?, то Мелихов: где здесь красота? В какой воображаемой картине мира действует твой оппонент, осуществляя вечное стремление человека к красоте и бессмертию? По Мелихову, всякое общественное движение, неспособное наделить своих сторонников чувством причастности чему-то прекрасному и бессмертному, обречено на поражение. Обречено на поражение всякое движение, неспособное породить свою аристократию, своих служителей прекрасных химер. Как математик Мелихов давно понял, что рациональности нет в человеческой природе, что всякая логическая доказательность действительна лишь внутри какой-то системы базовых иллюзий, которая работает исключительно на самоподтверждение, она подтасовывает факты и выбирает именно те критерии, с точки зрения которых она и есть единственно верная. Ослабить власть собственных иллюзий, по Мелихову, можно единственным способом – максимально открываясь чужим, отыскивая недостающую часть

истины у противника. Только так и можно хоть отчасти обуздать собственное стремление к простоте, порождающее все разновидности фашизма всех цветов радуги. А есть ли более важная проблема, требующая разрешения, в нашем столь сложном и постоянно дробящемся, несмотря на процессы экономической глобализации, на противостоящие друг другу социальные и этнические страны мире?

Как-то, беря у него очередное интервью (а это, скажу я вам, ещё одно удовольствие – присутствовать при рождении мысли, непредсказуемой и отличающейся «лица необщим выраженьем»), зная о том, сколько времени и сил он тратил и продолжает тратить на всяческие «побочные» активные действия (занятия с суицидентами с течением времени сменились на интенсивную работу с ментальными инвалидами), не удержавшись, спросила: «А силы откуда берёшь?» Мелихов, как о само собой разумеющемся, пожав плечами, ответил: «Силы дарит страсть». Абсолютно справедливый афоризм. Проверьте на себе.

Страсть же, по Мелихову, всегда порождается зачарованностью какой-то грёзой, какой-то сказкой.

А закончить эти небольшие заметки о замечательном писателе, публицисте и философе мне всё-таки хочется его же цитатой, потому что лучше всё равно не скажешь: *«У меня вызывает восхищение способность человека жертвовать собою ради фантомов. Верующего восхищает в человеке искра божьего огня, причастность Богу, но меня еще больше восхищает, что человек, не имея Бога, сам уподобился ему в своей фантазии. Будучи кусочком слизи в равнодушном, ледяном космосе, он создал систему иллюзий и противостоит космосу. Это мужество безумия меня приводит в восторг, и мне ничего другого не нужно. Величие фантазии и готовность служить ей – это оправдывает в моих глазах человеческое существование».*

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Александр Мелихов – прозаик «дедуктивного» склада, то есть он пишет свою прозу, отталкиваясь от концепции, сквозь его текст проступает конструкция, – и это не минус, не плюс, а особое устройство дара. Наверное, не случайно по своей первой профессии он математик. Эту прозу мне интересно читать потому, что она «мыслит», откровенно и принципиально, не стесняясь своего рационализма, иногда как будто пером продирая бумагу – и в таких местах начинает походить на журналистику. Ну и что же, очень хорошо! Писать роман по старинке, с героями, ничего не знающими о своём авторе, можно и нужно, но сегодня это почти никому не удаётся. Герои Мелихова посматривают в сторону своего создателя: ну как, правильно ли они сказали, поступили, доволен ли он ими? А в своей публицистике Александр Мелихов то и дело совершает набег едва ли не в утопическую, а то и фантастическую прозу: его сосредоточенность на «грёзах» превращает статьи в художественный текст. «Духовная аристократия», о создании которой мечтает он, видя в таких «избранниках» спасителей России (я-то думаю, что в «аристократы духа» у нас будут назначать и принимать, как в партию «Единая Россия») напоминает мне «народную идею» у Толстого, «религиозную» у Достоевского. Реальная жизнь опрокидывает и переворачивает писательские прозрения и постройки, но читать – интересно! Тем более, что в исходном своём тезисе Мелихов прав: человек не может жить одними «низкими истинами», ему нужен «возвышающий» его «обман». Не только отдельный человек, но и народы живут иллюзиями. Хорошо, когда эти иллюзии не направлены против других людей и народов. Философы-экзистенциалисты отказывались от иллюзий, заставляли себя смотреть в глаза ужасу и абсурду. Но в этой своей способности смотреть в упор, не отводить гла-

за – находили тот смысл и утешение, которое другие находят в Боге, любви к ближнему, научном прогрессе или музыке...

И вот что ещё удивительно: при всём своем рационализме, Александр Мелихов лиричен и влажен, даже наивен – и это сближает его прозу с поэзией, которая умна, умна, а при этом «чуть-чуть глуповата». Сегодня принято поздравлять именинника «электронными открытками» с пляшущими зайчиками, скачущими лошадками, колышущимися цветами и подобранным по вкусу отправителя поздравительным текстом. Мне же пришло в голову переслать дорогому Саше фетовское четверостишие, заменив в нём одно слово (большой любитель стихов, он легко догадается, какое):

В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и грёзы,
И заря, заря!..

Александр Кушнер

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ МЕЛИХОВ

В условной и примитивной моей классификации – исключительно для внутреннего употребления – прозаики делятся на «рисовальщиков» и «мыслителей». Рисовальщики – не обязательно те, кто увлечённо и умело изображают пейзажи и портреты героев, но и все те, кто тонко передают оттенки настроения, атмосферу эпизодов и прочие видимые или хотя бы осязаемые детали. Пластику. Из них превыше высокого ставлю Бунина. Мне в его «В Париже», в генеральской летней шинели, висевшей «в плакаре», обняв которую, трясясь и растекаясь в рёве, сползает на пол после похорон недолго побывшая генеральшей немолодая влюблённая женщина – мне в этом больше про любовь, чем во всей «Крейцеровой сонате», да простится такое противопоставление... Впрочем, и мыслители хороши по-своему – читаешь и трясешься от бешенства несогласия или от счастья совпадения. Тут, конечно, Ф. М. вне сравнений, в отрыве на несколько кругов. И ведь, главное, без фокусов – персонажи рассуждают, как на публичном диспуте со свободным участием, а не оторвёшься от разговора с любым из Карамазовых...

Александр Мелихов – мой универсальный писатель. Я погружаюсь в любимую «Любовь к отеческим гробам», и картинки вытесняют всё реальное, сегодняшнее из моего зрения, и я вижу ту, давно всеми нами – с несущественными различиями – прожитую жизнь, и так она входит в сердце, как стенокардическая боль... А разбирает общественный темперамент, прошибло на социалку – тут как раз подошёл Сашино письмо с вложенной очередной статьёй, с яростным эссе, с его общественными грёзами, которых он жаждет, как другой публицист желал разрушения Карфагена. И опять всё совпадает – с некоторыми поправками на терминологию и я ведь так думаю, и у меня в печёнках сидят наши вольнодумцы на зарплатах, рубящие отечественный сук, на котором сидят...

Мелихов – редкое явление в прозе. Он ясно видит и отчётливо думает, в то время как обычному автору дай бог приемлемо освоить хотя бы что-то одно. За это, а не только за то, что он мой сердечный приятель, я его очень люблю.

Александр Кабаков

ЖЕЛЕЗНЫЙ ФЕНИКС

Александр Мелихов с виду прост и улыбчив, уступчив в мелочах, но по сути твёрд и непоколебим. Его ум бывшего математика беспощаден, не терпит общеизвестных, отживших истин и признаёт работу только в самых сложных ситуациях. Объясняя нам очередную, доступную лишь ему особенность человеческого существования, доказывая свою новую дерзкую, противоречащую всему прежнему гипотезу, он проявляет такую остроту ума, такую твёрдость и последовательность, что все сложности и тонкости жизни по его команде выстраиваются в очередной бесподобный мелиховский роман, доказывающий именно то, что Мелихов хотел доказать, имея при этом вид абсолютно достоверной, естественно текущей реальности. Второго такого мастера я сейчас не вижу. Писатели чаще пишут то, что получится, не ставя никаких сверхзадач – Мелихов такие сверхзадачи решает каждым своим романом. «Горбатые атланты», «Исповедь еврея», «Роман с проституткой», «Нам целый мир чужбина», «Долина блаженных» – все эти вещи содержат открытия, увиденные и объяснённые только Мелиховым, и никем другим. Никакого соавторства для него не существует – он признаёт лишь работу, которую может сделать только он, и никто больше. Он беспощаден так же и к читателю, не давая ему ни малейшего повода расслабиться, сойти на протоптанную тропу, пролить долгожданную слезу над «скорбной урной», у которой принято проливать слёзы. Нет! Мелихов признаёт лишь свои тропы и свои «урны» и жёстко держит читателя при себе – те, кто послабже и привык расслабляться, с ним не идут. Расслабленных читателей у нас большинство, и большинство это становится всё больше – но это словно и не смущает Мелихова: его интересуют лишь те герои и читатели, которые с ним.

Мои мольбы, обращённые к Мелихову – чуть опустить планку, иногда разбавлять жёсткое повествование чем-то помягче, попроще, порой действуют на него: в его последних романах появляются пейзажи, необязательные персонажи, дающие ощущение некоторого простора, свободы от чёткого авторского замысла – мне кажется, это делает его вещи доступнее и мягче. Хотя в главном он по-прежнему неумолим. Чего стоит хотя бы такой его тезис: «Чёткая мысль и сильные чувства несовместимы и исключают друг друга!» Вот и пиши тут роман! И поскольку он, несомненно, является поборником чёткой мысли – то откуда же братья сильным чувствам, без которых нет увлекательного чтения? И при всём при том у него выходит роман за романом, и из каждого не вырвешься, пока не разделишь очередную его дерзкую гипотезу и не отпразднуешь вместе с ним победу.

Похоже, только такая работа – на пределе возможного и за его пределами – и интересуется Мелихова и только она позволяет автору уже многие десятилетия быть в такой замечательной форме.

Поздравляю, Александр!

Твой Валерий Попов

Во дворе дома, где умер Гоголь, стоит странный памятник этому странному господину: при круговом обходе его слева направо человек, явным образом ехидно смеющийся, с какого-то неуследимого момента начинает едва ль не плакать.

В связи с юбилеем Александра Мелихова почему-то в дурной моей башке одновременно с нашим юбиляром вспоминаются еще двое петербуржцев: помянутый незалежный Яновский и куда более известный всему миру мистер президент Путин. Плохая идея, да? А вы посмотрите, приглядитесь – один лысоват, а другой

лыс, а третий взял их и соединил – не носом, такого носа никогда ни у кого другого не было и не будет, – а тем, что если присмотреться в профиль, то не есть ли Чичиков Наполеон? – он ведь тоже и не так чтобы толст, но и не так чтобы очень тонок. Притом оба костисто-худощавы и по-питерски желтоваты лицом, то есть желчны. Только один желчен на самом деле, а другой – кто его знает. На то он и президент, чтобы никто не знал, что он имеет в виду, поворачиваясь то одним, то другим, то третьим, то четвёртым из своих лиц к Западу, Востоку, Северу и Югу – на все четыре ветра, чтобы никто не догадался, какой ещё сюрприз готовит нам и им великая Россия в лице одного из четырёх лиц своего главы.

Другой же желчен безусловно – и правильно делает. Иначе как жить достойно в эпоху, когда Ходорковского перестали путать с Березовским, один в Лондоне, а другой – кто его знает где, но только не в Лондоне.

Но мы-то об имениннике. Впрочем, зачем ему именины, когда у него и так есть имя.

Мелихов странным образом соединяет в уже очень солидном корпусе своих текстов то, чего вообще не хватает нашей литературе, чтобы не быть провинциальной, окраинной, Украиной в Европе: безрассудное чувство – и трезвый расчёт, никого и ничто, начиная с себя, не щадящую мысль. Безусловный расчёт на читателя – и бескомпромиссное дутьё в свою собственную дуду. Художественную нехудожественность. Он один из немногих, кто спокойно поверяет алгебру гармонией – и не боится, и ничего, обобщается в искусство слова. Его проза не требует мыслей и мыслей, а сама их провоцирует. Его мысль есть именно мысль, и мыслится по законам правильной, а потому и нескудной мысли, а не по понятиям отдельных интеллектуалов, готовых принять за мысль всё, что им хочется так назвать. Корыстная любовь к бескорыстной мысли – вот это Мелихов и есть, и поучимся у него, чтобы интеллигенцией не только слыть, но и быть. Кто сумеет, конечно. Я вот не умею писать сразу столько всего разного и одинаково хорошо и умно, от длинных романов до маленьких, да удаленьких эссе, не жертвуя качеством, а он умеет. И это прекрасно; это не халтура, а маэстрия.

А обязан этим Мелихов одному свойству, описанному Тыняновым в начале «Вазир-Мухтара»: на очень холодном снегу 14-го декабря такого-то года было расстреляно время – и «винные люди» прекратились или видоизменились, как старое бургундское «Пира во время чумы» и «Медного всадника», – а пошло поколение людей уксусного, а не винного брожения. Типа Вазир-Мухтара Грибоеда. Что-то вот такое произошло и с нами не так давно, и именно уксусные люди и есть голос нового времени новых старых людей. Мелихов словно родился уксусным человеком и в эпоху людей винных или невинных, и ждал, когда придёт его время высказаться – вот оно и пришло, когда он его ждал, а то не ждал, но ему – в пору. Это негромкий, но точный голос прозаического Ходасевича.

Мелихов, как и Путин, – такие вот сегодняшние уксусные люди, и у каждого из них это пропечатано на лице; только вот нужны ли народу уксусные президенты? А уксусные писатели необходимы, не так чтобы всем, но и не сказать, чтобы мало кому...

Юбиляр уложился в формат – дожил ровно до шестидесяти. До него это сумел Филипп Филиппович Преображенский. Это говорит о них как о профессионалах, умеющих делать всё точно и укладываться один в формат возраста до знака, другой – распорядиться своим временем так, чтобы не опоздать ко второму акту «Аиды». Всё прочее – литература. В которой место Мелихова – значит. В душах же его друзей значит и его не совсем привычная нежная учтивость, не переходящая в приторность. Его старомодная учтивость сегодня как нельзя более своевременна, она заряжает и его прозу, сообщая ей какое-то почти уже незнакомое благородное послевкусие.

Хэппи бёзди, мистер писатель Саша Мелихов...

*Экскурсовод Юрий Малецкий,
юго-восточная оконечность Северо-Западной Европы, Мюнхенские Белые
Столбы Хаар, отделение 66-е, палата № 6.*

*Редакция журнала «Зарубежные записки» тоже поздравляет замечательного
писателя и любимого своего автора Александра Мелихова, благодарит за сотруд-
ничество с журналом и желает ему счастья – как уж он его понимает.*

ДОРОГА НА ЧАТТАНУГУ

* * *

Как душа выбирает судьбу, рассказал платоновский Эр.
Ноги немного вязнут в плотной облачной вате.
Видишь, душа подёнщика подаёт достойный пример,
выбегает вперёд, выхватывает жребий тирана. Некстати,
рядом душа Дионисия ухмыляется – этот куш,
с опытной точки зрения, недорогого стоит.
Вокруг разложены жребии, их много больше, чем душ.
Какая своим вниманием какой из них удостоит?
Я родился и прожил без малого сорок лет,
но душа моя до сих пор примеряет, меняет жребий,
колеблется перед выбором. Этот? Всё-таки нет.
А я всё жду, ну когда она? Ну как она там – на небе?

Алтай

Здесь нет середины. О ежеминутном
подумай: о спичках, дровах для привала,
и сразу о самом последнем и трудном:
конечных причинах, начале начала.

Нет будущего в этом каменном храме,
и прошлого нет. Только точка опоры.
И небо, как чаша с расколотым краем,
оброненная на скалистые горы.

Когда остановится на перевале
тяжёлое Солнце из теплой латуни,
мы руки и губы омочим в Капчале
и к вечеру выйдем на берег Катуня.

Внезапно вода закипает в протоке
и хлещет по пальцам железом калёным.
Под правую стенкой Четвертые Щёки
проходим, царапнув о камень баллоном.

Я первая строчка последней страницы.
Лёд, небо и камень – слова эпилога,
граница лесов или просто граница
и водораздел человека и Бога,

и отграничение тела и духа,
движенья, покоя, начала, итога,
и кровь, зазвеневшая зыбко и сухо –
и всё-таки дальше, хотя бы немного.

Первый поцелуй

Я целую тебя неумело,
робко, скомканно, воровато.
Так податливо это тело,
Так засасывает куда-то.
Осень жёлтая в красных пятнах.
Очи чёрные близко-близко.
Так вибрирует сердце в пятках.
Визг осеннего василиска.
Гул падения мимо, мимо.
Листья тикают тонко, тонко.
Щёки пахнут яблоком, дымом,
и пространства скрипит воронка.

Plath with Nicholas, December 1962

На этом снимке с ребёнком
Сильвия Плат похожа на Юлю.
Такую, как двадцать лет назад.
(Двадцать лет – это много?
Двадцать лет – много.)

Юля действительно напоминала Плат
решимостью вынести всё
и снести...
Я любил её так, что казалось –
мир взорвётся.
Да он и взорвался.
И собирал я тело своё и душу,
по лоскутам, как чёртову свитку.

Сильвия Плат смотрит в камеру.
(Чем снимали тогда?
Тот же «Кодак», наверно.)
Она улыбается.
Восторг
в огромных чёрных глазах,
волна
тяжелых чёрных волос...
Она улыбается сыну.
От этой идиллии
становится холодно.

Ты-то думала,
что у кошки девять смертей,
но оказалось – их только три.

Я уже старше тебя...
Я намного старше тебя,
черноволосая девочка,
самоубийца со стажем,
кошка, которая репетирует
смерть, как минорную гамму.
Раз-и, два-и... Три.

* * *

Жить не хочется, хочется спать.
Смерть, говорят, красна на миру.
На что мне такая благодать?
В одиночестве лучше умру.
Заживо постепенно сгнию,
морозом задохнусь наконец,
медлительную волю мою
сломают, как поленом крестец.
Куруется над грязной рекой пар,
Горько пахнет горелым тряпьём...
Знай: втиснутый в стандартный футляр,
я любил тебя в сердце своём.

Массовка

У Казанского собора,
возле левого крыла,
отпевают режиссёра
красные колокола.

Транспаранты и хоругви,
писанные через «ять».
Пляшут лики или буквы –
не умеют устоять.

Ветер с моря мнёт знамена,
рвёт, как марлю на бинты,
исторического фона
характерные черты.

И оратор по трибуне
бьёт кондовым кулаком.
Блики реплик тонут втуне
и прибое городском.

Забубенная держава
с козьей ножкой на губе
покачнулась влево-вправо
и оуклилась в борьбе.

Ну так что ж, давай орудуй,
эпохален твой замах,

самоварною полудой
отразившийся в умах.
Кто-то месит, кто-то лепит
от усердия сопит,
и глаза слезит и слепит
подвернувшийся софит.

Стая галок над собором –
вышивка полукрестом –
нам дана не режиссёром,
а пространственным холстом.

Холст пространства кто-то вышил,
набирая по стежку,
или просто встал и вышел
по ноябрьскому снежку.

И ушёл, забыв дорогу
в этот город и собор,
где массовку понемногу
завершает режиссёр.

Я живу в газетных шорах,
нумерованный извне.
Я нуждаюсь в режиссёрах
Больше, чем они во мне.

Плоть от плоти общей массы,
притулившись на краю
непутёвой водной трассы
где-то около стою.

Получает середина
по три ложки толокна.
Это глина, только глина,
только глина без окна.

Отпечаток влажных пальцев
остаётся на лице
у сидельцев и скитальцев,
как непознанная цель.

Мне ли мыкать, мне ли плакать
и отбыть куда-нибудь.
Только глина, только мякоть –
несминаемая суть.

Истина мутна, как тина.
Больно бьют её ключи.

Только глина, эта глина
не годна на кирпичи.

* * *

Соль и спички в продаже свободно, и это немало.
В Эфиопии засуха. Люди, как мухи-цеце,
мрут от голода, новую жизнь начиная с начала.
Что-то будет в конце.

Будут спички и соль, в остальном – перебой и нехватка.
Будет масло – по карточкам, мясо – три раза в году,
и отеческий взгляд охранителя миропорядка,
пронизавший среду.

Паденье Трои

Сипит флейтист, лады расстроая.
В моих глазах сгорает Троя.
Кассандра бьётся о косяк.
Ништяк.

Бежит Эней. Спасает шкуру.
Его геройская фигура
мелькает в продранном плаще.
Ваще.

Неоптолем, щенок, мальчишка,
при штурме накативший лишку,
рассёк Приамово чело.
Не запаadlo.

Витаает привкус сладкой гари,
палёной плоти, каждой твари
ещё перепадет, ещё.
Ты чё.

Мелькают шлемы, лица, копья,
и пепел носится, как хлопья
звонной пены. Стон в груди.
Не бзди.

Я плачу. Стены Илиона,
наследье Троса, щепки трона
и факелов чадящий свет.
Пинцет.

О, где ты, где ты, Афродита,
ужели рана не забыта?
Зевс не велел? Как тут посметь.
Я встречу смерть.

Ночь
(вариация)

Не спи, не спи, замёрзнешь.
Не предавайся сну,
а предавайся пиву
и белому вину.
Не спи, не спи, работай,
животным табака
насыть свою утробу,
ведь ты живой пока.

Но все давно уснули,
я вышел на балкон,
ворочаются мысли,
как железобетон.

Не сплю один и вижу,
что все сошли с ума,
что бродят по Парижу
публичные дома,

что я один остался,
других на свете нет.
Наверно, я художник,
писатель и поэт.

Дорогана Чаттанугу

Михаилу Бутову

– Pardon me, boy,
Is that the Chattanooga Choo-Choo?
– Track twenty nine!

Mack Gordon

Дорога на Чаттанугу
сначала уходит к юго-
востоку. Давай по ней.
Какие пребудут страсти,
Какое увидишь «здрате»
пристанционных огней!

Дорога на Чаттанугу,
наверное, путь по кругу,
по сфере, как ни крути,
блуждая по оболочке,
в какой бы ты ни был точке, –
ты будешь в конце пути,

как муха в хрустальном торе.
Так в фильме у Торнаторе

машинка бессонно бьёт
слепые наборы литер.
Вода на лицо и свитер
стекает, каплет и льёт.

Герой Депардье поникший
с трудом вспоминает нижний
отвергнутый дольний мир.
Рассветное время смерти
отмоет от скверны тверди,
потёртой до чёрных дыр.

Увязшие в Интернете
товары, деньги и дети
скользят от узла к узлу.
Летит золотой картофель
не в бровь, а в медальный профиль
отвязанному козлу.

Итак, продолжим. Давно ли
жил мальчик, учился в школе
потом поступил в МЭИС.
Окончил, писал рассказы,
добился звучанья фразы,
единственного. Не скис,

не спился, хотя и мог бы,
вкусил белены и смоквы,
наставил ярких заплат.
Солиден, груб и заботлив
Построил, как Лейбниц Готфрид,
свой собственный моноад.

Есть кресло, стол и два стула,
автомобильному гулу
не взять монастырских стен!
Есть Вера и есть Никита
и можно граунд-битом быта
поверить пульс перемен.

Корь, коклюш, ветрянка, свинка,
Глен Миллер. Под посвист свинга
на 29-й путь
подходит южный почтовый
Прощай, мой мальчик. Да что вы –
увидимся как-нибудь.

* * *

Я люблю Вас, сударыня. Странно легко
отливается слово, как плотная влага,
словно губы пригубливают молоко,
и полынную горечь впитала бумага.

Над Зеркальным театром плывет саксофон.
Звук колеблется между колонн и колонок.
Счастья нет, вероятно. Но должен быть фон
цвета серого моря, как слёзы спросонок.

РАССКАЗЫ

МИЛЛИОН

реалистический рассказ о деньгах и счастье

С Николаем Ивановичем Огоньковым жизнь обошлась жестоко: все вокруг разбогатели, а он – нет.

То есть нельзя сказать, что Николай Иванович бедствовал, как некоторые из тех, кого он видел на улицах и по телевизору. Он не просил, сидя на пятках естественно подвёрнутых ног, подаяния на нуждающегося в операции сына; не жил без работы в сгнившем от ежегодных наводнений и не отапливаемом бараке; не перекрывал оживлённую магистраль, требуя от окружающей действительности немедленно погасить полугодовую задолженность по зарплате; не покупал на оптовых рынках поддельные дешёвые продукты и не стоял в очереди за пенсией каждый месяц в назначенный почтой день – нет, от всего этого Бог миловал. Просто Огоньков получал вполне приличные деньги в сфере не то что бы малого, но так себе бизнеса, работая, понятное дело, менеджером по продажам, но это были всего лишь приличные деньги, не больше. В то время как многие, да почти все его знакомые – Мимолётов, Социев, Фёдоров, Жутько, Виноградов, Шустерман – уже получили настоящие деньги, не приличные, а большие, и теперь были обеспечены навсегда, а не тряслись от страха, что контора накроется и вместе с нею накроется штука баксов... Ну, штука с небольшим, которую ежемесячно получал Николай И. Огоньков на свою, как у всех нормальных людей, пластиковую карточку.

А Мимолётов, допустим, или тот же Жутько хотя бы, они упаковались. Полностью обеспечили себя и свои молодые, но уже большие семьи – а чего третьего не рожать, когда бабки есть.

Проанализируем, к примеру, Мимолётова: что такого удивительного, оригинального и полезного этот Мимолётов, блин, сделал?

К тому времени, как утомлённая советская власть собралась грохнуться, достиг Андрюха Мимолётов обычной для его тогдашнего возраста карьерной вершины, то есть вечером как попал учился в химическом институте, а днём тоже нетяжело работал старшим лаборантом в химическом же НИИ, которое, как положено, пытались сделать из обычного мазута абсолютное оружие против американцев и всего их агрессивного блока. Оружие пока не получалось, зато вырисовывалась очистка мазута до практически питьевого состояния с помощью ядовитого синего порошка, синтезированного в лаборатории профессора Блувштейна, который как раз свалил в Израиль, испугавшись безвредного общества «Память». Юный Мимолётов остался единственным в лаборатории мужчиной среди немолодых кандидатш наук, парализованных предчувствием грядущей свободы торговли и соответствующего приведения научных зарплат к реальной цене научных достижений.

И Андрюха не растерялся, но, напротив, предпринял ряд оказавшихся впоследствии весьма целесообразными действий. Прежде всего, он бросил вечерний

институт и зарегистрировал лабораторию как кооператив «Синий птиц», председателем которого тут же стал. После этого оставшийся от профессора на институтском складе в товарных количествах порошок погнал на продажу одновременно в две противоположные стороны – через Польшу, прямо бывшему потенциальному противнику в конкурирующую лабораторию «Блустоун Инк.», и в Дагестан, где порошок тут же стали использовать для производства спирта пищевого из ворованных по древней горской традиции нефтепродуктов. Совершенно не нужные при этом помещения лаборатории сдал вместе с кандидатшами в аренду своему приятелю, вышеупомянутому Жутько Игорю, который как раз сообразил открыть в этих помещениях видеосалон на базе привозившихся ему выездными партийными родителями кассет с фильмами «Эммануэль», «Глубокая глотка» и «Охотник на оленей»...

Что же в результате, через каких-нибудь исторически ничтожных пятнадцать-семнадцать лет, имеем мы, точнее, имеют Мимолётов, а заодно и Жутько? Мимолётов пару лет назад через ещё одного своего друга Юру Шустермана продал контрольный пакет акций ЗАО «СПЪ» американской компании «Блустоун Инк. энд Шустер» и теперь живёт постоянно в Московской области, очень увлекаясь яхтами, прямо помешался на них. Жутько вкладывает большие деньги в кино, сам продюсирует от нечего делать. А Юрка Шустерман, кстати, вообще переселился в Майами, он как поднялся на своём досуге для состоятельных господ, так сразу и уехал от греха подальше. В совете директоров-то блустоунском быть Шустером всяко лучше, чем в пресненском СИЗО Шустерманом, хотя СИЗО, конечно, знакомо по мелочам ещё с семидесятых, а в Штатах буквально всё с нуля пришлось начинать...

И все они в большом порядке. Промелькнёт только, в соответствии с фамилией, Мимолётов по Рублево-, конечно, Успенскому шоссе, а за ним яхта на прицепе – и опять живёт частной жизнью за большим дачным забором, выстроенным ещё управлением делами ЦК КПСС. То же самое и Жутько – придёт на премьеру своего блокбастера в мятом пиджачке, потусуеться полчаса среди друзей, да и домой, к своим семейным ценностям, сосредоточенным в районе Истринского водохранилища. А Шустер с друзьями только раз в году встречается, в Альпах, да и то без большой охоты – у них, у американцев, не принято своим богатством хвастаться, и соседи в Майами, если узнают, что он ездит на такой дорогой европейский курорт, начнут коситься.

Вот. Теперь представьте себе, каково это – иметь таких старых приятелей, которые иногда даже звонят и спрашивают о жизни вообще, а самому бояться, что накроется контора и окончательно опустеет пластиковая карточка... Так что судьба Огонькову действительно выпала суровая, не позавидуешь. Хотя, с другой стороны, штука баксов, если задуматься, это ж немало, совсем немало! Пока она есть.

Но, как известно, чего боишься, то и случается. Контора не то чтобы накрылась, но сильно пошатнулась в связи с очередной революцией в сопредельном государстве, где у неё, конторы, были большие интересы. И Колю Огонькова вместе с другими менеджерами низшего и среднего звена отправили в неоплачиваемый отпуск – в то время как менеджеры высшего звена, называемые, как обычно, топ-менеджерами, ушли, натурально, в отпуск оплачиваемый и разлетелись кто куда по островам.

В отпуске Коля стал много спать, а перед сном мечтать.

Что ещё прикажете делать человеку в неоплачиваемом отпуске неизвестной пока длительности, если небольших накоплений хватит ещё максимум на месяц? При этом, заметьте, у Огонькова есть сестра-учительница, живёт в Орле, и бывшая жена, которой он, несмотря на взаимную бездетность, тоже постоянно помогает, поскольку её профессия дизайнера некоторых кормит очень даже неплохо и всё время приводит на экран телевизора, а бывшую Колину жену не кормит почти

совершенно никак и приводит исключительно в наркозависимость – она неталантливая, жена. Есть у него также головастая собака не совсем чистой породы бассет, которая спит на его кровати в ногах и вздыхает вместе с Колей, автомобиль отечественного производства, пошедший уже заметным рыжим цветом по низу дверей, и однокомнатная квартира, вовремя оставленная покойной тёткой – как раз к разводу.

Да: живет Н.И. Огоньков, конечно, в Москве – где же у нас, кроме Москвы, человек получает тысячу долларов в месяц и ещё о чем-то мечтает?

О, Москва, Москва, поразительный город! Кто только не живёт в нём, кто только не вдыхает жадно его несвежий, но прекрасный воздух, выдыхая вместе с азотом или чем там ещё свои страстные желания... Его колеблющиеся в горячем мареве башни и висящие в огненных закатах мосты, его слишком широкие, но непроезжие проспекты и изрытые тружениками благоустройства тротуары, его пыльные парки и памятники, размножающиеся, как кролики...

Всё это, отвратительное и чарующее, окутано жаждой обладания, исходящей от коренных и, главным образом, от приезжих жителей.

Все хотят её, эту блядскую Москву, наутро забывающую, что она обещала случайному обладателю ночью, когда он, горячечно вертясь на ложе бессонницы, планировал долгу совместную жизнь и отдалённое счастье.

Будь моею, Москва! Отчего же нет, дорогой? Пожалуйста. С удовольствием. Утро вечера мудренее, ты проснёшься и удивишь всех своим проектом (проект, проект, как же иначе! всё и у всех теперь проект), и они понесут тебе деньги, а ты отдашь эти деньги мне, Москве, и мы станем с тобой жить вечно, во взаимной любви... Спи.

И он спит, а утром – хрен ему вместо денег за проект! И бредёт он по Москве, все его толкают, и нет ему здесь места.

Вот и Николай Иванович лежит поздним вечером в постели вместе с собакой Борисом, названной так без какого-либо намёка. Дремлет, но не спит, так как за день выспался до головокружения, и мечтает, чтобы отвлечься от практических мыслей, абсолютно бесполезных, как и мечты, – чего ж думать, если ничего практически придумать нельзя, да уже всё и передумано...

Ну, Огоньков и планирует для безвредного удовольствия и постепенного засыпания, что станет делать, когда вдруг получит миллион.

Прежде всего он обдумывает, на какую машину сменит свой ржавый драндулет халтурной приволжской сборки, вот ведь уроды, ну, неужели же нельзя было прогрунтовать металл по-человечески? С одним миллионом, конечно, особенно не разгонишься, если взять, например, мерс или бимер новый, то десятой части денег как не бывало, а ещё ж нужно с жильем что-то решать... Сейчас все хвалят корейские машины, хорошие, говорят, и надёжные, а по деньгам почти как наши... Взять, допустим, тысяч за двадцать, так будет даже кондиционер... А на фига он нужен, кондиционер? Если не боишься шею простудить, можно своё окно и заднее правое открыть, вот тебе и кондиционер... Та же простуда, только на восемьсот баксов дешевле... Нет, точно, надо без кондиционера брать. И нашу. Говно наши, конечно, настоящее, зато в эксплуатации, считай, ничего не стоят... Например, можно свою отдать, доложить немного и купить такую же новую. По нашим-то дорогам лучше на нашем же железе и ездить. И сослуживцы завидовать не будут, когда из отпуска все вернуться... Нашу, только уж с гидроусилителем, это уж обязательно, пора на современную технику пересаживаться, пора...

Собака Борис, услышав Колин облегчённый вздох, тоже громко вздыхает, упираясь всеми ногами в хозяина – потягивается.

А вот с квартирой надо серьёзно решать, думает Огоньков, так уже сейчас никто не живёт – комната шестнадцать, кухня пять. Но это ж бабки!.. Немереные. Если, предположим, брать в новостройке, монолит, две комнаты... Так там без

отделки – считай, ещё одну цену за ремонт заплатишь... В столик не уложишься, ужас! Плюс мебель. А иначе – нет смысла. Сколько ж тогда на жизнь останется? Так, по штуке... нет уж, по две, вот что! По две в месяц... До пенсии не дотянешь. Если только продолжать работать, тогда штука там, штука из своих – до восьмидесяти хватит... Кто ж тебя будет на работе держать до восьмидесяти? Смотри, как бы в полтинник не выгнали, если вообще этот отпуск грёбаный когда-нибудь кончится, зараза! Ладно. Насчёт квартиры... Если брать однокомнатную, тогда, конечно, легче. Евроремонт сделать... Пусть общая площадь однокомнатной пятьдесят, это хорошая однокомнатная, сколько ж тогда ремонт?.. Да, порядком. А зачем, собственно, пятьдесят метров? Только Борьку гонять. Если сюда, в эту тёткину, половину вложить, стенку в кухне убрать, так будет студия, как в журналах на фотографиях... И, предположим, подгорели пельмени, и весь дым в комнате, на кой такая студия?.. Можно просто обои поклеить, плитку в ванной поправить, там две треснули... И живи себе, зато соблазна снова жениться не будет, нет уж, хватит такого счастья. А здесь за десятку можно такую красоту навести!.. Не хуже, чем в журналах.

Решив квартирную проблему, Огоньков опять облегчённо вздыхает, и Борис вздыхает в ответ.

Вот придеться надо, это точно, планирует Николай Иванович, начиная уже, наконец, засыпать. Хороший у шефа костюм, в тонкую полоску, пиджак на трёх пуговицах, сзади два разреза, как у президента. Сколько такой стоит, интересно? Только уж не на рынке, дудки, хватит дрянь турецкую носить. Прямо пойти в этот бутик напротив, вон в окне от его вывески синий свет, там всё и взять – рубашек, галстуков, ботинки с такими носами, как у джокера карточного... Нет, всё-таки гадость эти ботинки, надо такие... мягкие и без носов... как у того Фёдорова, который из отдела маркетинга... Хорошо Фёдорову, у его жены свой бизнес, можно ботинки покупать какие хочешь, если вообще вся зарплата только на себя...

Или жениться? Не обязательно же на дизайнере, можно просто... Ну, четыре в месяц, ну и что? До пенсии хватит, и чёрт с ним. Едешь с женой в новой машине, приезжаешь в свою двухкомнатную после евроремонта, как человек, телевизор плоский, кухня из букового монолита... Э, нет, так сразу всё вылетит, не то что в миллион, в два не уложишься, а где их взять, два?

И один негде взять, вспоминает, окончательно засыпая, Огоньков. Эх...

А Борис, как положено собаке, уже давно спит, потому что его мечты короче, и он твёрдо знает, что утром они осуществляются в том углу кухни, где стоит сейчас временно пустая пластмассовая тарелка.

Светится небесным светом и магазинной вывеской окно.

За окном, в ночном невидимом воздухе клубятся мечты.

Это они, мечты наши, плывут там, время от времени заслоняя дымными серебристыми тенями луну. Сталкиваясь высоко в воздухе, как, не дай бог, самолёты, ведомые усталыми диспетчерами, мечты распадаются и рушатся, и жертвы этих катастроф лежат в своих постелях, засыпанные невесомыми, но неподъёмными обломками грёз. Одного придавило миллионом, которого нет и не будет, другого славой задело и навек изуродовало, третьего любовью трахнуло еле не насмерть... Боже мой! Только в Москве десять миллионов пострадавших в еженощных катастрофах, и буквально ж ни слова в новостях... С другой же стороны – разве это новость? Так было и будет, и никто не даст миллиона, и слава достанется идиотам, и любовь покинет, оставив от себя пустое место, фантомную боль, и по всему невообразимому миру будут лежать, страдая ночь за ночью, потерпевшие в крушениях мечт...

Нет, «мечт» – так нельзя сказать. «Мечтания» же – это другое слово... Вот ведь ужас! И сказать-то толком о самом главном нельзя, не позволяет русский язык.

А, ладно. Жить-то надо.

Николай Иванович Огоньков спит, совершенно не предполагая, что утром ему позвонят из службы персонала и сообщат, что неоплачиваемый отпуск кончился, пора выходить на работу, где его ждёт лишь немного уменьшившаяся зарплата и истомившиеся, как и он, сослуживцы. Огоньков будет ехать в своей ржавой машине, стоять в пробках, опоздает на десять минут, но, к счастью, в послеотпускной весёлой суете этого никто не заметит, а он, вдруг вспомнив свои ночные размышления, порадует, что всё разрешилось так удачно.

Ведь с миллионом-то особенно не разгонишься, а? То-то и оно.

СОКРОВИЩЕ

ещё один рассказ о деньгах и счастье

Дом начали сносить ранним весенним утром, при беспощадном свете, падавшем на город с ещё холодного, но уже высокого неба. В этом свете прекрасно выглядела японская и скандинавская тяжёлая техника, почти вся жёлто-красная. Утренний мир искажённо отражался на поверхности её важнейших деталей, сделанных из полированной нержавеющей стали, и в выпуклых стёклах кабин. Техника пускала сиреневый дым с тонким, слегка ядовитым химическим запахом и сдержанно, пока вхолостую, рычала.

А дом, жильцы которого давно его оставили, выглядел ужасно, как запущенный в районной больнице старик-пациент. Пыльные окна смотрели серыми катарактами, стены были покрыты лишаями плесени, настёж открытая дверь косо висела на одной петле, и в чёрном провале подъезда проглядывала сломанным протезом лестница с вырванными через одну ступенями и арматурой вместо них. От дома метров на двадцать несло едкой сыростью и затхлым дыханием распада.

Естественно, такой дом необходимо было снести как можно быстрее. За ним уже толпились, очевидно тяготясь неподобающей второплановостью, высотные новостройки. Хорошо промытые стеклопакеты брезгливо глядели вверх проваленной, косо съехавшей крыши нищего соседа, в зеркальных двухэтажных стёклах пентхаусов сыла окружающая пустота, которой предстояло скоро наполниться этажами еще одного корпуса, под него и освободили поляну.

Здесь автор самонадеянно позволит себе отвлечься и объяснить, откуда взялось это выражение – «освободить поляну». Недавно по телевизору, в какой-то сравнительно культурной программе, то есть без светских девушек и депутатов, один приятель автора вел интеллигентную беседу с молодым коллегой. Ну, конечно, на приятеля смотреть было интересно и тревожно, как бы чего не ляпнул, но он как раз всё говорил толково и внятно. Мол, главное, чтобы не порвалась связь времен, чтобы младая жизнь играла там, где ей положено, потому что всё проходит, но искусство вечно, и его надо бы передать в надёжные руки – в общем, вполне по-доброму. И тут юноша перебивает собеседника и говорит буквально следующее: «Короче, освобождать поляну пора, вот что. Убирайте свой отстой, папики – и досвидос». Кто не верит, что были употреблены слова «отстой», «папики» и «досвидос», тот может посмотреть запись передачи, домашние приятеля сделали... Однако на мэтра наибольшее впечатление произвели даже не загадочные, но очевидно грубые слова, а образное выражение насчет поляны. Горестно качая головой, потерявшей большую часть волос на полях сражений за чистое и вольное искусство, и тряся поседевшей в этих же боях бородой, он всё повторял: «Освобождать поляну, значит... Что ж им, места не хватает, что ли?» Вот и автор с тех пор всё никак не выкинет из головы это страшное, неотвратимое «освобождение поляны» – и вставил его в текст, как только нашлось первое подходящее место.

Впрочем, не будем о грустном, продолжим описание смерти.

Дом умирал тяжело и неохотно.

Ковш на толстом выдвижном стержне плыл в уже полном дневного сияния воздухе и мощно ударял в ветхую стену. Однако стена, вопреки очевидной безнадёжности сопротивления, лишь осыпала грязную штукатурку, обнажая жёлтую, удивительно свежую дранку. Ковш, яростно скалясь всеми своими японскими зубами, снова и снова врзался в стену, но рухлядь поддавалась медленно, роняя в облаках удушливой пыли небольшие, с неровными острыми краями осколки намертво сцепившихся кирпичей... Наконец открывался пролом, в котором возникла комната, похожая отсутствием четвёртой стены на реалистическую театральную декорацию. Изнутри комната была на треть высоты покрашена голубой масляной краской, далее шла штукатурка, потолка, как и положено декорации, помещение не имело вовсе. Резко очерчивались светлые прямоугольные пятна от настенных календарей, семейных портретов и выпускных школьных фотографий в рамках, которые здесь, вероятно, долго висели. Распахнув дверцу с зеленоватым зеркалом, сползал к краю провисшего пола платяной шкаф из облезлой фанеры, и любопытный наблюдатель с особо острым зрением мог рассмотреть в его тёмных недрах несколько забытых одежек на проволочных плечиках. Там висели допотопный мундир советского офицера с золотыми выгнутыми крылышками погон и стоячим воротником, синее длинное панбархатное платье со сборчатым лифом и неожиданная детская стёганая нейлоновая куртка, залетевшая сюда уже в поздних восьмидесятих, когда владелец был сдан деду с бабкой на время дальней родительской командировки. Автору известна хозяйка одной изысканнейшей галереи, которая за старые тряпки дала бы вполне приличные современные деньги... Но поздно – шкаф ползёт по рассыпающемуся полу и рушится с высокого четвёртого этажа в огромную, дымящую пылью, кучу мусора, а за ним летят колченогая кухонная табуретка, мятое коричневое эмалированное ведро без ручки и виляющий пёстреньким, в матерчатой оплётке шнуром уют. Только узкая кушетка, покрытая гэдэеровским гобеленом с оленями, ещё отчаянно жмётся к стене, но и ей не устоять.

Покинем же их, пассивно освобождающих поляну (вот прицепилось-то!), и обратимся к активно действующему именно в этот момент персонажу – к механику-водителю разрушительного механизма, уже догрызающего верхний, четвёртый этаж и примеривающегося к третьему.

Этого молодого приезжего человека зовут, знакомьтесь, Михаил. Фамилия его автору неизвестна, а будь и известна, так здесь её не стоит приводить, учитывая последовавшие события. Мишка, как его ласково называют решительно все знакомые, включая не только сменщика Константиныча (полностью – Арсена Константиновича) и диспетчера Нину, но и начальника колонны Николая Ивановича Огонькова, специалист первоклассный. Профессиональным мастерством и объяснялся в своё время приём иногороднего, южанина с акцентом, не имевшего собственной жилплощади и даже постоянной регистрации, на работу в солидную фирму ЗАО «Демонтажспецсносреструкция». Здесь механик-водитель крана-экскаватора немедленно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, будучи совершенно непьющим, включая пиво, и безотказным хоть две смены подряд. Здесь же, в сплочённом коллективе работников ЗАО, среди шофёров-экспедиторов, сейчас выстроивших свои гигантские самосвалы в очередь за строительным мусором, среди вооружённых смертоносными отбойными молотками и рукопашными короткими фомками рядовых разрушителей-демонтажников, среди дизелистов-операторов компрессора и обычных грузчиков-такелажников с отечественными совковыми лопатами – здесь мы и встречаем Мишку.

День близится к обеденному, а затем и к послеобеденному тёплому времени. От дома уже остаётся пустой остов с дырами окон, ведущими в небо, и скалистым

верхним контуром. Всё вместе это напоминает жестокий реализм военных фотографий и, окажись здесь современный суровый художник светотени, тоже обязательно стало бы произведением искусства, с безжизненной, но как бы одухотворённой руиной на фоне безжизненных же и даже бездушных новостроек. Актуальности искусства присущ такой антибуржуазный пафос, и его, несмотря на некоторую плакатность, могли бы оценить по достоинству на какой-нибудь выставке – да хотя бы и в упомянутой модной галерее, где сегодня устраивают аукцион предметов тоталитарного быта, а завтра, глядишь, уже и вернисаж какого-нибудь нового романтика-живописца... Но нет поблизости остроглазого фотохудожника, исчезающая натура исчезает впустую и бесследно, а дело, между тем, идёт к пересменке. Константиныч уже приехал вместе с другими свежими трудящимися, они вылезли из специального микроавтобуса, в котором закрытое акционерное общество шикарно возит на смену свои квалифицированные кадры, и бродят по фронту работ, прикидывая, уложат ли, как намечено, в смену полное уничтожение объекта и вывод останков.

Пока вновь прибывшие осваиваются, Мишка спускается из комфортабельной импортной кабины и, пожав руки всем товарищам по труду, присаживается покурить на древнюю прикроватную тумбочку коммунально-больничного типа. Тумбочка эта грохнулась с третьего этажа от очередного удара ковша, однако не рассыпалась в щепки, отдадим должное советскому некрасивому, но прочному изделию, а лишь отлетела немного в сторону и теперь лежит на боку, откинув перед собой узкую дверцу. Мишка сидит на этом скромном предмете мебелировки, относящемся к середине прошлого века, курит сигарету и ни о чём не думает, глядя исключительно на покрытый мелкой розовой пылью асфальт между его рабочими кроссовками без шнурков, немало пожившими вплоть до полной потери цвета, формы и размера.

И вновь автор разрешит себе отвлечься, рискуя вниманием читателей. Собственно, им рискуешь в любом случае, будешь ли продолжать последовательное описание производственного процесса или обратишься к рассуждениям о бренности всего сущего и жестокости тех, кто идёт следом, торопя нас и подталкивая. Так давайте же свернём ненадолго в сторону от магистрального повествования и погрузимся во внутренний мир героя. Мир этот для нас совершенно постижим, поскольку автором и придуман во всех подробностях, к тому же весьма невелик и несложен по устройству. В нём есть несколько главных составляющих – во-первых, мечта о постоянной столичной регистрации; во-вторых, план переселения из полуплебального общежития в собственную комнату, которую можно купить благодаря жестоким самоограничениям в тратах, кроме как на макароны; в-третьих, непреодолимое желание создать семью с диспетчером Ниной, ради чего, собственно, нужны и регистрация, и комната, и вообще всё, включая макароны для поддержания сил не в ущерб сбережениям. Всё нужно исключительно ради Нины, диспетчера колонны, девушки примерно Мишкиных лет, ради её крепкой небольшой фигуры и бледного лица, осеняемого скупой аккуратной причёской из желтоватых по западнославянской природе волос. Мишка уже второй год очень её любит, эту Нину, и она любит его, Мишку. Но взаимное чувство пока расцветает в коридоре общежития, переделанного из детского сада, в дальнем его тёмном конце, за штабелем маленьких стульчиков и столиков, однажды рухнувших среди ночи с неприятным шумом. Перспективы у таких отношений, согласитесь, недалёкие, поскольку многие любви и прежде погибали от жилищного неустройства, и сейчас каждую минуту погибают, и в конце концов плюнет желтоволосый диспетчер на всё, да и выйдет за Руслана-бульдозериста!

У этого Руслана в Перове родная тётка, сильно пожилая и уже зарегистрировавшая его в своей однушке. Тетка даже почти готова и завещание оформить по всем правилам, только очереди у нотариуса большие. А сам Руслан согласен в

любой момент на Нине официально жениться, хотя всё, конечно, про Мишку знает. Но дело в том, что до Мишки, когда он ещё и не поступил в ЗАО «Демонтажспецсносреструкция», и даже в Москву ещё не приехал, у Руслана с Ниной было, так что всё может вернуться к прежнему, того гляди вернётся.

Жизнь, господи, везде бушует, трагедии разыгрываются, и везде страсти жгут человека огнём, что в коттеджном посёлке по самому что ни есть моднейшему шоссе, что в бывшем детском саду, переделанном под общежитие для иногородних рабочих, гост, как говорится, арбайтеров.

Кстати, вот только теперь в рассказе однозначно определилось, что действие происходит в Москве. Вспомнил автор, наконец. Но, с другой стороны-то, а где оно ещё может происходить? Где ещё приезжие сносят коренные дома, чтобы построить новые, тоже для приезжих? Где ещё все люди постепенно становятся местными, будучи – кто много лет назад, а кто и совсем недавно – гостями? И где ещё сияет всем поровну огромное пустое небо города-страны, равнодушное и к вам, и к автору, и ко всем, уже поселившимся или только мечтающим поселиться под этим сиянием, особенно ярким весной, когда дуют везде зябкие ветра любви?..

А теперь ненадолго вернёмся к месту демонтажных работ. Мишка докурил и, слегка наклонившись вперёд, старательно давит бычок непобедимой кроссовкой. При этом взгляд его случайно падает в тёмные глубины тумбочки и обнаруживает там нечто ещё более темное, неопределённой формы, едва видимое. Мишка засовывает руку вглубь и вытаскивает это нечто, не поддающееся простому определению.

Наиболее точно можно было бы назвать извлечённый предмет школьной сумкой для сменной обуви, смущает только незнакомство некоторых читателей со старинными вещами... Итак: небольшой прямоугольный мешок из плотной серой ткани, некогда называвшейся «сатин бумажный», с верёвочкой для стягивания, продёрнутой по верхнему краю в матерчатый тоннельчик. Не самые лучшие годы своей жизни автор ходил в школу с такой сумкой. Иногда в ней болтались китайские кеды «Три мяча», иногда, напротив, по дороге в школу она была пуста, а по приходе заполнялась грязными галошами и вместе с ними вешалась на крючок в раздевалке. Ещё хорошо получалось треснуть таким обувным вместилищем, когда оно было в заполненном состоянии, кого-нибудь по голове – с немедленным, натурально, получением сдачи той же монетой. А в мирное время верёвка просто перекидывалась через плечо, разгилядя же тащили за неё сумку по грязной дороге.

Мишка уже собрался было распушить верёвку и заглянуть в сумку, странно чистую по нынешним обстоятельствам, но тут его позвали в микроавтобус, чтобы ехать в контору на предмет закрытия наряда. Он сунул сумку подмышку, так что никто, вроде, и не заметил приобретения – не хотелось почему-то, чтобы увидели его с найденным барахлом, – и побежал занимать заднее сиденье. Там он оказался один на широком диване и, как только машина тронулась (внимание, читатель! мы навсегда покидаем место сноса), принялся изучать внутренности находки.

Прежде всего обнаружили, как и следовало ожидать, детские галоши из твёрдой тускло-чёрной резины в разводах давно смытой грязи, с красной байковой, в ключья рваной подкладкой. Мишка вытащил галоши и поставил их рядом с собой, после чего сунул руку в сумку снова и достал оттуда менее заурядную для такого места хранения штуку, а именно старую куклу.

Устроена эта игрушка была следующим образом: голову и верхнюю часть груди (скульптуры такого рода двусмысленно именуются «бюстами») в баснословные годы изготовили из вскоре забытого материала «целлулоид», нарисовали неустойчивой краской голубые глупые глаза и оранжевый рот сердечком, да и пришили четырьмя неровными стежками к тряпичному телу. Тело обладало всеми положен-

ными человеческому телу частями, то есть двумя руками, двумя ногами и туловищем, однако в самом общем виде, как обычно изображают на карикатурах: кисти вместо пальцев заканчивались пятью короткими отростками, стопы пальцев вообще не имели, а всё вместе чем-то напоминало полкило сосисок одной гирляндой, скрутившейся в причудливую фигуру. Никаких вторичных, а тем более первичных половых признаков телу придано не было, хотя, согласитесь, изобразить именно в такой технике мальчика не составило бы никакого труда. Оставалось предположить, что изобразили девочку. Мельком и со смущением об этом подумав, Мишка продолжил обследование мешка, убедился, что он пуст, и начал проделывать всё предшествовавшее, но наоборот. То есть воткнув в мешок куклу вперёд головой, начал запихивать туда и галоши, чтобы потом всё это выкинуть в большой железный мусорный ящик, всегда стоящий у дверей конторы... Но в этот миг что-то заставило его сунуть руку сначала в недра одной, а потом и другой галоши – и не зря: со второго раза пальцы нащупали туго вбитую в носок круглую картонную коробочку. Еле ухватив, Мишка вынул её.

Коробочка имела форму гриба с очень толстой ножкой и выпуклой шляпкой с едва выступающими краями. На шляпке была натуралистически изображена роза и сделана надпись как бы от руки, с завитушками: «Утро». А совсем мелкими и печатными буквами разяснялось: «зубной порошок». Шляпка оказалась крышкой коробочки, снять её Мишке удалось опять же с некоторыми усилиями. Внутри, как он и думал, никакого зубного порошка не нашлось – он, правда, слабо представлял, как этот порошок выглядит, потому что всегда, с детства, чистил зубы какой-нибудь недорогой пастой. Вместо же порошка коробочка была заполнена старой жёлтой ватой с торчащими из нее мелкими щепочками, а посреди ваты лежало женское кольцо. Мишка немедленно примерил его на палец – оно с трудом налезло на ноготь мизинца – и стал украшение рассматривать.

Смотреть-то особенно, следует признать, было не на что. Обычное жёлтое кольцо типа красноватой латуни, с белым, алюминиевым, наверное, колечком оправы, в котором отливал, даже как-то горел яростным синим огнём прозрачный, довольно большой, почти с Мишкин ноготь, камень. Или, скорее, кристалл, вроде бы и прозрачный, но увидеть сквозь него ничего было нельзя, потому что он весь переливался мелкими плоскостями, именно как кристалл с картинки из учебника не то химии, не то физики, Мишка школьную науку уже помнил слабо. В общем и короче говоря – женский подарок. Ясно представив, как вечером, за штабелем детской мебели, при свете, падающем через окно от фонаря возле заброшенной песочницы, он вручит колечко любимому диспетчеру, Мишка здорово обрадовался. Он уже расстегнул нагрудный карман комбинезона с эмблемой ЗАО (в виде кремлёвской башни, торчащей из кузова грузовика), чтобы спрятать туда симпатичную мелочь, но что-то толкнуло его под руку, и он, не понимая, зачем, провёл грань кристалла по стеклу в боковом автомобильном окне.

На стекле осталась глубокая царапина.

Вот, собственно, и всё. Вряд ли следует продолжать это сочинение, ведь вы уже догадались, что конец у него будет не просто счастливым, но невероятно, сказочно счастливым, какой и положен сочинениям подобного рода. Поэтому изложим всё далее случившееся конспективно, исключительно для очистки совести автора и для удовлетворения самых недоверчивых читателей.

Нина, само собой, проявила куда большую сообразительность, чем Мишка, и царапать окно, выходящее на песочницу, не стала – ей хватило синего пламени, которым горел кристалл. Откуда женщины, даже диспетчеры механизированной колонны, всё это знают?! Но ведь знают откуда-то, и сразу всё понимают безошибочно, и долго крутят перед своими безумными глазами свой драгоценный палец, и синий огонь отражается в этих глазах...

Сообразила она и оторвать голову от тряпичного кукольного тела. И еле успела подставить руки под кольца с зелёными и синими кристаллами, под цепи и серьги, подвески и броши...

Не будем Нину судить – владельцы клада, конечно, давно переселились не только из снесённого дома, но и вообще далеко-далеко; нести же всё в милицию и оформлять потом положенные двадцать пять процентов – ну, это уж совсем что-то несуразное. Как будто в милиции не люди сидят...

Они купили неплохую, с расчётом на будущих детей, квартиру как раз в том доме, который выстроили на месте снесённого. Солидный дом – монолит, охраняемая территория...

Мишкина регистрация как-то незаметно устроилась, это вопрос решаемый. И с постоянной регистрацией Мишка немедленно завёл свой бизнес – купил старенький экскаватор и два самосвала камазовских, обслуживает дачников, которые попроще, дело тихое, но верное...

В семейной гостиной, на заметном месте в буфете из неплохого гарнитура, отечественного, но по лицензии, у них стоят детские галоши, картонная коробочка из-под зубного порошка и целлулоидный бюст куклы...

Руслан, побывавший в гостях, как положено, с бутылкой игристого розового и конфетами в коробке, удивился – надо же, такую чепуху в сервант поставили, как будто на хрустальные бокалы не хватает...

А хозяйка той самой галереи, которая дважды упоминалась выше, купила себе студию в этом же доме и тоже зашла как-то, просто по-соседски, и удивилась изощрённому вкусу милых, но, в общем, не очень продвинутых людей...

От неё автор и узнал про странные безделушки, прочее же вымыслил.

Только не следует поэтому думать, что всего описанного не было на самом деле.

КОТ

совершенно невероятный, но жизненно правдивый рассказ

Отвратительным осенним вечером, когда с московского неба падала такая же серая грязь, какая расползлась под ногами, возле станции метро «Белорусская-кольцевая» остановилась, нарушив все мыслимые правила дорожного движения, прямо на пешеходной зебре, машина-джип марки «Гранд чероки». Толстые дверцы машины тяжело раскрылись сразу со всех сторон, и из неё вышли три товарища...

Вот вам, пожалуйста, начало рассказа, полюбуйте. Руки бы пообрывать такому рассказчику! Во-первых, кто же начинает сочинение со слова «отвратительный»? Зачем? Чтобы ухудшить и без того далеко не радостное настроение читателя, свергнуть его ещё глубже в депрессию, от которой мы все и так постоянно страдаем? Посмотрит человек на такое начало, да и бросит чтение, и прав будет. Ничего хорошего нельзя ждать от рассказа, начинающегося таким образом. Почему грязь, где это видано, чтобы грязь падала прямо с неба, даже и в нашем трудном климате? Зачем здесь джип и к чему он обозначен ещё дополнительно «машиной»? Что, разве бывают джипы, не являющиеся в то же время автомобилями? Зачем эти утомительные подробности – «Белорусская» и именно кольцевая, «Гранд чероки»? Мало разве указывали специалисты-критики на излишнюю описательность и неоправданное внимание к деталям, маркам, названиям? И при чём здесь три товарища? Если это аллюзия, если нам Эриха-Марию Ремарка суют под нос, так зря, сгинул этот Эрих-Мария в волнах литературного прошлого, никто его сейчас не вспоминает, кроме полоумных шестидесятников. А если «товарищи» употреблены в древнесоветском смысле, вроде как «группа товарищей», то вообще зря – ни к селу, ни к городу. Неплохо, правда, получилось определение дверей дорого-

го автомобиля словом «толстые», удачное определение, ничего не скажешь. Но и в нём есть нечто манерное, нечто от пресловутого поиска единственно верного эпитета, который был рекомендован господам сочинителям ещё такими столпами советской литературы, как Олеша Юрий Карлович и Катаев Валентин Петрович. У кого-то из них, кажется, было написано про слово, которое должно входить во фразу туго и со щелчком, как обойма в пистолетную рукоятку...

Ладно, хватит. Ничего переписывать не будем. Сказано вам – осень, вечер, дождь с первым снегом. Трое мужчин идут от машины к ларьку возле метро – вероятно, чтобы купить там сигарет или ещё какую-то срочную мелочь. Все трое крепкого телосложения, в кожаных хороших куртках и с маленькими сумочками (ранее грубо называвшимися пидарасками, а теперь, по-культурному, барсетками) в руках. Хозяина машины зовут Игорем, он средний предприниматель без образования юридического лица, а друзей его простые имена Аслан и Борис, они временно неработающие гости столицы и вскоре после окончания нашего рассказа покинут её навсегда, чтобы более уже нигде нам, слава богу, не встречаться...

Итак, они идут.

А вокруг своим чередом идёт обычная жизнь, всегда идущая возле станций метро.

Старушки, из которых одна, самая бойкая и накрашенная, как мятая кукла, опирается на костыль, энергично продают несвежие цветы в мятом целлофане;

работники милиции в серых ватных куртках, делающих любого представителя закона толстозадым, как «барыня-на-чайник», проверяют документы у приезжего юноши с клетчатой, величиной со шкаф, сумкой;

нечистые и даже издали плохо пахнущие мужчины и женщины с разбитыми дочерна лицами сидят на сыром каменном бордюре, зачем-то окаймляющем забросанное окурками полукруглое пространство – задуманное, вероятно, в качестве клумбы – между дверями станции;

юноши в широких штанах встречаются с девушками в коротких куртках, из-под которых выглядывает голый не по погоде живот;

среди бомжей-людей озабоченно бегают собаки-бомжи, клокастые и неприветливые от голода;

от киоска, торгующего шаурмой, доносится тошнотворно-пищевой горячий запах;

и стекляшка с аудио- и видеопродукцией распространяет надо всем нечеловечески громкую и чрезвычайно противную музыку про девчонку, которая не любит исполнителя...

Такова жизнь, господа, такова жизнь. И никто из вас не решится сказать, что краски здесь сгущены. И похуже бывает около метро. Бывает, что и лежит кто-нибудь из недавних здешних обитателей прямо в грязи, неприятно закинув голову, а из-под затылка этой головы ползёт, расплываясь в снежной слякоти, тёмное пятно, и белый фургончик с красным крестом стоит прямо посередине тротуара с уже распахнутыми задними дверями. Такова жизнь, уважаемые господа, точнее, в данном случае, такова смерть...

Итак, сцена возле метро.

Среди бродяг и нищих на вышеописанном бордюре сидела в тот вечер одна интересная пара – впрочем, никто до поры до времени на неё внимания не обращал, хотя пара была даже и для здешних мест странная.

Человечество в этой паре было представлено молодой дамой из тех, какие обыкновенно бывают в подобных местах. Ноги их, обутые, как правило, в рваные туфли на высоких, стёртых до железа каблуках, поражают небрежливому наблюдателя худобой, из-за которой жуткие, нередко мокрые по физиологическим причинам колготки закручиваются вокруг пропитых этих ног винтом...

Тут необходимо сделать одно отступление антропологического характера. Замечали ль вы, что у сильно пьющих женщин, хоть принадлежащих к социальным отбросам, хоть к богеме, ноги обязательно истончаются, и колготки на них непременно закручиваются винтом? Причём колготки именно мокрые, поскольку сильно пьющие женщины ещё чаще, чем такие же мужчины, оказываются неспособны контролировать естественные отправления своего организма...

Ну, дальше. Короткая и сверхъестественно грязная джинсовая юбка сильно открывает эти тонкие и, скажем прямо, кривые ноги, а поверх юбки и толстого длинного свитера кошмарной зелёной окраски надета огромная мужская куртка из вытертой местами добела свиной кожи. Голова непокрыта, отчего видны слипшиеся, светлые с тёмным у корней редкие волосы. Лицо, если внимательно присмотреться, даже вполне миловидное, с коротким ровным носом, пухлыми губами и большими глазами, вроде бы карими, но кто ж будет присматриваться к такому лицу... Если же не присматриваться, то виден только фингал, занимающий всю щеку и часть лба над глазом, да короста засохшей крови на другой щеке, свезённой, вероятно, об асфальт при очередном падении...

Итак, готов портрет героини.

На коленях же у неё спал кот.

Кот этот, опять же если присмотреться, принадлежал к редкой и красивой породе, которую некоторые кошачьи энциклопедии определяют как бирманскую, а мы, для простоты и понятности, назовём сиамской, только пушистой. То есть лицо и концы рук и ног у него были, как у всякого сиамского, тёмно-коричневые, почти чёрные, а туловище понемногу от конечностей светлело и в основном переходило в цвет кремовый – впрочем, в данном конкретном случае, чрезвычайно грязный. Обычно коты и кошки такой расцветки глаза имеют голубые, шерсть короткую и гладкую, хвост тонкий и на самом конце загнутый кочергой. Однако рассматриваемый нами кот был очень пушист, а потому, в бездомных и скудных условиях жизни, дран и растрёпан, включая и хвост, глаз же его не было видно вовсе, поскольку он, свернувшись в форме духового музыкального инструмента валторны, крепко спал, так что вместо глаз у него были чёрточки.

Тут приходится опять прерваться для постороннего грядущему сюжету, но мучающую душу рассуждения. Откуда, спрашивается, у девицы уличного нетрезвого поведения и бесприютной жизни мог взяться такой породистый, пусть и неухоженный, но явно аристократический кот? А кто ж его знает... С другой стороны – откуда и сама такая девица взялась, откуда вообще берутся такие девицы возле станций метро, вокзалов и в других местах скопления горожан? Кем была она в раннем своём возрасте, ещё ребенком, и как сделалась к юности пьющей, морально и физически нечистоплотной? Многие склонны винить в подобных грустных приметах современной нашей жизни наступившие уже порядочно лет тому назад свободу и рыночные отношения. И на первый раздражённый взгляд так оно и есть, во всяком случае, прежде, до свободы, бомжей в таком количестве у нас не водилось. Но это только на первый взгляд, раздражённый, как было сказано, а потому неверный. Свобода-то действительно виновата, но только в том, что такие люди стали заметны, потому что не гоняют их больше ограниченные правами человека менты, не собирают неуклонно, как раньше собирали, и не отправляют за сто первый километр, как было установлено советской властью. Часть же людей, имеющих природную тягу к бездомному бродяжничеству, неопрятному пьянству и нищенству, всегда и везде примерно одинакова, и ничего с ними не сделаешь. Иначе в социально обеспеченном каком-нибудь Париже, к примеру, где уже давно миновал дикий и жестокий капитализм, а наступил гуманный и прибранный, где любому только за то, что он существует, платят пособие большее, чем зарплата моего знакомого московского профессора, клошаров не было бы вовсе – а они ж, пожалуйста, существуют. И один, кстати, всегда спит на краю площади Бобур,

прямо перед Центром Помпиду, похожим на вредный химический завод, но являющийся храмом современной культуры. Он и сейчас там спит... Или, допустим, в Лондоне, где тоже о бедных людях заботится богатое общество, не лежал бы на Пикадилли-серкус, рядом со столовкой «Бургер-квин», весёлый нищий пьяница в спальном мешке, из которого, рядом с его головой, выглядывает умная голова настоящей таксы. Собака серьёзно глядит на бумажный стаканчик для денег, установленный как раз перед её носом ради сентиментального воздействия на сочувствующих животным британских прохожих... Словом, ничего с такими людьми не сделаешь. Хотят они жить на обочине, в грязи и безобразии, просто даже не могут иначе жить, и никак их на нашу дорогу, по которой несёмся мы за удобствами и приличиями, не втащишь...

Итак, спит кот.

А предприниматель Игорь останавливается, словно, позволим себе выразиться в старом романтическом стиле, поражённый громом.

Дело в том, что этот молодой ещё мужчина был подвержен душевной слабости, более свойственной обычно пожилым женщинам, а именно: он очень любил кошек. Людей он любил гораздо меньше и даже, сказать по чести, совсем не любил. А за что их, козлов, любить, если они конкретно беспредельничают? Постоянно наезжают в смысле отстёгивания с дохода, причём вообще оборзели и берут, независимо ни от чего, когда штуку, а когда и две. Хотя всего-то бизнеса у Игорька – это один ряд таких же ларьков возле станции Красково, и крышуют его сами менты. Однако этим отмороженным на всё ложить, и они не то что ментов не уважают, но ещё и прикальваются: ты ментам, чмо, платишь штуку? так не в падлу будет нам две отдать, или ты ментов уважаешь больше, чем реальных пацанов?.. В общем, козлы и есть козлы, и даже авторитетные по жизни Аслан и Борис не помогают, хотя обещали, но пока только ездят на Игоревом джипе и пьют его пиво... Так что к людям Игорь ровно дышит, а вот кошек обожает буквально. Всегда замечает их, проскальзывающих по нижнему краю зрения, никто не замечает, а он обязательно, ещё и оглядывается... И дома у него, в посёлке Малаховка, где на улице Фрунзе он построил под голландской черепицей коттедж и обшил его сайдингом, жила кошка, но пропала. Хорошая была кошка по имени тоже Барсетка, потому что сначала думали, что она кот и назвали соответственно Барсиком, а потом определили, наконец, что кошка, но уже поздно было. Маманя Игоря, Марина Ивановна, которая при нём, холостом, жила для хозяйства и от одиночества, её называла просто кошкой, потому что имя Барсетка ей не нравилось. Но кошка ни на что не откликалась, была животным серьёзным и самостоятельным, глядела синими глазами хмуро, от погладившей руки отстранялась, изгибаясь с брезгливостью, а гуляла по соседним участкам, как хотела, и два раза в год рожала отличных котят. Котят Игорь топить не хотел, да никак по своей любви к ним и не мог, а, надевши от неудобства рваную огородную телогрейку, шёл продавать к станции – кто купит, тот не выбросит, – и удачно продавал, потому что синеглазые и коричнево-кремовые котята всегда бывали необыкновенной красоты, от какого бы уличного уroda Барсетка их ни родила... Но однажды ушла кошка в загул – и не вернулась. Ночью Игорь не спал, обкурился до хрипа, а что толку? Ушла любимая, и не вернёшь её... Эх, да что вернёшь-не вернёшь, жива была бы, так и того не знаешь... Беда.

Вы уже догадались, конечно, что пропавшая кошка относилась к точно такой же породе, как тот пока безымянный кот, что спал на руках у пьяной шалавки.

Ну, в этом-то всё и дело.

Или, может, не в этом... Может, просто было судьбой так предназначено, то есть Господь решил, или что...

Как бы то ни было – но Игорь резко остановился, не дойдя до табачного ларька, повернул к каменному полукругу с рассевающимися на нём, как воробьи на проводе,

обитателями городского дна, приблизившись, осторожно тронул уголком своей сумки хозяйку животного за плечо и сказал следующие два слова:

– Кошку продай.

В ответ же услышал вот что:

– У этой кошки болт больше твоего, понял-нет? Отвали, моя черешня!

При этих несоразмерно грубых словах подошли и друзья Игоря, и один из них, кажется, Борис, немедленно включился в беседу.

– Закатай ты этой сосалке в лобешник, – сказал он по-деловому, – а кота за-бери. Хороший кот, тебе пригодится...

Борис знал о пристрастии Игоря и, желая сделать дружбану приятное, уже протянул руку, чтобы осуществить свою идею, но тут произошли сразу два события, переменявшие плавное течение рассказа.

Во-первых, хилая бомжишка заорала, что её убивают. Вопль её был таким густым, басовитым и невыносимо громким, что заглушил песню про неразделённую любовь, и милиционеры, оторвавшись от проверки паспортного режима, недовольно обернулись.

Во-вторых, кот резко проснулся, встал на коленях хозяйки в виде греческой буквы «омега» и желтоватыми, неожиданно большими клыками со всей дури цапнул протянутую руку, так что из неё сразу сильно потекла кровь.

Итак, скандал.

Укушенный Борис, естественно, гоняется за женщиной и животным с целью убить на хер.

Женщина, прижимая к зелёному свитеру свирепого кота, бежит перед метро кругами, прячась за случайными прохожими, шарахающимися от неё и тем самым усугубляющими неразбериху.

Аслан курит, уже купив в ларьке сигареты, и, будучи северокавказским человеком, стесняется и делает вид, что он тут, ну, типа, стоит просто.

Игорь молча протягивает в сторону убегающей сиреневые пятьсот рублей, надеясь таким образом рано или поздно привлечь её внимание и прекратить всю эту хренотень.

Менты, понятное дело, исчезли, им ещё не хватает с каждым котом разбираться.

Ужас, короче.

И можно было бы долго описывать развитие этого ужаса.

Как оказавшийся неожиданно пугливым и мнительным Борис пренебрёг планами мести и, высоко держа перевязанную носовым платком руку, быстро пошёл искать ближайший травматологический круглосуточный пункт, где ему могли бы сделать укол от заражения крови, столбняка и других последствий неизвестного кошачьего укуса. Ушёл Борис, да больше и не вернулся в наше повествование, нечего ему здесь делать.

Как громкоголосая девица успокоилась и спокойно отвергла и пятьсот предлагавшихся ей за кота рублей, и даже тысячу.

Как Игорь, потрясённый до глубины своей непривычной к настоящей любви души, стал за каких-нибудь десять-пятнадцать минут сильно уважать эту вроде бы ни в каком смысле не достойную уважения обычную бродягу и пьяницу, и даже не просто уважать, а восхищаться, чего с ним раньше никогда не происходило по отношению к людям.

Как предложил он ей, грязной и дурной с вечного похмелья, проехать с ним в посёлок Малаховка и там поселиться вместе с котом под присмотром мамани Марины Ивановны в обшитом сайдингом коттедже, места хватит, фактически осмотришься, а потом конкретно решим вообще.

Как Аслан сказал, что с этой билять в одной машине ехать не будет, слушай, она весь салон вонять будет, зачем её берешь, совсем как дурак. А Игорь его по-

слал туда, куда мужчина ни за что не пойдет, а обидится на всю жизнь. Аслан и обиделся, и ушёл, плюнув от обиды Игорю прямо на длинноносый модный ботинок, но Игорь этого даже не заметил. Когда же Аслан вернулся через пять минут, решил простить дурака Игоря и продолжать пить его пиво и ездить на его джипе, то уже никакого Игоря возле метро не было. И джипа не было, и девицы не было с котом, а остались только другие бомжи, по-прежнему сидевшие на каменном сыром бордюре, но теперь уже оживлённо беседовавшие между собой относительно того, когда эта глупая с котом вернутся на прежнее место – утром или ещё в середине ночи. Да еще менты были, тоже вернувшиеся на свое место и теперь проверявшие другого приезжего юношу с другой сумкой... Аслан постоял-постоял, ещё раз плюнул и исчез из рассказа следом за Борисом.

Итак, всё кончилось у метро.

Больше мы сюда возвращаться не будем, а поедем в поселок Малаховка, куда – с одной пересадкой в метро и ещё двадцать минут на электричке от Выхина – прибудем вскоре после самого Игоря с его внезапными возлюбленными. Как раз успеем к тому времени, как Марина Ивановна, женщина, в сущности, добрая, перестанет кричать и несправедливо обзывать девушку проституткой, но задумается, что же с новыми жильцами дальше делать. Сами-то жильцы после всех волнений уже крепко уснули на выделенном им старом матрасике недалеко от печки системы АГВ. Девушка спала на боку, подтянув, по обыкновению несчастливых или желудочно больных людей, колени к груди, а кот устроился сзади неё, как раз под коленями – лежал на спине, выставив все свои руки-ноги вверх, да так и замерев во сне. И Марина Ивановна их накрыла для дополнительного тепла своим старым пальто, всё равно его выбрасывать пора...

Конечно, тут можно было бы и оставить наших героев в покое, а читателей в неведении о дальнейших обстоятельствах существования в коттедже под голландской черепицей, что и по сей день стоит на улице Фрунзе в знаменитом подмосковном посёлке Малаховка... Однако не так мы воспитаны, чтобы бросать наши рассказы на самом интересном месте, не доведя их до логичного конца и соответствующей морали. Если же кому-то конец, который мы сейчас предложим, покажется как раз нелогичным и даже невероятным, как, собственно, и весь данный рассказ, то это, скажем так, не наши проблемы. Если у каких-нибудь читателей всё хорошее и благородное вызывает недоверие, то им с собой что-то делать надо. Потому что в жизни, даже в текущей, жестокой и неблагоустроенной жизни нашей быстро становящейся, но еще не ставшей на ноги страны, есть много хорошего и благородного. Просто об этом мало говорят и пишут, и слава Богу, потому что тем самым оставляют нам возможность написать такой вот, хоть и не святочный, но вроде того, рассказ, опубликовать его и прославиться, получив заодно и соответствующий гонорар. А? Ну, вот.

В общем, девушку, оказавшуюся наутро Галиной, немедленно принялись мыть и лечить от всего, что она нажила в бесповоротно миновавший мрачный период, и довольно скоро – организм-то молодой! – вылечили и от алкоголизма в популярной клинике, и от хламидиоза с циститом в соответствующем диспансере, и домашними средствами от гастрита с колитом, обычно мучающих людей неправильного образа жизни... После этого Галина принялась читать в неограниченном количестве книги, потому что ей больше делать нечего было, да и полюбила она это занятие, так что очень скоро, ну, буквально через год, стала культурной, милой и образованной девушкой, не говоря уж о том, что симпатичной внешне.

Дальше всё пошло быстро.

Игорь на ней, сами понимаете, женился.

Теперь эту молодую и счастливую семью можно иногда видеть делающей покупки в торговом центре – ну, в том, который на выезде из города по правой стороне, если в область. Молодой мужчина (он под влиянием начитанной жены перестал

носить, как бандит или политехнолог, всё черное) везёт тележку с продуктами, рядом идёт очаровательная молодая женщина, одетая скромно, но с большим вкусом. Они подходят к своему новому автомобилю, отнюдь не джипу, а обычной корейской практичной машине, и понемногу, помогая друг другу, сгружают продукты с тележки в багажник.

А сквозь выпуклое заднее стекло на них внимательно смотрит синими глазами лежащий на полочке позади сидений кот редкой породы – сиамский, но пушистый. Зовут его теперь за хороший аппетит Жорой, это Марина Ивановна придумала.

Знаете что? Если у вас нет кота или кошки, обязательно заведите. Заведите, заведите! Только, конечно, предварительно проверьтесь, нет ли у вас аллергии на кошачью шерсть, чтобы потом не мучиться. Но если аллергии нет – заводите, не раздумывайте. И тогда убедитесь, что от котиков бывает настоящее счастье.

Короче, до свидания.

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

И.К.

Как будто не бессмертна тишина,
Вы все о Малларме да Модильяни...
Но серый снег! Железная луна! –
как олимпийский рубль в пустом кармане...
Я под луною этой рождена.
Я от Парижа – на другой планете,
где с трех сторон – далекая страна,
и колокол раскачивает ветер.
Пойдешь налево – пусто с трех сторон,
пойдешь направо – воздух смертью дышит.
Пойдешь ли прямо – черный крик ворон
(про этот крик поэты вечно пишут...)
Какой Апполинер? Какой Дега?
О чем Вы это? –
в черно-белом цвете
до горизонта – ровные века,
и колокол раскачивает ветер...

* * *

Когда наступает унынье
И дома какой-то скандал,
И люди – не люди, а свиньи,
И жизнь моя – полный провал,

И прошлое кажется мерзким,
А в будущем – этот же вид, –
Всегда в этот миг неуместный
Мне Коля Афёров звонит.

Звонит он без всякой причины
И лепит какой-нибудь бред:
«Люблю тебя – не как мужчина,
а как человек и поэт!
Люблю тебя как человека
И книжку у сердца храню –
Поэтам двадцатого века
Ты всем подложила свинью!..»

И думаю я – вероятно,
Напился опять, паразит.
Но все-таки слушать приятно,
И что-то у сердца дрожит...

Но все-таки слушать приятно,
И мир розовеет вокруг.
Как важно, чтоб где-то и как-то
Имелся какой-нибудь друг...

2003

* * *

А когда тебя так любят
эти маленькие перы –
эти тонкие ресницы
и голубизна в белках,
а когда тебе так верят
твои маленькие дети,
надо жить на этом свете
и не думать о веках...
Не укрыться в черной раме –
чувство долга... что ж поделывать...
Надо быть живою мамой –
остальное все равно.
Как разбойник с кандалами,
пусть душа смирится с телом.
Ей на этом свете долго
проболтаться суждено...

СТИХОТВОРЕНИЕ О ВОЛКЕ

Волк не знает, что он волк, но он – волк.
Даже если он из рук ваших ест.
А от волка среди людей – какой толк? –
Он ночами все равно смотрит в лес.

Даже если волка очень любить,
Даже если пригласить и принять,
Ему волчий лес вовек не забыть,
Сколько б вам ему на то ни пенять.

И детеныш у него будет – волк.
И по-волчьи будет выть на луну.
Может, полуволк, но все-таки – волк,
Даже если не видал ту страну,

Ту страну, где волчий снег, волчий свет,
Волчья ягода и волчья вода, –
Даже если той страны больше нет
И не будет никогда, никогда...

Волк не хочет волком быть – но он волк.
Сколько волка ни корми и ни грей,
Разве волка обвинишь, что он волк,
Даже если он по крови еврей?...

Тель-Авив, 2005

СЛУЧАЙ КРЫМСКОГО МОСТА

Рассказ о реке

Я – дух; прозрачный, размером с кроху.

Причем – городской, не лесной. Это – потому так, что не могу я в пространствах один шататься. Хотя и прозрачен, я должен пасть хоть в чьем-нибудь поле зренья. К тому ж – в человеческом. Глаза птиц, зверья – темны и скудны: в них я, как сон наяву, скоро хирею и чахну.

Однако я совсем не люблю людей. Хоть я без них – никуда и ничто. Они для меня – нужда, тоска творящая; безвыходная, как труд урожая – питающая нагрузка.

Но я не паразит; я – спутник. Люди, они мне: как прилипале – большая рыба. Как истребителю – стренога авианосца; как рысаку – стойло. Как водолазу – неудобные баллоны. Как аэростату для жизни балласт. Как планеру над вулканом – восходящие токи дыхания жерла!

Я же им – пшик и ничто ломоть; поскольку прозрачен и невесом, как вакуум.

Я дух зренья – обреченный, прозрачный. Я светоносно прозрачен и не взимаю от зренья ничто, лишь так – немного греюсь. Тепло ж для меня – естественно – воздух; как, впрочем, и для любой, даже самой скудной жизнью твари.

И вот вышло так, что только в зренья тепле мне жизнь возможна. Если вынуть надолго меня соринкой из взгляда, то я быстро остыну, как дыхание на морозе – кану соленой крупой, кляксой блика на мокром асфальте, – и никто в меня больше случайно вдруг не взглянется: чтоб оживить, запустить снова в воздух; а заслонят, затопчут, затрут: кому? с каких пор? стало вдруг нужно – пристальным следопытом клониться к земле, – то ища, что никто не видит. – Исчезну.

Потому я обычно порхаю маркой летучей «Л. Голландца», курсирую наобум, слоняясь без порта приписки во взглядах людей; шныряю проворной частицей их зренья в предметной толпе, – зайчиком уличного фонаря от дребезжащей гулом трамвая витрины – бликую, мотаюсь, как морось, как пыль пустоты, – тесним их движениями, лесом их жестов. То там – прилеплюсь, то здесь – повишу-повисну, или – незримо блесну остановкой, как парус – стремлением в море: лишь бы зренья луч блуждал на мне и вокруг – живой и ясный.

Вечерами я допоздна слоняюсь в людных местах: в электричках, вокзалах, кафе, ресторанах, театрах, концертах... А ежели где загощусь в жилище, то греюсь тускло в хозяйской бессоннице ночью. И если сморит хозяина сон, не теряюсь: хватаю перо сновидения и впархиваю с ним отрывком незренья под веки.

Иногда со мной происходят случаи. Случаи происходят со всеми: и с духами в том числе. Точнее – я в них совсем не от любопытства случаясь втянут. Любопытство, сметаемо ужасом, исчезает, как только я чувю неотвратимость...

Иногда мне даже кажется, что я чуть не сам – Случай. Или – какая-то безвольно зрящая часть его, провокатор. Происходящее мне не подвластно, но время от времени я чувствую: я закваска. Случая кристалл как-то находит меня, как вещество раствора – осколок, крупинку затравки, – и начинает расти вокруг своим стреми-

тельным происхождением. И тогда мне становится не по себе, словно я – способный к страху мизер-взрыватель. Или – еще точнее – птичка-алмазная-невидимка, непоправимо встрявшая в турбину происходящего: мне хоть бы хны, а пике уже где-то внизу, ревя и вонзаясь, рвет плоть атмосферы.

И, конечно, почуяв такое, мне хочется тут же деться. Смыться и кануть. Но не могу. Масса кристалла стремглав уловляет меня в свою сердцевину, и, обездвижен, я дико вижу бродящий вокруг, сквозь меня собирающийся гуще и гуще, пылающий фокус. Лучи истребления – пучки вероятий – навыворот нижут меня, кружа, разрывая, как магнитное поле сбрендивший полюс. Вероятия – кровь и плоть Случая – неумолимо сгущаются до происхождения ангела. Недвижим, немо охвачен, облаплен лучистыми шкурами Пана, я так же вижу ангела, как паралитик видит у изголовья одра – своего двойника-убийцу.

Он, ангел, – голограмма, прошедшая через меня, как сквозь хрусталик, семечку зренья. Он – эфемер, который был соткан преломленьем моей бестелесной плоти. Я вижу поодаль бескорбный лик незримого Случая и, полнясь жутью, как река половодьем, молю его о пощаде...

Но скажите, что может дух зренья предотвратить, кроме собственной жизни?

Вот, к примеру, какая катавасиястряслась со мною недавно.

Какая это неправда – не знаю, одно непреложно: сам видел. Так что – судите лично: ну что тут я мог поделаться?!

Тем летом мне приспичило слоняться ночами по электричкам. Жара в июле стояла нерушимо и невозможно, подминала и обкладывала пластинами парного воздушного чернозема город.

Духота сипела, сопела и отдувалась пыхающими мехами слоистого смога, – теребя и качая их, как жирный любовник – брюшные складки по-над раскинутой девкой-столицей. Дней десять кругом парило без продыху и никак не могло разведриться. Москва охала, млела, потела, слабела и рвалась дать голой по улицам деру.

Вот и я, обложен духотой, как волчара кумачом в пекле облавы, весь июль сгал с утра за границы МКАДа. Дальше жал срочно над лесом за город подалее, держа в отдаленье забитые дымом шоссе, – искал водоем где почище, и там – у воды и в воде – обретал наконец столь желанный продых.

Хотя и пуст я, как космоса глоток, но все-таки воздух – моя стихия, и грязный и душный – он мне отравя: в испарениях я как бы теряю прозрачность, и это мне – вроде астмы.

Особенно тогда мне приглянулся Клязьменский водохранилище: простор не чета речному, да и людно к тому же: поселок, яхт-клуб, станция «Водники» рядом. Поговаривали, есть опасность воспламенения торфяных полей под лесами Шатуры, – вот я и брал к северу от Москвы – от юго-востока подалее.

День навыйлет я пробавлялся над пляжем, временами нежил себя в брызгах детских игрищ на мелководье, и когда в сумерках округа пустела, гнался тропинками на ж.-д. платформу.

На благословенный последок пофланировав над платформой, я впархивал в форточку подходящего поезда. А там – раздолье: ежедневные дачники (вымиравшие зимой до редких субботне-воскресных), купальная молодежь, туристы; вагон умеренно полный, проходы вполне проходимы, и в открытые форточки отдохновением мчится вечерняя свежесть, напирая обильно набранным ходом.

Так – до самых последних электричек, перепархивая в ближайший по расписанию, я блаженно катался обычно между Савелой и Лобней. Далее – либо перебирался в депо, ночуя над головами третьей ремонтной смены, либо – рвал по улице Чехова в центр, – где у меня на бульварах имелся один бессонный знакомец...

И вот в чем, собственно, дело. Однажды на Новодачной, в пустой почти вагон забурилась компашка.

Трое. Один – здоровенный битюг, заглавный. Двое других – лет двадцати. Сели в свободном купе порезаться в сику.

Я околачивался в это время вокруг длинноносой старухи, дремавшей над сложенным на коленях аккордеоном.

Чем-то один меня зацепил, и я решил разобраться.

Махнул от сонливой старухи, помельтешил для начала у каждого в зенках – и повис над карточным полем.

Играли на жестком цветном журнале, подставив от каждого по коленке.

Сначала все было покойно. Я даже увлекся игрой.

Один, молодой, загорелый, вихрастый, слегка похожий на девчонку, – часто проигрывал, и видно было, что дальше играть ему неохота.

Старшой, с черной страшной, как у ротана, башкой, молчал и, жестко быкая, метал раз за разом.

Другой, по кликухе Чума, с грязными патлами в хвост, надсмехаясь, называл третьего, младшего – Дусей: «Дуся, на! Дуся, ша!» – приговаривал он, выкладывая с прихлопом карту.

Старшой помалкивал и, делая по три вжика, тасовал «гребенкой» колоду. Будучи грозен и хмур, однако не дергался и был, в общем, спокоен. Только раз хватанул Дусю за плечо, когда тот, сдув по новой, рванул было на выход...

И еще – какое-то злое, озорное веселье один раз перекосило тритонью, сплюсненную к губам, башку Старшого...

Перед последней раздачей я понял: ага, началось – и больше уж не был в силах помыслить. Случай потоком хлынул в меня – и обволок, леденя...

Карты мехами дунули в горнило моих вероятий и, жажнувшись друг об дружку, убрались спешно в окно. Стопка колоды, на ветру обернувшись гирляндой, маханула на три вагона, у четвертого потеряла строй и попадала врассыпную, крутясь и белая в колесах, как обрывки нечитанных писем...

Вступил Старшой.

Он взвинченно встал и сутуло прошелся по вагону – руки в карманы – туда и сюда, дурачки мелко кивая страшной башкой, как голубь.

Сел обратно. Чума от испуга рванул пересесть на скамейку к старухе. Та крепко спала, накрывшись большим грустным носом.

Почувяв Чуму, старуха дернулась ото сна. Аккордеон, протяжно скользнув половиной с коленки, дал басовую ноту.

– Слышь, пала. Ты знаешь че, пала. Ты проиграл, – просипел Старшой.

– Я проиграл, – подтвердил Дуся.

Старшой закурил. Старуха, вняв вони, обернулась в их сторону.

– Тиха, бабуля, – шепнул ей Чума.

Старшой нагнулся ближе.

– Слышь, пала. Лоха замочишь.

Дуся кивнул.

– Чума, глаза мои, позырит.

Кивнул еще.

– Ну, лады, – Старшой поднял на кулаке граненый перстень, вроде кастета.

Дуся мотнул головой.

Кулак не опускался.

Чума срочно пересел обратно и испуганно чмокнул печатку.

На Савеловском последние стайки пассажиров спешили кто куда: во дворы на Бутырку, в ждущий троллейбус, на Масловку под эстакаду, но большей частью в метро. Платформа срочно освобождалась.

Милиционеры хлопотно поднимали с путей какого-то человека. Люди спешно оглядывались, не останавливаясь, боясь не успеть на последний транспорт.

«Поливалка», проползая по обочине, брызжа в два уса лохматой водой, кувыр-кавшей крупный мусор, была похожа на майского хруща. Торопясь забраться в горящий троллейбус, пассажиры лезли под струи.

Вокзальная площадь вскоре опустела.

Москва остывала, отдуваясь снизу теплым влажным асфальтом, словно легонько махала себе на ноги подолом.

Старшой держал Дусю за локоть и отпустил у входа в метро.

Он снял с запястья толстые водолазные часы. Вглядевшись, отдал большим пальцем неполный виток на циферблате. Затем протянул Дусе.

Дуся взял, выпрямил спину.

Тем же жирным пальцем Старшой провел, до крови чертя ногтем, по застывшему кадыку проигравшего.

Дуся стоял, чуть подавшись вперед.

Патруль милиции спустился мимо в метро, волоча под руки окровавленного мужчину.

И тогда Старшой ударил.

Чума отскочил, озираясь на уличные фонари, на пустые киоски, на освещенное крыльцо вокзала.

Старшой подсел на корточки к Дусе:

– Не залупись, пала.

Нависнув, оторвался и валко тронул в темень тоннеля, ведущего под эстакаду.

– Глубже воздух хавай, – советовал дорогой Чума.

Корчась от загнанной под диафрагму ржавой пружины, Дуся достал из кармана часы и надел их на руку.

Браслет болтался, как обруч на гимназистке.

Свет в вагоне метро стоял словно на глубине – вполовину яркости. Неясный воздух мерцал, танцевал, хлопал жаброй – от бликов бегущей по потолку ряби.

Раскаленный камень удара ворочался, как живой, в солнечном сплетении.

Переход на «Библиотеку» был уже закрыт и пришлось, умирая, карабкаться по – и вниз мукой восставших лестниц.

Дальше?

Дальше – поезд мог не прийти, но пришел – пустой, последний.

Последний настолько, что – без расписанья...

А есть ли в метро вообще что-нибудь вне распорядка?

Дальше?

Дальше была лысая женщина. Лет сорока. В пустом хвостовом вагоне.

Светлое, заношенное платье спускалось по неясному телу, как по неготовой лепке – мешочное покрывало.

Пятна от травы, россыпь впившихся в ткань запятых репея.

Женщина была на сносях, к тому же – на самых крайних.

Охваченный узкими ладонями, живот громоздился отдельно от тела над разведенными коленами: как тюк, как охалка жизни, как медленный взрыв, созревший под сердцем.

Женщина изможденно спала. Мертвое ее лицо не видело снов. Напор предельной скорости кидал вагон, прошивающий близкую плотную темень, словно паденье – коляску по лестничным ступеням. Бешеными змеями метались ряды кабелей в окнах.

Изнутри поезд походил на длинную оранжерею, составленную из объемных теплиц пустых зеркал, нанизанных друг в друга на стеклянную шахту тусклой, мигающей перспективы.

По пустынному поезду то и дело прокатывалась волна мрака: свет отчего-то пропадал по цепочке – в каждом вагоне поочередно. На станциях никто не входил. На платформах медленно вдоль платформы горбатились полотеры, толкая тачки машин, как рабы – кубатуру для пирамиды.

Казалось, от мигания света лицо женщины плясало гримасой.

От упругого поршневого хода воздух в тоннеле, не успевая податься вперед, сжимался по стенкам до плотности урагана, выл и ревел, кидался и бился горным потоком, пропавшим на время в теснине обвала; иногда к стеклу прибивались утопшие в нем подгорные духи.

Я метнулся в сторону глянуть в Чуму.

Чума длинно сплюнул:

– Тяжелая баба...

Разогнувшись, Дуся тяжело прошел по вагону и лег на сидение. Он смотрел на женщину и почему-то чувствовал в ней свою разбухшую душу.

Боль схлынула, он чуть продохнул. Ему странно казалось, что душа его скорбно стоит над ним и, как мать, жалея, гладит теплой ладонью воздух над животом; бережно перебирает сплетения боли внутри и прочь вынимает камень. Дуся закрыл глаза, чтобы увидеть мать, но увидел внутри только желтую ветреную тьму, в которой, однако, было покойно и сонно.

Вдруг поезд сбросил скорость, и мертвая голова, полная грома и гула галопа, оторвалась от тела, колотившегося на бегу за кобыльим хвостом, и покатила свободно по полю, глуша верчение о щелкающую стерню.

Застыла навзничь. Качнулась.

Обернувшийся лицом Старшого, всадник шагом вернулся.

Цепляя на пику кочан, вгляделся.

Дуся не выдержал взгляд, распахнул глаза, сел. Поезд катил, затухая, по светлomu павильону метростроевского моста мимо заброшенной станции «Воробьевы горы».

Хотя и не было здесь остановки, состав встал над Москвой-рекой.

Чума протяжно харкнул в конец вагона:

– Попали...

И тут мне приспичило оглядеться. Я рванул наружу и ввинтил семь витков вдоль метромоста.

Московская округа взмыла омутом и опрокинулась подо мною. Оправленная в дюраль капсула станции мерцала над рекою ночи слабым, дробным накалом, как неисправная неоновая вывеска. Поданным в ствол патроном поезд стоял в ее оболочке. Сзади белокаменной гроздью поднимались настороже башни и церкви Девичьего монастыря. Внизу по маслянистой темени реки шел теплоход, груженный воплями, шлягером, огнями мигающих танцев. Лапута громадного стадиона висела над темной массой парка, вращаясь горящими по периметру сторожевыми кострами.

За рекой и лесистым откосом, взмывая в прожекторах, целилась в Луну ракета высотного Университета.

У берега я заложил петлю, чиркнул по лыжному трамплину на склоне, дал «бочку» и стремглав прочертил обратно.

Верхнее веко Дуси еще не сомкнулось с нижним.

Женщина, не просыпаясь, застонала.

Поезд стоял.

По необжитому после ремонта перрону сосредоточенно бежала дворняга. За ней иноходью гнался рослый кобель. Выпростанный из шкуры красный кусок, как припрятанная «финка», был несом им под брюхом. За кобелем быстро-быстро семенил другой песик, вдвое меньше суки, но с той же целью: с той же алой ужимкой в паху.

Пропали.

Женщина зашлась воем, будто кто-то в ее сне стал опускать гроб в могилу.

Она заполошно орала всем телом, хватала живот руками и, уминая, пыталась прижать к груди, не отдать.

Вой раздирал надвое ее круглый облик.

От испуга Чума подскочил и ударил ее по лицу.

– Заткнись, лярва, ногой ударю.

Как колокол в звоне, женщина раскачивалась среди густого воя на сидении и вдруг стала мелко подрыгивать в пол раскинутыми ногами. Живот кольхнулся спазмом и пошел сдуваться волна за волною.

Тяжкие синие воды хлынули вместе с кровавыми водорослями под ноги Чумы, и он, повисев мгновение в немоте, искаженно зашелся струей блевоты.

Отброшенный залпом тошноты, он больше не мешал Дусе.

Размеренно поднявшись, Дуся опрокинул навзничь пьяную бабу и расправил под нею подол.

Схватки брали тело, как припадки землетрясения горную местность.

В сумерках близкого обморока Дуся нащупал ладонями тельце и, зажмурившись, потянул на себя.

Чуть погодя, недоносок вывалился из нее, как колтун перекасти-поля – из оврага к костру на стоянке, – и вспыхнул, ожегшись о воздух, гиблым смертельным криком.

Что делать с пуповиной, Дуся не знал.

Он поднял человека за ноги и потряс, как утопшего, на весу.

Остывшая было баба вдруг тряско забилась падучей дрожью и кротко затихла, открыв навсегда глаза.

Дуся положил на нее ребенка и вытер о платье руки.

Женщина лежала пронзительно зряче: убиенно раскинув члены, она падала вниз плашмя, увлекая с собой все, что видит – там, в пустоте.

Орущий с похмелья новорожденный ерзал по мертвой матери, держась пуповины, как привязи.

Женское лицо, немислимо вспыхнувшее напоследок острой красотой – сквозь испитую маску жизни, шло на убыль, застывая в выражение безразличия.

Дуся двумя пальцами достал из носка «выкидуху».

Щелчок вставшего лезвия, цок лопнувшей кожи, свист о ребро, притоп рукоятки, достигшей упора.

Он обернулся к Чуме. Чума выворачивался в три погибели, хотя уже было нечем: хрипел и плевал, не во власти оправиться от впечатленья и вони.

Дуся метнулся к нему и хватанул его волосы в жменю. Чума заорал.

Дуся приплел его к роженице, как осла за узду, – за патлы.

– На колени.

Чума тянул его руку двумя на себя, чтоб ослабить рвущее скальп движенье.

– На колени, – Дуся ткнул кулаком, обмотанным волосами, в потек на полу. Прядь лопнула, закурчавилась по запястью.

Чума вдарился лбом, заплелся кровавой слизью.

Дуся поднял его чумазое лицо над женщиной и ребенком.

Девочка уже не могла кричать. Морщась, она лежала ничком у матери на животе – над своей ямой – и неполно держала кулачком рукоятку ножа. Другой кулачок разжимался пульсом...

– Что видишь?

– Убита-а-а...

– Кто ее убил?

– Ты-ы...

– Я ее убил. Ты видел.

Дуся даванул его зубами в материнский подол:

– А теперь пой.

Чума плакал.

– Пой, сука.

Дуся сам встал на колени и негромко запел:

– Ма-ма, ма-ма, ма-ма...

Поезд стоял.

Помощник машиниста шаркнул по громкой связи: «Сейчас поедем». И, не вырубившись, крикнул кому-то: «Сергеич, ну что там, скоро?»

Чума рванулся с колен, ревя: – Пусти! – и стал биться всем телом в двери, пытаясь раздвинуть створки.

Я метнулся на платформу – глянуть.

Чума вбивался в дверь за дверью, крестом распластывая руки, ища створки послабже. Его разъятое ревом лицо, вминаясь и кусая, оставляло на стекле потеки...

По перрону наискосок в щель под колеса рванула по ниточке писка крыса.

Дуся пел.

Затем встал, сдернул с руки часы и осторожно устроил на переносье трупа.

Упершись в проваленную грудь, вынул нож.

Обернул девочку на спинку и покороче полоснул пуповину.

С ребенком в руках он подошел к оползшему на пол Чуме:

– Сымай майку.

Обернутая тряпкой девочка дрожала, как вынутое сердце.

От страшного удара ногой стекло ослепло, будто первый лед от брошенного камня.

От второго удара оно прорвалось, как оберточный пергамент.

Машинист забирался с пути на платформу, подтягивая за собой расстегнутые брюки.

Еще не найдя пуговицей в хлястике дырку, услышал удары.

Двое выбрались из хвостового вагона. Голый прыгнул на пути и бегом дернул к тоннелю. Другой, со свертком, стал подниматься по лестнице к запечатанному выходу с моста в эскалаторную галерею.

– Подонки, – сплюнул машинист и заскочил сообщать в кабину.

Рация никак не соединялась с дежуркой. Помощник сонно шарил по приборной консоли.

И тут в боковом зеркале за хвостовым вагоном треснул голубой костер: голый споткнулся в потемках о шпалу и нырнул руками вперед на контактный провод.

Бережно прижимая руки к груди, Дуся взбегал по заброшенной эскалаторной галерее над темной речной прорвой.

Прозрачная, кое-где повыбитая стеклянная темень огромно пронизалась звездной округой ночной Москвы и от волнения, словно висячий мост, дышала воздушным обмороком падения под торопливыми ногами.

Взяв «ножницами» барьер турникетов, Дуся, оберегая грудь, потыкался коленом в ряд выходных дверей вестибюля и, смеясь, обнаружил одну открытой.

Над рекой, у трамплина, на смотровой площадке шелестела над крышей патрульной машины гирлянда огней. Два мента стояли у балюстрады. Держа скворчащие рации у ртов, они всматривались вниз по склону в рощицу, окружавшую выход из тоннеля.

Если бы щелчок ракетницы длинным фыркком накинул на вершину воздушной горы пылающий зонтик, дрожащий купол света бесполезно бы выхватил короткой видимостью – деревья, дорожки, массив парапета, полукружье речного блеска – и белую черточку: человека, мчащегося по пересеченной местности вниз по склону.

В убежище парка сушняка в темноте, хоть глаз проколи – вынь, засвети – все равно не сыскать, – и тем более что на ощупь.

Дуся набрел наконец на автодром и затем, несколько раз опасно споткнувшись об автомобильчики, – на какие-то детские вертушки. Ничего полезного здесь не находилось. Он на что-то сел в темноте и затаился. Слабые тени крались из глубины парка – сходились и вновь расходились, как в хороводе. Среди водоворотов каруселей он закружился от отчаянья неудачи, с силой расталкивая качели. Качели скрипели и, толкаясь обратно, мешали метаться.

Дуся забрался на дощатый кругляк и попробовал одной рукой отодрать с краю доску. Наконец он просто отбил ногой лошадку, бежавшую по карусельному помосту.

В будке, где помещался моторный привод кручения, Дуся подобрал огнетушитель.

Наполовину занятый ребенком, не мысля его оставить, с одной рукой дважды бегал к реке, перенося поочередно необходимое.

Крашенный облупившимся суриком, с отбитым и соструганным для растопки хвостом, конь занялся проворно – и скоро уже во весь опор пылал стоймя, клоня голову набок, будто был взят пристяжным из упряжки.

Пены из огнетушителя в речку стравилось немного: пучась и оседая, бурый облак сплавился по течению.

Сполоснув металлическую колбу, Дуся держал ее над огненной гривой конька, пока вода не согрелась.

Хорошенько обмыв девочку, он спалил грязную майку Чумы, кинув попоной ее на коняшку, и снял с себя для младенца.

Пупочек тек на ощупь слизью и был бобовой семечкой отдельно упакован в вырванный зубами из майки клочок. Костер Дуся потушил остатком воды и еще почерпнул из реки: не хватило.

Чтобы не остаться на том же месте, Дуся побрел у реки вдоль бетонного парапета. Девочка нашла, обслюнявив, его пустой сосок и больше не плакала, а он и не думал ее теревить: пусть поспит, отдохнет, ночь ведь.

Над чернотой фарватера несколько раз проплывали увеселительные трамваи; в Волгу – домой, на Бирючью косу шла река, тянула, омывала сердце.

– Интересно, – думал Дуся, отчего-то случайно вспоминая все детство сразу: дом, лето, астраханскую их ватагу, всход большой воды на майские, затопленные по верхушки деревьев острова – и то, как они вместе с отцом браконьерили на Дамчике птицу и осетров, как сандолей били в Тихом Ильмене застывших сомов; вспоминал пудовую белужью башку, которую он вез на коленях в коляске отцовского «Днепра», накрыв мотоциклетной каской...

Глядя на реку, Дуся вслух – для девочки – рассудил: «Вона, прыгал у нас на Болде пацан с мостков, а баба одна сверху течения газету, в которой белье поло-скать принесла, упустила; так прыгун так в тютельку в то, что написано, темечком вдарил, что потом ему в городе шину на ум наложили, чтобы сдержать сотрясе-ние...»

Река безмолвно, вечно стремилась к Югу.

Впереди от Москвы было не отвертеться: город выворачивал из-за деревьев и вставал, нарастая, громоздясь, ломая линию горизонта. Мосты, набережные, дома – будто на сваленной праздничным буйством новогодней елке – горели гриляндами, звездами, игрушками башен, высоток и куполов... Вдруг проступили кроны деревьев, и воздух легко опрозрачнел, беспокойно удивив внезапной про-ходимостью парка. Укромными сторожами появились за деревьями монастырские башни. Под бледнеющим небом стало больше пространства, и Дуся ускорил шаг.

Но спустя сто шагов – он бережно считал шаги, экономно цена про себя свое новое будущее, – махом погас, ожидая рассвет, весь город.

Стало темней и спокойней, и Дуся тогда облегченно убавил ход.

Огляделся.

Слева над рекой нависало в лучах высотное здание – огромное, как целый по-селок, составленный на попа. Дуся читал однажды газету, где писали, что здание это вроде как на мерзлоте стоит. Что тут, мол, на том берегу – под землей пльвуны, – такие нестойкие, зыбучие почвы. Из-за этих почв здесь церковь одну в прошлом веке не смогли построить: плыл фундамент и дальше проваливался. Ну, и бросили: церковь потом вниз по течению, ближе к Кремлю пришлось ставить. А вот для этого здания отыскали способ: прогрызли котлован, в который можно было упря-тать две деревни, и поместили в нем морозильные машины. Холодильники ели воздух, давили из него росу, охлаждая кругом весь нижний грунт. Машины эти сейчас охраняет в подвалах специальный отряд: если перекрыть ток, все здание сплывет в речку.

Дуся представил не внутри, а в глазах, как вместо парохода по реке дом такой плывет в ебенья, и засмеялся; но тут же, боясь, что разбудит младенца, закусил до крови губу, чтобы боль помогла помнить оплошность подольше.

Девочка умерла, когда крыши оплавилась солнцем.

Дуся почувствовал, что грудь его холодеет и сердце толкается во что-то – те-перь непрозрачно.

Он развернул человека из майки и осторожно потрогал.

– Ничего, будет день – отогрею, – Дуся поправил тряпочку на пупке, теснее прижал к учащенному пульсу сверток.

Весь день он проходил по городу с ребенком на голой груди. Отстояв вместе с двумя старухами перед дверями булочной до открытия, купил теплый батон и завернул его к девочке в майку: пусть греет.

Батон младенцу пришелся сверх роста, а кусок мякиша Дуся разжевал и вложил осторожно губами в ротик.

Одна старуха заглянула ему на руки – и обомлела.

Дуся спохватился, закачал на руках девчонку, замычал колыбельную.

Старуха отщипнула из авоськи горбушку и зашамкала, жадно посасывая теплую пшеничную слюну и потому теряя от сытости интерес к необъяснимой ноше Дуси.

В этот день пик жары опрокинулся на Москву. Раздевшиеся пешеходы брели, прикрывая газетами солнце над головами.

Ядох от теплового удара, не в силах себя оторвать от идущего в пекле по самым солнечным сторонам неумолимого Дуси.

Идя, он рассказывал девочке жизнь, все, что в ней знал, не выбирая и без остатка. Говорил ей про волжскую Дельту, про Астрахань, про рыбалу на низах, на взморье – на Харбайской россыпи, на Дамчике, на Варяге; про хлыстов-осетров и про икряных мамок; про моряну; и про то, как Стенька кидал в колодцы персидских пленниц и архимандрита – с крепостного откоса; про Каспий, солёный и тёплый, как кровь; про остров Тюлений, про остров Чечень; врал про то, как взял его дядька на каботах в Баку, и про то, какие в Иране растут лимоны, женатые на клубнике... Ещё говорил он мало про то, как увяз в Москве на гастролях, уже третий год, как связался с дмитровскими гоп-стопниками, как не брезговал с голодухи тырить по Сокольникам велосипеды, сбрасывая их жлобам у универсама «Зенит»; а также про то, что Чума – он шальной, но все же хороший...

К вечеру брызнул дождик, но – в падении испаряясь, намочил только крыши: было видно вверху, как шарики воды, исчезая мутной влагою на излете, крутились, дрожали, мельчали, – как капли воды на дне раскаленной кастрюли.

По дороге Дуся зашел в «Детский мир» и купил для ребенка немного цацек: висячие погремки, водяной пистолет и огромный, управляемый радиоволнами катер – ничего, что девка, пусть растёт боевой.

Резинку погремков он надел на шею, а коробку с катером обнял незанятой рукой.

Из-за скупости жизни рассказывать Дусе оставалось немного, и он теперь помалкивал, то ли экономя оставшиеся слова, то ли внимательно их сквозь себя вспоминая.

С Пречистенки снова вышли к реке. У Крымского моста посидели на парапете, глядя на изведенную солнцем округу. Иные машины, увязая в столпотворении на перекрестках, вскипали, отбрасывали капоты, словно в рот им попала горячая, дымящаяся пища, и водители толкали их на тротуар, трудно беря бордюры с нескольких коротких разгонов.

Солнце утомилось, воздух над городом помягчел, впитав предвестие сумерек, и края домов, барельефы, фасады, косые треугольники неба над ними теперь яснее складывались в отдалении улиц в жилое пространство.

Солнце вошло в Замоскворечье, когда они добрались по набережной к подножью огромной черной статуи со стеклянной головой. Высоченный, с двадцатиэтажный дом, каменный человек с хрустальной, сверкающей головой, стоял в реке в ботфортах, держал на весу свободную от шпаги руку.

Он вглядывался под нее вырубленными резцом, пустыми глазами.

Дуся оглянулся.

Безголовый черный великан незряче смотрел куда-то вверх моста, – откуда они пришли с девочкой.

Вокруг памятника врассыпную били фонтаны; к ним был устроен лестничный сход – на бетонный мысок, вдававшийся в хоровод толстых невысоких струй, который дальше по воде жался к самым ногам царя-великана.

Дуся распаковал катер и спустил на воду. Пошевелил рычажками, погонял суденышко туда-сюда, полавировал между струй, на пробу.

Потом бережно открыл ребенка и сложил его навзничь на кокпит.

Отломал от упаковки кусок пенопласта, бросил на воду и проследил за тем, как тот ведет себя на плаву. Пенопласт, затянувшись течением, покружил у ног истукана и поплыл в сторону моста.

Тогда, убедившись в направлении к Каспию, к дому, – опасно поводя рычажками, тихо пробуя мощность мотора и управление, Дуся вначале попробовал покатавать девочку вдоль самого берега – только туда и обратно.

Скоро, наловчившись, он закружил катер по спирали и дугой провел вокруг огромных сапог, лихо заходя обратным путем под анфиладу фонтанов.

Убедившись в надежности судна, Дуся вывел катер на середину реки и посмотрел напоследок вверх.

Дымящееся солнце уходило в кирпичное Замоскворечье, вздымая в небо всплеск заката. Хрустальный калган истукана пылал, переливаясь радужным преломлением.

Пальцы сломали рычажок газа, и катер, привстав на дыбы, заглиссировал в сторону Волги.

Дуся подальше отбросил в воду коробочку управления и отвернулся от катера, чтобы видеть, куда смотрят теперь слепые глаза Царя, – и мельком заметил: кусок пенопласта, отдалившись от берега, повернул в обратную сторону...

Сердце заныло так, что отдалось болью в руку, словно кто-то дергал ее вниз.

Дуся несколько раз сжал и разжал кулак, и ломящее чувство отпустило грудную клетку. Он поднял вдоль статуи голову и увидел, что Царь ни черта не видит в той стороне, в которую плыла девочка: ни Волги, ни Бирючьей косы, ни моря, ни персидских сладких, как клубника, лимонов, ни жарких берегов, где девочка могла бы хорошенько погреться... – Дуся внезапно понял, что спутал с «обраткой» течение, – которое здесь, у огромных ног царя, отражалось и завихрялось вспять, в обманное направление.

И тогда Дуся прыгнул.

С открытыми в мутную темень реки глазами он нырял за коробочкой управления.

Он выскочил на набережную и, хлюпя кроссовками, помчался, отталкиваясь для разгону от парапета, все еще видя катер.

Он бежал, расталкивая пешеходов, не нагоняя.

Прямо в глазах вырос мост.

Катер пошел под ним.

И тогда Дуся закричал.

Сначала он не знал, чточ надо крикнуть, как позвать, какое дать имя, и вышел только вопль, который вместил в свой звук всю силу течения реки – от истока до уст.

Но он вспомнил. Он крикнул:

– Ду-уся, а я?

Катер стремительно шел из виду.

Он рванул по бетонным ступеням через бензозаправку на мост.

На мосту смердела вечерняя пробка. Он взлетел на капоты, запрыгал – но оскользнулся, и четыре водителя стали отжимать его от перил, стараясь попасть в него кулаками.

Дуся рвался вперед и подпрыгивал, чтоб заглянуть: прозрачное белое пятнышко маячило в кажимости за головами людей, пока совсем не пропало.

Пробка мычала, как не доенное стадо.

И тогда Дуся вырвался. Он вспрыгнул на тяги моста, провисшие стальными крутыми сходнями, и стал карабкаться вверх на стойку, – нагоняя речной горизонт, поднимаясь за ним все выше и выше.

Внизу крутил пальцем у виска человек, махали руками, кричали другие водители; свистел постовой и пробовал лезть за Дусей, но скоро раздумал, скатился обратно.

На стойке, на высоте выше дьявольского колеса, торчавшего слева из парка, сложив вокруг глаз ладони в рупор, Дуся то терял на реке, то вновь находил за поворотом крошечный белый катер...

Когда девочка исчезла, он развернулся в сторону черного человека.

Солнце зашло совсем, и царь вдруг разом стал еще чернее, будто его облили. Хрустальная голова потухла.

Теперь Дуся смотрел ему вровень в глаза.

Вдруг стекло колыхнулось последним лучом, добежавшим, отражаясь, по витринам и окнам в кривых переулках.

Дуся размазал слезы по щекам, вдохнул и сильно плюнул:

– Вот он я – залупившись, накось!

Милиционер внизу перестал свистеть и закурил, прислонившись к перилам.

Я отлетел в сторонку и, взяв разгон, шибанул со всего маху Дусю в грудь.

Обернувшись навзничь, за спиной постового он вошел вертикалью под воду.

Мент отщелкнул окурочок за перила и снова задрал запревшую под фуражкой башку.

Потом здесь под мостом ныряли медлительные водолазы.

Дуся на ощупь торчал из ила по пояс, и шнурок уцелевшего от удара ботинка был зачем-то использован ими для усиления крепежа – при подъеме за ноги тела обратно в воздух.

Ноябрь, 2000

ЗАСТОЛЬЕ

(ОПЫТ В БЫТОВОМ ЖАНРЕ)

Девочка Лиля была равака¹. Она владела квартирой в Кирьят-Шарете, подаренной ей мистером Джоной Полляком, чикагским жителем, работала в банке и в субботнем «Маариве» в столбце «бат-зуг»² значилась устроенной. Четыре года назад, в возрасте, когда Джейн Харлоу отказали почки, Лиле отказало благоразумие. Но вместо благодарности её Казанова с тех пор только и знал, что «вставлять ей палки в колёса». Девочка открытая и чуждая швейцарства, она в бесхитростных выражениях поверяла свои беды подругам, за что те её любили.

– Вот если б он был женатый, – говорила Лиля и скромно поясняла: – женатые довольствуются меньшим.

Теперь в самый раз сказать о мистере Джоне Полляке. С этим мистером Лиля познакомилась, будучи ещё на первом месяце, как говорится, своего пребывания в стране. Их повезли на экскурсию в Иерусалим. Мистер Полляк, по оперению ярчайший представитель пожилых заморских попок, стоял в группе себе подобных, но почему-то, судя по направлению его взгляда, упорно отказывался следить за объяснениями гида – если только предмет этих объяснений не была Лиля. Не зная, что подумать, Лиля всё же решила не думать дурно и застенчиво улыбнулась. По не зависящим от неё причинам – о коих будет доложено через... раз, два, три... через восемь предложений – иначе она улыбаться не могла. Между тем американец, поощрённый, вступил с ней в беседу. Незнание языка частенько оборачивается неумеренностью в изъявлении чувств. С неизвестно откуда взявшимся пылом Лиля начала доказывать приставшему к ней дядечке, что коль Израэль хаверим³ – что тот, собственно, и без нее прекрасно видел. Тем не менее, свитая из «лет май пипл гоу» и «шелах эт ами»⁴ (типично: крохи английского поглощаются начатками иврита), Лилина речь произвела глубокое впечатление на мистера-твистера. Факирским движением он извлёк из воздуха 10\$ и протянул их Лиле. Лиля ни чуточки не обиделась, решив, что у них так там принято, хотя денег не взяла. Но, видимо, у них там так тоже не было принято, фокусник как-то сразу смутился, стал оправдываться и наконец сказал:

– Вы так похожи на мою бедную девочку, умершую в пять лет.

И как минутой раньше в его пальцах оказалась денежка, так теперь в них появился снимок прехорошенького ребенка с заячьей губкой. Лиля взглянула и застенчиво улыбнулась.

От природы она была честна – природа, что магазины в Мухово-Саранске: дефицитный товар отпускают не иначе как с нагрузкой; она честно признавала, что благодетель её, несмотря ни на что, всего лишь одинокое старое животное, мелочный и глупый – даром, что в тот же вечер в ресторане он сказал ей: «Когда

¹ Незамужняя, здесь и далее – иврит.

² Партнёра.

³ Человек человеку друг, товарищ и брат.

⁴ Отпусти народ мой.

выйдешь замуж, я куплю тебе машину». Это, однако, позволило ей к слову «устроенная» присовокуплять еще слово «мехонит»⁵. Увы, газетное поприще не принесло Лиле успеха. Последняя же неудача была столь чувствительна, что на этом её сотрудничество в разделе «Ищу своего пару» прекратилось. Её корреспондентом оказался мужчина с козырьком зубов над нижней губой. Вдвоём они смотрелись ужасно.

Возможный Лилин «пара» уже во второй раз пропускал свою очередь на ширут⁶ в Кирьят-Шарет, потому что до сих пор ещё не решил окончательно: ехать к Шварцу или нет. С одной стороны, он был не прочь пообедать в гостях, но с другой стороны, инстинкт самосохранения предостерегающе грозил пальчиком. Инстинкт этот развит в нём был до такой степени чрезвычайности, что даже на лице у него читалось: я мальчик хитрый, меня не проведёшь – и странное дело: надпись эта проступала тем явственней, чем неуверенней он себя чувствовал. В такие минуты он становился важным, смотрел с презрительным прищуром, но при этом, сам того не замечая, что-то нервически теребил в кармане. «А что всё-таки Шварцу надо? Зачем он ко мне позвонил?» Эта мысль свербила в мозгу и сейчас, и час назад, когда он крутился перед зеркалом, – зимой он старался носить кожаные вещи – и третьего дня... Вдруг он вспомнил, как Шварц в последний их милуим⁷ говорил, что собирается открыть своё дело. «Неужели гарантия? Вот гад...» Надо отдать должное этому человеку, не верившему в бескорыстное желание других наслаждаться его обществом, – не каждый такого низкого о себе мнения, здесь опыт и насторожённость взаимно питали друг друга. Самые вздорные из его опасений в той или иной форме, пусть даже навыворот, но неизменно оправдывались – словно окружающее в отместку за дурное к себе отношение платило ему той же монетой, а он, не замечая в этом ничего фатального, только получал лишний довод в пользу того, что он – мальчик хитрый.

Теперь он стоял, поражённый внезапным прозрением, стоял, стоял, да ка-ак чихнёт – едва только успел поймать в кулак вылетевший из горла снаряд. «Вот, на правду, точно гарантия. Тысяч на двадцать или даже на сто. Нэма дурных». И уже повернулся он, чтобы идти домой (и уже плакал наш рассказ), как, поворачиваясь, он увидел проходящего мимо соседа, преклонных лет интеллигентного львовца, а львовец увидел его и, как человек интеллигентный, уже спешил обменяться рукопожатием.

– Извиняюсь, у меня в руке птичка.

После этого ему ничего не оставалось, как самому впорхнуть в подъехавшее такси. Там, подперев стеклом лоб, пассажир размышлял о двух вещах (и тоже не преуспел), а именно: куда деть птичку и как зовут Шварца.

Телефонный благовест не прекращался в доме всё утро. Звонили к Гене, звонила сама Геня, потом опять звонили к ней. Тут же что-то стряпалось, стиралось, тут же играло радио и крутился ещё не спроваженный с соседкой на улицу шестилетний Пашка. Геня, не одетая, – в буквальном смысле слова – металась посреди всего этого, каждые пять минут переменяясь в настроении и соответственно суля Пашке то неземные блаженства, то битъё и головомойку. К полудню всё как-то унималось, звонки становились реже, Пашка оказывался пристроенным к какой-нибудь прогуливающей своё дитя соседке, а уморившаяся Геня усаживалась за стол, ставила перед собой тефлоновую кастрюлю или порыжевший советский казанок и прямо оттуда руками начинала уплетать – жадно, обжигаясь, а главное

⁵ Автомобиль.

⁶ Маршрутное такси.

⁷ Армейские сборы.

— совершенно не чувствуя что. Нередко муж, возвращаясь, заставал её в таком виде, тогда молча он брал в руки ложку и присоединился к ней.

Когда по радио пропикало час, уже час как умолкший телефон вновь зазвонил. Не зная, кто там и сколько может продлиться беседа, Геня берёт с собой тарелку, стараясь при этом дожевать кусок пирога прежде, чем скажет «алё».

— Ахо, — это сопровождается отчаянным глотательным движением. — Нет-нет, что ты, мама, — и сразу же во рту появился следующий кусок — и одновременно мысль: «Вот на кого бы сегодня сбыть Пашку...» — Хо а хем? (Что я ем?) Сыкуку мококу... Уже прожевала... Нет, его нет. Они пошли с Пашкой гулять, — ещё кусочек, — скоко букут. У нас сегодня гости... Нет, товарищи по работе. Устала стра... Ах, тоже гости... — страшное разочарование, последний кусочек. — Кококо, кококо... Да, мама, хорошо. Ой! У меня, кажется, звонок в дверь, ну, пока.

Геня села в кресло и задумалась. Затем сняла трубку и стала набирать номер. Она отнюдь не была врушкой-пустобрешкой (то есть врушкой пустого завирушничества), для каждого вранья у неё имелась какая-нибудь причина. К примеру, выдав предстоящий обед за банкет сослуживцев, иными словами, за нечто серьёзное и сугубо мужское, к чему мать не могла не отнестись с пониманием, она втайне лелеяла надежду препоручить Пашку чужим заботам. Сорвалось с крючка. Далее, сказав, что ест «сыкуку мококу», она счастливо избежала нотаций, поскольку известно, что сырая морковь полезна для глаз, а вот для чего пироги полезны — это ещё никому не известно. Наконец, отправив Пашку гулять с отцом — ещё с вечера отбывшим по долгу службы и честной клятвы в направлении гор Гильбоа, — она отвела от себя подозрение, что Пашенька, не приведи Бог! гуляет с соседкой. Что же касается мнимого дверного звонка — то кто тут бросит в бедную девочку камнем, это даже и не враньё.

— Алё, Нолик?.. Нет, не Илана... Тоже нет... Только, пожалуйста, не делайте вид, что вы хуже, чем есть на самом деле, вам это не идёт... Ах-ха-ха... Никакая Марина или Илана вам этого не простила бы... Как? И до сих пор не узнали? Это Геня говорит... (В каждой фразе — «улыбка молодой женщины».) Не верю, не верю, не верю... Ни единому словечку... Ну уж извините и подвиньтесь, это вы нас забыли, не звоните, не заходите... Ну, что вы поэт — это я и так знаю... На цитату берёте? Пожалуйста, возвращаю вам её: поэтом можешь ты не быть, но помнить о друзьях обязан... Что? Ах-ха-ха... Нет, серьёзно, я на вас обижена... Нет, неискупима... Как? Соломинка надежды? Ах, какая прелесть. Ну, так и быть. Чтобы сегодня вы у меня были к обеду... Да. Получите много пищи для творчества... Ах-ха-ха, и такой пищи тоже... Не угадаете — хочу сосватать одну дурочку... Да нет, крокодил... Ах-ха-ха! Ах-ха-ха! Нет, общество защиты животных мне ничего не платит... Совершенно бескорыстно, я такая... А серьёзно, почему бы не сделать человеку доброе дело... Не могу сказать, ни разу его не видела... Если она его с собой приведёт, то какое же это будет сватовство... Да какой-то там его друг. Эти друзья, вы же понимаете... Да, вы же понимаете... Нет, не согласна, можно быть очень интересным мужчиной и в то же время застенчивым... Ну, хорошо, не будем спорить, аикар⁸, чтоб вы пришли. Вам разрешается захватить с собой свою семиструнную подругу... Ах-ха-ха, нет-нет, семиструнную, другой не надо. И новых песен... Непременно, слышите, для меня. Я хочу новых песен... Ну, конечно: и песню с собой не забудь... Тогда, может быть, я ещё подумаю... Что? Эту самую? Ну, конечно, я её видела, она такая сабровка⁹ стала...

⁸ Главное.

⁹ Израильтяночка.

И разговор продолжается, продолжается, только с нас покамест довольно, мы ещё сегодня этих разговоров наслушаемся. Не угодно ли для разнообразия немножечко мёртвой природы: свежей птицы, парной рыбы, перепалок и куралеток, пустопорожних пит – словом, немножко снедерса. Намечаемые Геней к предстоящему обеду кушанья суть мясной бульон с добавлением туда двух чайных ложечек куриного концентрата «Osem» (следите за рекламой) и к нему горячий лапшеник (зэ тов, зэ «Osem»¹⁰), на второе – мясо из бульона, обжаренное в *бййце*¹¹, и на гарнир вермишель (зэ тов, зэ «Osem») с двумя видами салатов: салатом «майонез», вторым составляющим которого являлись макаронные кохавчики¹² (нам звезды Osema сияли) и салатом «хацилим»¹³, покупным, на третье же – нет, никто не угадает, что на третье, пирог был уже умят Геней более чем наполовину, и подавать его не имело смысла, а посему на третье – сюрприз...

«Если б она взяла к себе ребёнка, я бы отправила их сюда», – разговаривала сама с собой Геня, всё ещё лелея в мыслях несостоявшееся. Черта, присущая многим. Она стояла в Пашкиной комнате, машинально выковыривая ногтем большого пальца ноги пластмассовый глаз какому-то зверю. «Здесь бы лежал “Плейбой”, здесь они – на диванчике, кругом детские игрушки».

– Пашка! Иди сюда, где ты? – ей кое-что пришло в голову.

Пашка уже вернулся и, снявши сапожки, слонялся по дому в одних носках – сползшие с пяток, они напоминали утконосную обувь времён Варфоломеевской ночи.

– Эй, парень – сказала Геня, что одно уже служило для Пашки хорошим знаком. Желая ещё дополнительно подольститься к ней и одновременно оправдать эту благорасположенность, он сказал:

– Мама, Арик роца латэт ли цукария, аваль ло лакахти¹⁴.

Это была неправда. В действительности Арик, зная, что его соседу запрещают есть конфеты, за спиной у матери предлагал ему их с тем, чтобы, едва Пашка протянет руку, сожрать всё самому. Это повторялось из раза в раз, но Пашкина доверчивость, казалось, не знала границ.

– Ну хорошо, молодец. А скажи мне, Пашка-какашка, ты очень хочешь конфету?

Наученный горьким опытом, Пашка молчал. Тогда Геня вышла на кухню и вернулась оттуда с тремя запечатанными целлулоидными пакетиками – в одном помесь желе с помадкой, в другом цукаты в шоколаде и в третьем «резиновый» мармелад («гумми-яин»), который Геня любила.

– Слышишь, Пашка, если хочешь, то всё это можешь съесть. Один.

Пашка молчал, напряжённо размышляя, зачем матери понадобилось его обманывать. В том, что она лишь дразнится, сомнений быть не могло – он скорее был готов поверить Арьке, что тот рано или поздно даст ему конфету, нежели матери.

– Но при условии, – продолжала Геня, – если будешь человеком. У нас сегодня гости. Когда я скажу, чтобы ты шёл к себе, – чтобы немедленно убирался, без капризов. Но слушай внимательно, пойдёшь в нашу с папой комнату, понял? Там будешь сидеть и там будешь есть конфеты, сколько влезет. Хоть все. Договорились?

Надо сказать, что маленькие дети в запретах видят лишь доказательство того, что родителям своим они небезразличны, и потому любое наказание, совершённое отеческой рукой, предпочтут словам «можешь делать что хочешь». Когда же вдруг без всякой видимой причины – ранее данного слова и т.п. – запрет сни-

¹⁰ Радиореклама: «Это хорошо, это “Osem”».

¹¹ В яйце.

¹² Звёздочки (от «кохав»).

¹³ Баклажанная икра по-арабски.

¹⁴ Мама, Арик хотел дать мне конфетку, но я не взял.

мается, то ребёнок пугается. Именно это и произошло с Пашкой. В страхе, что мама уже больше не мама, что его комната уже больше не его комната, он разревелся. Геня растерялась. Сознывая всю нравственную слабость своей позиции, она схватила сына и стала его зацеловывать, обещая три главных блаженства в жизни: театр, ролики и капитанскую форму на пурим. Эту бурную сцену прервала соседка, у которой кончилась какая-то крупа. Геня «отложила» умиротворённого Пашку в сторону и полезла в свой лабаз.

– Столько тебе хватит? – спросила она, доставая синий жестяной параллелепипед, разрисованный чем-то аленьким, по четырём сторонам было написано «ВДНХ».

– Спасибо, более-не менее, – сказала соседка, забирая банку.

– Погоди, Вика, я о чём-то хотела тебя попросить... – Геня сосредоточила брови на переносье. – Да, ты не могла бы одолжить мне на сегодня свой «Плейбой»?

– Я уже дала его в восемнадцатую квартиру, – ответила Вика.

– Ага. Ну ладно, схожу к ним.

Когда дверь закрылась, Геня весело крикнула:

– Пашка!

– Что, какашка? – откликнулся Пашка. Он уже совсем успокоился, и будущее представлялось ему в самых розовых тонах.

Шварца звали Кварц. Всё же (!) формирующее – или деформирующее – влияние имени на личность нам неизвестно. Вопрос: что представляли бы собою пунктирно обозначенные как возможные кандидаты в Шварцы Шмулик, Саша и Персей – первый прячется от дворовой ватаги, другой – участник математической олимпиады, ну а третий... велел подать себе крылатые сандалии – вопрос этот – гносеологический родственник (младший брат) величайшему вопросу современности: что бы было, если б был жив Ленин? Кварц же Шварц ещё в детстве представлял собою мальчика таки-да умеющего за себя постоять. Когда твоё имя рифмуется с фамилией, а в придачу от природы ты ещё получил крепкую грудь и крепкий лоб с выпуклыми висками, то умение «таки-да постоять» вырабатывается организмом едва ли не как род фермента. Впоследствии это приводит к одной замечательной шутке – к отождествлению себя со своим телом. Нередко лицо «таки-да умеющее» смешивают с лицом, которое «нигде не пропадёт». Это заблуждение. Случается, что его разделяют даже лица первой названной категории, к примеру, Шварц. Тогда они пускаются во всевозможные предприятия, проявляют чудеса энергичности, однако...

Как заводной автомобильчик, носился автомобиль старателя Шварца по Израюлю, но, увы, всё напрасно. Не цеплялись обездоленные вдовы с плачем за его бамперы, не слали вослед ему проклятий разорённые седые халуцы¹⁵, и даже скопления русалок в речке-раматгайке не наблюдались... Хотя – вот опять, проезжая Рамат-Ган, по дороге домой, Шварц сбил одну тремпистку¹⁶ – разумеется, с пути истинного. Грехопадение было назначено на вечер; сбитая проявила исключительное понимание «лёгкого иврита», на котором устами Шварца делал ей предложение сатана. На радостях Шварц, забежавший на минутку в кафе за сигаретами, решил позвонить к Гене. При звуке телефона Геня – процитируем классика – покрутила вытянутыми губами, как рыльцем.

– Да.

– Х... на, – ответил родной голос. Промеж собой супруги всегда были запросто.

– Ах ты, е... м...! Ты где?

– В Провернул одно дельце. Что у тебя?

¹⁵ Еврейские колонисты времён освоения Палестины.

¹⁶ Едущая попутной машиной.

Нет-нет, больше сквернословия не будет. После того, как мы столь удачно ввели читателя в атмосферу семейно-бытового диалога, своей авторской властью мы вынудим их быть паиньками.

(Скажут: это нанесёт урон правде жизни.

Ответим: правда жизни ненасытна, она сперва наступает на пятки, потом – на горло. Видя, что ты поддаёшься, она требует от тебя всё новых и новых жертв. Скажи ей: нет. Скажи ей, что она недостижима и не нужна, что её попросту нет – ни жизни, ни правды. Вот и весь сказ.

Скажут:

Ответим: лицемерие – это тоже «резиновый дедушка». По мне, лицемер – кто не перематерит меня хорошенько, по тебе – кто не ест с ножа и говорит «пожалуйста». Если же спросить у людоеда, то по нём, лицемер, кто не ест

Короче, сызнава диалог.)

При звуке телефона Геня...

– Ахо.

– Всё жрёшь, – сказал родной голос. Промеж собой супруги всегда были запросто.

– А тебе и жалко, да? Ты где?

– В Рамат-Гане. Провернул одно дельце. Что у тебя?

– Ничего. Нолик Вайс звонил. В гости напрашивался, я его позвала тоже.

– Артист. И ты тоже... Без этого ломаки жить не можешь. Во все дыры пихаешь.

– Дурной ты какой. Я же тебе объясняю, что он сам позвонил, – Геня разозлилась, правда глаза колет. – Что он тебе сделал, хочу я знать?

– Раздражает. В морду охота дать.

– Кроме как в морду, ты ничего не знаешь.

– Сю-сю-сю, сю-сю-сю, на тебя, когда он приходит, смотреть противно. «Нолечка, сю-сю-сю».

– Ты бы на себя посмотрел, как ты вокруг него пляшешь, геро... ой! Кажется, звонок в дверь. Пока. Приезжай уже, слышишь, Кава?

Звонок был долгий. За дверью стоял друг Шварца по боевой колеснице. Геня отпирала дверь и одновременно пряталась за неё.

– Входите, но не смотрите на меня, – на Гене ещё не было платья. – Кварц скоро будет.

– О! – воскликнул вошедший с непосредственностью того ребе, что вспомнил, наконец, где оставил свои галоши. – Ага... а меня, значит, Бóрис. – Разрешив таким образом первый из двух мучивших его вопросов, Борис одним махом разделался и со вторым:

– Где у вас удобства?

Геня похолодела: вежливый гость сам решил закрыть за собой входную дверь.

– Нет, нет, не надо! – крикнула она.

– Да что вы боитесь, – сказал Борис. – То, чего вы стесняетесь, я видел много раз, – и закрыл дверь.

– За кухней налево, – прошептала пунцовая Геня.

В туалете Борис разжал кулак и вытер ладонь о пипифакс.

– У вас отличная промокашка, мягонькая-мягонькая, – крикнул он Гене из-за неплотно затворённой двери. Он уже думал утопить свою «птичку», но, вспомнив, что тогда придётся слить воду, только надёжней завернул её и вынес в кармане.

Не слыша звуков ниагары, – Борис намеренно не запер дверь, чтобы было явно, что у него там «что-то другое», – Геня в гневе отправилась инспектировать туалет, но была посрамлена.

– Вот так они и жили, – сказала она, появляясь уже при параде и разводя руками, как бы указывая на стены салона.

– Кто «они»? – спросил гость.

«Э, да ты совсем идиот», – подумала Геня. – Это поговорка такая.

Наступило молчание. Гость и хозяйка собирались с мыслями. «Они с Лилечкой – два сапога пара», – думала Геня. Борис же думал: «Сказала бы сразу, на какую сумму подписывать».

– Ну, как вам наша квартира? – спросила Геня, глядя на часики: что-то Лиля запаздывает.

– Видали и получше, – последовал ответ. – А что, большое дело с мужем открываете?

– Какое дело? – с каждым новым словом гостя Геня всё сильнее проникалась одним страшным подозрением.

– Ну, со мной-то чего крутить... раз уж я гарантию даю.

– Какую гарантию? О чём вы? Паша! Паша! – «А что Паша? Разве Пашка мать защитит? Ненормален, возможно, маньяк, *видел тело...*»

– Послушайте, я тоже немножко коммерсант. – Борис угрожающе встал. – И в финансах я тоже волоку. На сколько тысяч вам надо гарантию?

Слово «волоку» Геню успокоило. Это было первое человеческое слово, которое она от него услышала. «А может, и в самом деле Кавке нужна гарантия?»

Появился Пашка, как-то бочком, помялся, помялся и исчез.

– Застенчивый, – сказала Геня и продолжала уже помягче. – Видите ли, я не знаю всего, что там у Шварца делается. Но мы такие люди, что последнее в доме продадим, а с долгами рассчитаемся.

– Так все говорят, – плаксиво сказал Борис.

«А вообще-то Кавка свинья, – подумала Геня. – Вот столечко не сделает, чтобы себя не забыть». – А что, он хочет, чтобы вы у нас были гарантом?

– Это и так ясно. А чего ради ещё человека звать? Не за красивые же глаза, – он принуждённо засмеялся.

«Ну, во всяком случае, твоей жене с тобой скучно не будет». – О, как вы ошибаетесь! О, как вы нас ещё не знаете! Мне Кава говорил о вас, что вы – хороший товарищ...

«Врёт», – подумал Борис.

– ...что вы одиноки в личной жизни. Вот я и подумала пригласить вас и ещё нескольких наших друзей...

– Вы меня сватать будете, да?

– Паша! Что ты здесь прячешься, или иди к себе, или иди сюда. Так что вы говорите, сватать? Вас? Ах-ха-ха! Ах, какой вы смешной... А почему бы и нет? Разве вы против хорошей партии?

Борис молчал.

– Если б я знал, то с бутылкой пришёл, – изрёк он наконец.

– А ещё не поздно.

– Нет, поздно. Уже на обед закрыто.

Геня со вздохом взглянула на часы: но где Лиля? И тут позвонила Лиля.

– Она миллионерша. У неё дядя миллионер, и она единственная наследница. – С этими словами Геня пошла открывать дверь.

Лиля пришла с тортом, даже с двумя – другой на голове.

– Ах, какая прелесть! И ты сама приготвила? Давай сразу в холодильник. – Геня сразу взяла Лилю в оборот. – Давай, давай, раздевайся... давай, давай, проходи... давай, давай... – вспомнив про торт, – но ты же настоящая мастерица. Это же чудо... давай, познакомься. Это...

Борис хитро улыбался, но молчал. Лиля, протянувшая было руку, смутилась. Борина улыбочка говорила: я же знаю, что ты знаешь, а ты знаешь, что я знаю, но так уж и быть, давай поиграем в тили-тили-тесто.

– Борис очень похож на Пашку моего, такой же застенчивый, – вышла из положения Геня.

Пашка, только слышав своё имя, как ядро, влетел в комнату, стал прыгать вокруг матери и дурашливо кричать: – Гы! Пашка-кашка! Пашка-кашка! – он знал, что при посторонних он – «кашка».

– Ну что ты, **сыночка**, ну что ты, – ласково говорила Геня.

– Я вовсе не застенчивый, – сказал Борис Лиле, всё еще протягивавшей руку. – Вот скажите мне быстро: ноги в тесте.

– Зачем? – спросила Лиля и покраснела.

– И-го-го! – ржал Пашка, и вдруг точно так же заржал Борис.

«Вот бы их сейчас в Пашкину комнату», – подумала Геня.

Кварц щегольски припарковался, но, завидя человека с гитарным футляром, остался сидеть в машине. «Вайс», – сказал себе Шварц. А тот, поравнявшись с машиной, остановился.

– Ах, здравствуйте, милый Кава, – сказал он – так сладко, что на месте Кварца любой решил бы: пидор. – Со стороны нашей милейшей Евгении Исааковны...

– Иосифовны.

– Да-да, Иосифовны, конечно... очень мило было... – Нолик запнулся: что это он, в трёх соснах... – очень мило было пригласить меня, старика, на роль Гименея, – он произносил «Именея» и даже «Юменея», через еи: белая эмиграция, с боями отступал к Новороссийску, свободный Париж...

Сколько раз Кварц давал себе слово послать этого типа к бениной маме, и вот всё повторяется: он сидит, ушами хлопает. Пролетел:

– Не соблаговоете ли принять помощь в отношении... в отнесении инструмента наверх?

«Бери, что хочешь, меч, полцарства,
Коня, красавицу Эльвиру,
Но лишь не тронь заветной лиры»,

– ответил Нолик.

«В отнесение» внешности Вайса: ему было немногим больше сорока, на столько он и выглядел, но почему-то это представлялось фальшивой молоджавостью маленького старичка, в котором всё подозрительно – и цвет волос, и брови, и даже веснушки на маленьких сухих руках, наводившие на мысль о старческих пятнах. «Маленький старичок» – говорят же так о детях. А Нолик сложением был мальчишка – малость окостеневший, малость негнувшийся... Если характер человека проявляется в его внешности, то Нолик Вайс прекрасное тому подтверждение: он был тем, за кого себя выдавал, а ему не верили, и всяк – всякий там Кварц – норовил его изблечить.

– По-прежнему выписываете «Советский спорт»? – учтиво осведомился Нолик, свободной рукой беря Кварца под локоток.

– О да!.. – захлёбываясь, отвечал Кварц. – И ещё «Хоккей», и «Футбол».

Так они дошли до дверей, и Шварц не сразу отыскал на связке нужный ключ.

Услышав шкварц поворачиваемого в замке ключа и при этом увидав Нолика, Геня вскричала: – «Какой сюрпрайс, пришел к нам Вайс! – и закружилась по комнате. Для мужа у Гени тоже нашлось приветливое слово: – И Кавочка, и Кавочка миленький...»

– Здравствуй, Генечка, – сказал Кварц хорошо подкованным язычком, словно дома его поджидало семеро козлят.

– Говорите, кто из вас кого привёл? – спросила Геня, смеясь и на правах хозяйки собираясь взять у дорогого гостя большой чёрный футляр. Но Нолик что-то сказал ей на ухо.

– Ах, какой вы... (Он прошептал ей: «Бери, что хочешь, меч, полцарства, коня, красавицу Эльвиру...»)

– Он шёл... а я ехал... то есть уже стоял...

– Ваш муж притаился в своем «ланчо», он, наверное, хотел меня напугать.

– «Форд-капри», – уточнил Кварц.

Нолик присел на корточки: заводить разговор с детьми было хорошим тоном.

– Ну, сладкая поросль сердца кормящей матери...

– Бесейдер¹⁷, – выпалил Пашка, вообразив, что у него спрашивают, как дела, – и спрятался за мать (ему ли все цитаты знать!).

– Застенчивый, – сказала Геня. А вот наша гостья, познакомьтесь.

– Илана, – представилась Лиля.

Нолик как бы в сокрушении сердечном приложил ладонь к щеке:

– Боже, сколько же илан приехало в эту страну!..

– Это у нас Лиля, – вступилась за подругу Геня, – тщето.

– А как, милая Илана, вы называете себя, когда мысленно к себе обращаетесь?

– Я никак к себе не обращаюсь, – ответила Лиля. – А вы?

– О!.. Один ноль... – Нолик выдвинул подбородок и, просунув за ворот рубахи два пальца, покрутил головой: душит белая. Его гардероб отличался постоянством – чтоб не сказать страдал им: академический твидовый пиджак, гладкие тёмные штаны, помянутая уже белая рубашка и галстук, синий в белую крошку, под микроскопом принимавшую очертания ели. Сколько Геня помнит, Нолик никогда не расстёгивал верхней пуговицы и не оттягивал книзу узла, которым был завязан однажды и навсегда этот галстук в елях.

– Да это же Арнольд Вайс, да ты что! Поэт и исполнитель на гитаре, – объяснила Лиля Гене.

Между тем Кварц, неловко бросив Борису «старик», подошёл к окну и вперился в одну точку. Когда ему случалось быть не в своей тарелке, ничто так не успокаивало, как вид, открывавшийся на крышу автомобиля, – собственного, разумеется. Сверху твой автомобиль сигарообразен (что чужой тоже – не обращаешь внимания). Сравнению с сигарой он обязан, однако, не форме (чем сосиска, в таком случае, хуже?), а исходящей от него эманации роскоши, роскошной жизни, к которой делаешься причастен.

Борис тоже подошёл к окну.

– Твоё судно? – спросил он.

– Угу.

Борис воздержался от дальнейших комментариев. Он был из тех, чьи чувства и намерения двойной стеной отделены от поступков. В данном случае промежуток между стенами заполняли О и З, действовавшие по принципу отравляющих веществ: Осторожность и Зловредность. Поэтому, что бы он ни говорил Лиле, это не отражало его истинных желаний. Истинным желанием его, например, было жениться на миллионерке – он же своим поведением только отпугнул миллионерку. Теперь бы ему броситься исправлять промах, навёрстывать упущенное – он же поворачивается лицом к окну и позволяет какому-то дергунчику расточать ей комплименты и любезности, на которые сам, впрочем, неспособен в силу своей зловредности.

«Пусть, пусть, – думал он, – пусть, пусть, пусть...» – только одно слово, но ёмкое, вместившее миллион смыслов: пусть я шут, пусть циркач, так что же? Пусть

¹⁷ В порядке.

меня так зовут вельможи; пусть щебечет, это имеет смысл только в том случае, если особа сия в действительности является таковской, за каковскую выдаёт себя; пусть миловидна, пусть миллион за душой, ещё неизвестно, какая нынче пойдёт игра на бирже¹⁸; пусть миловидна, пусть причёсана у лучшего дамского портного, красота – это ещё не главное в жизни (заячьей губы он не разглядел).

– Чай, оттуда ещё? – произнёс за его спиной голос Нолика. Речь была о ватном и глазированном деде-морозе, который стоял на одной из полок книжного шкафа, приспособленного под сервант. – Хорошо, ёзюмительно, – продолжал голос. – В сарачинской шапке белой, с бородою поседелой.

– Подумаешь, наелся сливок и блеванул.

Нолик даже поперхнулся от неожиданности, и Геня долго стучала ему между лопаток.

– Се человек, – сказал он наконец, блистая слезами на ресницах.

– Се Борис.

– «Бóрис» надо говорить.

– Почему? – с наигранным простодушием высшего спросил Нолик.

Борис смерил Нолика презрительным взглядом. Он был сам себе голова и терпеть не мог авторитетов, Нолик же, как он понял, слыл здесь авторитетом.

– «Бóря» – значит «Бóрис».

– О, – усмехнулся Нолик, поворачиваясь к Гене, – да я вижу, здесь мир стоит. Простой, но целый, – и к Борису: – Но смотрите, первый же случайный автомобиль может разнести его в щепы, ходите осторожно. Я так и вижу: он из-за угла...

Геня тихонько ущипнула Нолика повыше локтя. Не понимая, что на три четверти его речь – путеводитель по русской словесности, она увидела здесь намёк на автомобиль как на возможное приданое Лили.

– Пойдёмте же, пойдёмте на кухню. Мне надо Пашку кормить. Будьте сегодня моим пажем.

На кухне Нолик опять подъехал к Пашке с разговорами. На этот раз с бóльшим успехом. Растягивая ложку на несколько глотков, пуская фонтаны бульона и слюней на стол и на рубашку, Пашка дал настоящую пресс-конференцию.

– Кем ты будешь, когда вырастешь большим?

– Совсем большим?

– Да.

– Вот таким большим? – Пашка развёл руки в стороны, оставив ложку плавать в тарелке.

– Да. А может быть, даже ещё больше.

– Тогда вот таким? – руки его раскинулись по вертикали, – как слон?

– Ну, предположим. Или как дом.

– Нет я хочу быть, как слон. – Это насмешило его, и он начал «гыкать» и смеяться, приговаривая: – Я буду, как слóн! Слон больше, чем дóм!

– Слушай, парень, ешь и не дури, – сказала Геня, но Пашка долго не мог успокоиться, и Гене пришлось на него цыкнуть. Нолик же продолжал:

– Скажи, Павлик, а какая девочка у вас в классе самая красивая?

– Никакая, они все противные.

– А ты их бьёшь?

– Да!

– А у тебя есть друг?

– Да, есть!

– А как его зовут?

– Арье.

¹⁸ Биржа.

- А он тоже бьёт девочек?
- Да!
- А у вас есть в классе дети, у которых текут сопли?
- Но-о-лик, – сказала Геня.
- Есть, арба¹⁹, – ответил Пашка.
- Ну, а как зовут вашу учительницу?
- Моника.
- А у неё на каждом пальчике по колечку?
- Нолик, умоляю, вы возвращаете мне ребёнка.

Поскольку хозяин мухой прилип к стеклу, гости постепенно сгруппировались вокруг Гени на кухне. Лиля хлопотала вместе с ней у плиты и даже была в фартуке. Нолик теоретизировал на уровне поваренной книги. Борис стоял, скрестив руки на груди, третью, воображаемую, он держал на эфесе шпаги.

Вняв совету Нолика, Геня решила разнообразить меню ещё «подливкой посефардски» – помидорами, жареными в масле с мукой, луком и перцем. «Все специи годятся, давайте всё, что есть». Нолик также получил фартук и нож в руки.

– Я превосходный шпажист, ни одна хозяйка не владеет орудиями колющими и режущими лучше меня. – Он со стуком отсекал от длинной зелёной стрелы крошечные цилиндрики и съедал белый корешок, но прежде галантно предлагал его девочкам. – Что делать, я лакомка, – говорил он в своё оправдание.

– Лакомка!.. – восклицала Геня, приседая и шлёпая себя обеими руками по коленям, словно вот-вот прыснет от смеха. Борис же бубнил, невнятно, монотонно, как первобытный воин: «А теперь полакоми свой глаз, а теперь полакоми свой глаз». – Только не заставляйте меня убедиться в том, что вы и в своей холостяцкой обители готовитесь к обеду с таким тщанием.

– Упаси бог, Генечка, чтобы я вас заставлял. И потом, с чтением я действительно редко готовлю, не люблю делать одновременно два таких важных дела. Мой девиз: Лукулл обедает у Лукулла... Боже мой, Илана! Ужасная женщина, что она делает!..

Тарелка, накренившаяся, как кузов самосвала, застыла в воздухе – Лиля, кончив нарезать помидоры, собиралась плюхнуть их на сковородку.

– Поставьте на место. Вы бы сейчас всё испортили. Вы что, не знаете, что прежде их нужно промыть? Смотрите.

Нолик пустил струю воды и под ней пальцами стал перебирать каждую дольку, высмаркивая её и делая полой. Глядя на соскальзывающие в раковину розовые в зелёных зернышках сопли, Борис вдруг сказал:

– Так и рот с выбитыми зубами промывают.

Нолик не нашёлся, что ответить. Лишь заглянул Борису в глаза, демонически улыбаясь и трепеща бровями, – словно заглянул ему в душу. Геня принялась жарить лук, и через минуту квартира наполнилась его медвяным духом.

Лиле – чей тип был «некокетливая», чей статус был «подруга, помогающая подруге», чья претензия в этом мире в лучшем случае исчерпывалась словами «...но у меня добрая душа» – Лиле Борис, в общем, понравился. Симпатичный, современный, но при этом вполне мог быть человеком трудной судьбы, которому нужен просто хороший друг. Печально, что Лилин тип своих симпатий обычно ничем не обнаруживает. Ни на кухне, повязанная фартуком, ни сидя за столом, она так ни разу и не повернула в его сторону свой негритянский носик. Геня уж старалась и так и сяк: усадила их рядом, сама села на уголке: – Ну, мне и на углу не опасно, не то что некоторым. – Благодаря этому Вайс и Шварц оказались ли-

¹⁹ Четыре.

цом к лицу по разным сторонам, четвёртой своей стороной стол примыкал к стене – как пианино.

Геня планировала культурно поставить сухарь (из Кремизана), но в последний момент передумала – махнула рукой на культуру и вспомнила про водку в шкафу (не холодильном).

– Провалы в памяти разрушают виды на семейное счастье, – многозначительно понизив голос, сказал Нолик.

– «Водка “Петровка“, белая головка, – читал Борис. – Импортируется из Ашкелона».

– Ну, мальчики, за что выпьем? Кава, ты хозяин, тост.

– За красивых дам, – сказал Кварц и... тихонько пукнул.

Но это всегда случается именно так, дорогой читатель: не к месту, неожиданно и неприлично. И поверьте, мы бы этого тоже не заметили, если б при этом у Кварца не вырвалось: «Ой, слиха»²⁰. Геня же сказала: «Скандал в благородном семействе».

– А за некрасивых? Что до меня, – Нолик повернулся к Лиле и продолжал с уже отмечавшейся нами дрожью в бровях, – то я пью просто за дам. Каждая из них прекрасна. За прекрасных дам.

После первой, второй и третьей гости молча трапезовали. Утолив первый голод и налив в четвертый раз – хотя и не выпив, – закурили. Лиля на всякий случай отказалась от предложенной ей сигареты. Нолик набил трубку.

– А почему бы вам не перейти на пайп? – великодушно обратился он к жалкому парии Шварцу.

– Что? Куда перейти? – не понял пария.

– Этот человек, Нолик, невежа, не обращайтесь к нему, – сказала Геня. – Мне стыдно, что у меня такой муж. – Она выдержала паузу, прежде чем закончить мысль: – Чтоб человек не знал английского языка.

– Мне хватает иврита, – буркнул Кварц.

– Молчи, невежа. Я даже не могу сходить с ним в кино без того, чтобы на нас не шикали. Надо переводить ему каждое слово.

– Но ведь, кажется, есть специальный кинотеатр, – Нолик не сказал «для убогих», но прозвучало это так. – Ну как его?

– «Исходус», – подсказала Лиля.

– Да-да, у него какое-то смешное название.

– «Эксодус» надо говорить, – поправил Борис, – и не будет тогда смешно. – Лиля покраснела.

– Ах, что вы, это ужасно, – сказала Геня. – Одна публика там чего стбит.

Лиля, не пропускавшая ни одного фильма с русским переводом, посетовала на отсутствие мест, где можно «приятно провести вечер» – она хотела сказать «нам, несемейным», но воздержалась. И тут Нолик привёл в движение магнетические силы своего ума:

– Я слышал, что в Тель-Авиве открылся клуб людей трудной судьбы. Имени Максима Горького.

– Ваш острый язычок режет без ножа, – заметила – очень правильно – Геня. Борис же тоже правильно заметил:

– На каждый острый язычок есть ещё более острый ножичек.

Выпили по четвёртой и закурили снова. В те головы, что были послабее, уже начал ударять хмель. Геня кокнула на кухне тарелку. «На счастье, на счастье», – закричали все, только Шварц промолчал: он был скупенький. Кончив убирать посуду, перемазанную майонезом, кохавчиками, пеплом, хацилим, Геня стала обносить

²⁰ Ой, извините.

первым блюдом: бульоном, в котором плавал макаронный клинышек бабки. Это был прямой вызов Архимеду. Размеры клинышка не влияли на уровень бульона в тарелке. Нолик тут же заметил, что ему «слишком много бульона». Для Кварца это послужило сигналом к реваншу.

– Ей, видите ли, из-за меня в кино неудобно... Да мне из-за тебя за столом с людьми сидеть неудобно – всё сама съедаешь.

Борис, напротив, держался мнения, что хозяйке «больше всех за столом магия».

– Магия ла, магия ла²¹, – твердил он заплетающимся языком. – Она больше всех трудилась.

Геня быстро сменила тему разговора.

– Хватит вам над хозяйкой смеяться... Лиля, а что ты сегодня такая скучная. Устала миллионами ворочать? Лилечка у нас в банке трудится. Научила б, как разбогатеть.

Лиля постучала перстами в грудь – условный знак пищеводу поторопиться – после чего сказала:

– Ну, есть разные тохниёт. «Итрон матаим», например, хорошая. Значит, ложите на программу схум ад арбат алафим и уже через год можете выбрать восемь тысяч, и еще вам дадут алваа. Или можно купить ниярот эрэх – это тоже хорошо. А ещё есть лезугот цаярим, это вроде как машканта²²...

– Ну, тебе-то машканта ни к чему, тебе твой дядя такой дворец отгрохал...

Однако Лиля была не из тех, кто строит свое счастье на лжи.

– Мистер Джона Полляк мне не дядя. Он мой покровитель.

– Неважно. Иногда чужой человек такое сделает, что куда там родному дяде. Квартира, – Геня начала загибать пальцы, – машина к свадьбе, а дети пойдут... Да ты что, мать, бездетный – он же тебе состояние оставит, эх!..

Геня говорила убежденно. Нолик только покачал головой:

– Так вот она какая...

– Так вот она какая, большая-пребольшая, – промурлыкал Борис.

– Нет, кроме шуток, Иланочка, – сказал Нолик, – ежели бы я да был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире, я бы сию минуту на коленях просил любви и руки вашей, – и он действительно продемонстрировал, что было бы, если б он отвечал всем этим требованиям.

Кварц засмеялся.

– Смех без причины, знаешь, признак чего? – строго сказала Геня. Она, конечно, не могла знать, что рассмешило мужа: муж вспомнил, как тремпистка сегодня говорила ему: «Не ври, вы, русские, на нас женитесь только из-за приданого».

– Увы, – со вздохом продолжал Нолик, – я никак не могу просить вашей руки. Я заклятый мисогамист. – Он поднялся с колен и, став позади Бориса и Лили, уснастил их плечи, два внешних плеча, эполетами своих пальцев. – Мисогамист, Иланочка, это такой мужчина, который не готов свою возлюбленную низвести до положения няньки, прачки, кухарки. Это вариант для Иланочки. Тебе же, муж чести и совета, – имелся в виду Борис, – скажу иное. Мисогамист это тот, кто не желает закабалить себя союзом с нянькой, прачкой и кухаркой. Никогда, никогда не женись, мой друг, – вот тебе мой совет. Не женись до тех пор, пока ты не перестанешь любить. Женись стариком, никуда не годным. А то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого. Всё истратится по мелочам. Да, да, да! Не смотри на меня с таким удивлением...

Правду сказать, Борис и вовсе на него не смотрел, а сидел бледен и прям. Он был жестоко пьян.

²¹ Ей полагается.

²² Тохниёт, схум ад арбат алафим, алваа и пр. – банковские термины.

Известно, что хмелеют, как и пьют, – по-разному. Интересно, однако, было бы установить зависимость между первым и вторым. Нолик опрокидывал, будто пил с локтя, отставив его под прямым углом: поручик Ржевский. Борис сперва долго созерцал рюмку на свет, зажмурил один глаз, – прицеливался; глотая же, производил горлом звук – стрелял. Он и ел-то не как все: ковырялся, что-то браковал, оставляя на краю тарелки, что-то выуживал потом изо рта и клал в ту же кучку. После нескольких рюмок он побелел, насупил и осуждающе уставился в стенку.

Кварц Шварц пил, и были ему эти рюмочки, что слону дробина. Да тут ещё мысль о предстоящем randevu.

Девочки пили и пьянели тоже по-разному, но у них это получалось как-то по-своему, по-женски. Геня на подмостках многотысячного театра вдыхала аромат искусственной розы. Лиля выпивала буднично: хозяйюшка, пьющая следом за хозяином.

– Но, Нолик, дети! Как же без детей! – воскликнула Геня. – Дети это же всё.

– Генечка, вы превратно меня поняли, я не против того, чтобы мужчины имели детей, я против того, чтобы они имели жён... – Геня сделала такие страшные глаза, что у Нолика душа ушла в пятки, во всяком случае, он укатил на попятный двор: – Разумеется, это мнение одной стороны. Не вредно выслушать и другую. А что Иланочка думает?

Лиля была настроена весьма решительно. – Я бы очень хотела иметь ребёнка, воспитывать его. Вот Пашка – какой золотой ребёнок, и не видно, и не слышно его.

Отвлечёмся ненадолго. Пашка в самом деле был золото. Заточённый в родительской спальне, он смиренно нёс бремя своего обязательства. «Такова селяви, – как сказала бы Геня – за минуту удовольствия платишь по расценкам хай-сезона». А Пашка ещё пытался продлить наслаждение сверх отпущенных ему сил – что в характере человека – продолжая есть конфеты, когда ему уже совершенно этого не хотелось. Предварительно он выстраивал их в боевом порядке. «Гумми-ян» и «Элит» были сирийцами и египтянами. Наши цукаты в шоколаде побеждали на обоих фронтах. Танки со звуком «уджж» проносились по родительской простыне, оставляя на ней следы. То один, то другой взмывал в воздух и пикировал на врага. Но победители несли и самые большие потери...

После того, как все три армии были разбиты, Пашка продолжал издавать «уджж». Тяжко раненный в живот, он корчился на поле битвы, но в лазарет не шёл, терпел.

– Если б я писал книгу для детей под названием «Честное зеркало», – сказал Нолик, – то первый пункт гласил бы: «Детина, изыди».

– Да, – горячо поддержал Кварц. Кто-кто, а уж он-то знал, какая это досадная помеха – дети. – У ребёнка должен выработаться условный рефлекс: собрались взрослые – марш к себе.

– А вы ещё и физиолог, Кава. Не ожидал.

Кварц был польщён.

– Ну а что... в самом деле... вот мой парень – воспитан же.

Стали хвалить Пашкино воспитание, всячески подчёркивая в этом заслугу матери. Геня снисходительно кивала, она мнила себя докой по части воспитания детей, в особенности полового, которому придавала особое значение. Здесь у неё имелись разные теории. В частности, считая необходимым приучать сына к виду тела, она ходила по квартире голая.

Только упала под стол вилка, как в дверь не преминули постучать – по-свойски, по-коммунальному.

– Воткните! – зычно крикнул Шварц – по обыкновению, дверь была не заперта (коль Израэль – хаверим).

Соседка зашла вернуть «милиционера с ВДНХ» – красно-синий жестяной параллелепипед. «Куда поставить?» Что обычно выражают лица попавших в атмосферу чужого веселья – то и выражало её лицо: смесь брезгливости, превосходства и некоторой зависти. На неуверенное «может, посидишь?» ответила: «Как-нибудь в другой раз».

С её уходом комплименты по адресу Гени продолжились. «Мать года», «Макаренко в колготках», «Геня гений». Лиля брякнула ни к селу ни к городу: «Не та мать, что родила, а та, что воспитала».

Нолик взял её руку в свою:

– Умница, – и, глядя её руку, пропел Борису: – «Как бык шестикрылый и грозный, мне снится соперник счастливый».

– Пение есть облагороженная рвота, – сказал Борис. Это были его последние слова. В следующую секунду он повалился на Лилию, которая завизжала. Хромолитография: «Девушка и мыш». Затем оба рухнули на пол. Хромолитография: «Падшие создания».

– Ююуум!.. – просигналила Геня, всем видом своим, поджатыми губами и заведёнными к потолку глазами, говоря: этого ещё не хватало. Кварц ограничился кратким «опс!». Нолик сохранял ковбойскую невозмутимость:

– На вас, Иланочка, кажется, что-то упало?

Лилию из-под Бориса вызволяли: плита, настоящая плита. Сколько раз Бориса отваливали, столько раз он возвращался в прежнюю свою позицию.

– М-да, наш девиз – упругая пассивность, – заметил на это Нолик.

– Кавка, – сказала Геня тихо, – его надо в Пашкину комнату. (Можно сказать, всё шло по плану.)

Без лишних слов Кварц подмёл своим однополчанином пол: он был в ярости. «Сейка» на запястье показывала половину шестого, тремпистка, похоже, накрылась плащом – но нам его не жалко, ей-богу, не жалко. Нам жалко Лилию: перепугалась, сломала ноготь, поехал чулок – до сего дня ни разу не надёванная пара. А причёска... Чем она краше и мудрёней, а уж Лиля постаралась, тем неприглядней бывают последствия природных катастроф, от которых застрахованы разве что бритоголовые леди из Меа Шеарим²³. На Лилином месте другая давно бы уже разревелась с досады, наша же мужественная девушка только тяжело вздохнула – и направилась в ванную.

В её отсутствие Геня, отвечая на нескромный Ноликов вопрос, вполголоса поведала печальную историю совращения Лили банковским клерком.

– Для него это был потом такой стыд, такой стыд... Неудивительно, что он сам же стал вставлять ей палки в колёса. И ведь хорошая неглупая девочка, – прибавила Геня самодовольно. – Умнее многих мужиков.

– В отличие от тех, кого вы называете мужиками, она не может себе позволить быть глупой.

Если бы Геня держала в руках сложенный веер, она бы игриво шлёпнула им Нолика. Но у неё в руках была вилка, на которую она не менее игриво накалывала тончайшие мясные волокна и вермишелевых червячков, то там, то сям поналипших к донышкам тарелок. «Всё было выпито и съето» – мнимая цитата – кроме десерта.

В продолжение сказанного Нолик пустился в рассуждения о женщинах с физическим изъяном.

– Некоторые считают, что уродливые и калеки доступнее, рады всякому, кто их помянит. Глубоко ошибочный взгляд. Они страшно недоверчивы, во всяком случае, по сравнению с теми женщинами, для которых мужская любовь, как еже-

²³ Религиозный район в Иерусалиме.

дневный утренний душ... – Это была колкость, но особого рода, когда и не ответишь-то. По некоторым признакам, и на исторической родине Геня держалась правил гигиены, что приняты на родине слонов.

Воспламенённый своими пылками филиппиками по адресу тех, кто под покровом темноты пристаёт к хроменьким и обваренным, Нолик разразился горячим панегириком самому себе. (Панегирик, воспаляющийся от филиппик. Мы сознательно устроили очную ставку этой паре иностранцев, столько лет безнаказанно морочивших нас своим появлением в совершенно противоположных контекстах. Так одного и того же человека попеременно видишь то за рулём восемнадцатого автобуса, то продающим халву на рынке. Прикажете предположить, что «он» – это попросту двое близнецов?)

– Я бы никогда не позволил сатиру в себе восторжествовать. Я бы никогда не позволил отвлечённой чувственности предварить чувство, внушаемое конкретной женщиной. Поэтому я всегда бросался на приступ таких илионов, несокрушимость которых общеизвестна. И всегда дерзко карабкался по их стенам, причём еще не случилось такого, чтобы дерзость моя не была вознаграждена.

– «Я всегда, я никогда» – вы что, абсолютист? По-моему, вы уже заговариваетесь, – грубо оборвала Нолика Геня. Он стал её раздражать – после того, как упомянул про утренний душ. – Что он там нёс (подразумевался Борис), что его сейчас вырвет?

– Глубокоочтимая Евгения Батьковна, прежде всего, я не заговариваюсь, а заговариваю вас, а это, как говорят в Одессе, – а я, да будет вам известно, рождён в Одессе, – две большие разницы. Что касается господина Бóриса, вашего гостя, то ковров ваших он пятнать вроде бы не собирался. Господин Бóрис сказал только, что моё пение есть облагороженная рвота.

У Гени оборвалось сердце. Всё. Нолик оскорбился. Нолик сейчас уйдёт и больше никогда не придёт. Кончилась дружба со знаменитым бардом Арнольдом Вайсом.

– Ах, какой дурной, боже, какой дурной! Это же надо такое сказать! Да сам он рвота... Вы, конечно же, не обиделись на этот фрукт...

– На фрукт – нет.

– Ну так в чём же дело, откуда эта мрачность? Вспомните, машер, о своей гитаре да спойте. – Душевно наморща нос и потрянув волосами. – Спойте, машер! Вы и песня неразлучны, как Ром и Ремул.

– А это ещё что за звери такие?

– Ром и Ремул, Но-о-лик...

– Ром и Ремул, – проворчал Нолик, – Ланин и Стелин.

– Нолик... Вы. Меня. Разыгрываете!

– Розыгрыш кубка. Ладно, так уж и быть, спою.

Здесь надо открыть один маленький секрет: Нолику гораздо больше хотелось петь, нежели Гене слушать. И так бывало всегда. В гостях Нолик с нетерпением искал случая уступить настойчивым просьбам своих почитательниц и что-нибудь для них исполнить.

– Ну, где же публика? Кого прикажете восхищать?

Геня пошла звать Лилю. Лиля, уже расчёсанная, сидела в Пашкиной комнате. Можно предположить, что она считала своим долгом быть подле Бориса. Последний, в беспорядке сваленный Кварцем на диван, – руки, ноги вперемешку – был теперь аккуратно сложен. Голова покоилась на плюшевом медвежонке, бледный шарик пупка, нескромно открывшийся, исчез под пупком с глянцевой обложки «Плейбоя», заменившего отсутствующий плед.

– Ну, мать... Ну что же ты здесь сидишь-то? Нолик сейчас петь будет.

Лиля была уведена.

Нолик разъял футляр на две восьмёрки и извлёк оттуда свою подругу семи-струнную, со сливочными деками и поджаристыми густо-коричневыми обечайками; установил складной игрушечный стульчик, на который поставил левую ногу в чёрном начищенном полуботинке. Девочки сели рядом и приготовились слушать. Нолик покосился на Кварца: тот вновь прилип к окну, рассредоточенно глядя на светящуюся сетку огоньков вдаль, где-то там напрасно ожидало его родственное тело. Нолик дважды ударил по струнам, резко и призывно, но попытка эта – завербовать себе ещё одного слушателя – успехом не увенчалась. Кварц даже не шелохнулся.

На артистическую манеру Нолика, однако, не могла повлиять численность аудитории. Он, подобно картине, сработанной широкими мазками в расчёте на десятки кубометров пространства, и в крошечном помещении оставался неизменен.

– Нет, я знаю, чту спою. А всё же каковы желания почтеннейшей публики?

– Пожалуйста, исполните нам «Круглый гроб», – попросила Геня.

– Так, «Круглый гроб»... Вам хочется слабейшую из моих слабостей. Но нет! Достаточно я уже тешил толпу, достаточно потакал своим слабостям и её невежеству – пардон, мадам, я не о вас, да-да, вы, в третьем ряду. Теперь всё кончено. Отныне поэт сам избирает предметы для своих песен, толпа не имеет права распоряжаться его вдохновением.

– Ляма?²⁴ – капризно спросила Геня, до ушей растягивая рот: «маленькая елда²⁵». Но Нолик уже перебирал струны. То, что он говорил, представляло собою мелодекламационное вступление.

– На днях я до глубокой ночи с трубкой в зубах гальванизировал труп своей памяти. «Память, говори!» – заклинал я ее. И ожил призрак. Зашевелилось, проснулось, закружило меня... Быть может, это была совесть? Возможно. Быть может, это боль всколыхнулась во мне? Вероятно. А может... тоска по ушедшей юности сжала мне сердце? Юность моя... свежесть моя... Она пришлась на пору, когда части Закарпатского военного... Но нет, я лучше спою о том, о чём не в силах сказать, – Нолик прочистил горло (Геня тоже ощутила желание счистить с горла хрипотцу, но переборола себя – ещё решит, что его передразнивает, – и вдруг услышала, как Лиля делает «кхм-кхм»). – Итак, песня. «Медаль за взятие Будапешта. Видение далеких лет».

Бредём в молчании суровом,
Венгр и поляк.
И кровью нашей, как рассолом,
Опохмелялся враг.

Гремят по Будапешту танки,
Пой, пуля, пой!
Пусть знают русские портянки:
На Висле я – свой.

Нам в Польше кровь сдавали братья,
Иген – так.
Приятель был у меня Матьяш,
Парень чужак.

На Висле, Влтаве, на Дунае,
На Эльбе – о-ооо!

²⁴ Почему?

²⁵ Девочка.

На Тиссе, Буге, Даугаве
Я – сво-ооо!

Бредем по Пешту, вдруг оттуда,
Сквозь ток вод,
Свою загадочную Буда
Улыбку шлёт.

Нам звёзды Эгера сияли,
Я видел сам.
А значит, душу не распяли –
Но пасаран!

Бредём в молчании суровом...

и т.д. – последний куплет Геня уже подтягивала вслед за Ноликом. Пользуясь безличной формой, как пользуются в фотоателье картиной с отверстием на месте головы, Геня без труда отождествляла себя с одним из этой молчаливой группы, вернее, пары: оба суровы, головы опущены, воротники подняты, бредут. Венгр и поляк.

Были исполнены затем еще две песни: «А Кохане, дер ров» («А Кохане, дер ров, воронёный свой кольт на арабских наводит детей») и «Круглый гроб», специально для Гени.

– А не вдарить ли нам по кофею? – спросила Геня, беря сигарету, – последнюю.

– Генечка, эта мысль, безусловно, была внушена вам свыше... только прошу...

– Проси что хошь, коня, полцарства, жену – красавицу Пальмиру, но лишь не трожь заветной лиры...

– Генечка, у вас потрясающая память, но посягаю я именно на вашу лиру: не подавайте хотя бы к кофе вермишель. Мы уже не сомневаемся в вашей способности делать из нее конфетки.

– Злой, фуя, бяка противный! – на Нолика обрушился град игрушечных кулачков.

– Вы же мне грудную клетку проломите, что вы делаете! – Нолик притворно закашлялся и вдруг поперхнулся: от кашля глаза налились кровью, язык свернулся трубочкой.

– А вот мистер Джона Полляк после обеда ест сыр, – решила поддержать разговор Лиля.

– Ну и дурак ваш мистер Джона... как сказал бы господин Бóрис... – он всё еще боролся с кашлем. – На сладкое надо есть сладкое...

– А что малой делает? – Кварц вдруг очнулся, о чём-то вспомнив.

– Поди и посмотри, – огрызнулась Геня. – Ну что, вам полегче?

– Да, Генечка, благодарствуйте. Только больше не ломайте мне рёбер, пожалуйста.

– Не буду, убедили, – Геня посторонилась, пропуская Шварца. – А что, машер, вы-то сами небось сладкого в рот не берёте?

– Напротив, я совершенно согласен с господином Бóрисом, на сладкое надо есть сладкое (вот это техника).

– Нолик, нет...

– Как, вы не едите сладостей? И вы, Илана, тоже?

– Я ем.

– Ах, Нолик, вы не понимаете. Мы, женщины, – другое дело. А мужчина не должен есть сладкого. Пашке, например, я ни грамма сладкого не даю, он даже чай пьёт без сахара. Или ты мужик, или ты сладкоежка.

Воротился Кварц.

– Ну что?

– Спит.

– Ладно, так и быть, без сладкого вы не останетесь. У меня есть что-то такое, чего вы никак не ждёте. Сюрприз, пришёл к нам Вайс! Смотрите...

– «Белочка»! Настоящая «Белочка»! – Лиля вся аж порозовела. – Откуда она у тебя?

Оказывается, «Белочку» прислали Кварцу авторы этого имени, вместе со многими разделявшие то мнение, что недаром славятся советские конфеты, русский табачок («О, русский табачок», говорит пленный фриц), московское метро и грузинский чай – и, судя по лицам присутствующих, подобное мнение экспортируется гораздо успешней, нежели предметы, о которых оно трактует. Таким образом, чай пили по способу домработниц – с шоколадными конфетами. В последний момент выяснилось, что кофе кончился.

– Отсутствие кофе переносится большинством наших земляков сравнительно легко, чего не скажешь о сигаретах. После чая и 2,5 «Белочек» на брата (дробью мы обязаны Борису) страшно хотелось затянуться, а не тут-то было; то есть, может быть, и было, и даже тут, если поискать хорошенько, скажем, у Шварца в правом кармане, даром, что он пенял вместе со всеми на отсутствие курева.

– Посмотри, может у тебя где-нибудь завалилась заначка? – иносказательно зывала Геня к мужниной совести.

– Да нет же, откуда? – тот случай, когда предпочитаешь потерпеть, только бы не растревлять себе душу зрелищем чужих пальцев, удрящих в твоей пачке.

– Ну, Кав... а вдруг...

– Что я – врать буду?

Лиля, «подруга, помогающая подруге», вызвалась спуститься в маколет, закрывающийся через четверть часа.

– Купи «Тайм», две пачки «Тайма», – сказала Геня. – Я тебе денег дам.

– У меня есть, не надо.

Генина настойчивость не была чрезмерной.

– Есть «не надо».

При этих словах жены Кварц рассеянно стал озирать потолок.

Единственный, кто в сигаретах не нуждался, был Нолик. Но и его кисет оскудел, судя по тому, как он с деланным вздохом заглядывал в него. Впрочем, кисет вещь экзотическая, разложи элитарный курильщик на полу свою трубку в разобранном виде со всеми её атрибутами: кисетом, щётками, тряпочками, лопаточками – и спляши над ней ритуальный танец, все бы подумали, что с трубками так и надо. Другими словами, и без предварительного шаманства-жеманства ничего не стоило сказать, что так мол и так, Иланочка, у меня кончился вирджинский мой табачок, я с вами. Кто бы ему на это возразил, что «Шхуна смерти» (Ли и Фшиц, огранич. Новый Орлеан) в олимовскую шхуну²⁶ ни разу ещё не заходила.

Не успела закрыться за ними дверь, как Шварц, мысленно тысячу раз посылавший их ко всем чертям (мы обещали не сквернословить), закурил. Направляя гостей по указанному адресу, он, конечно, не предполагал, что это больше, чем метафора. Откуда ему было знать, что рассказ о нём, как и о прочих здесь, вступил в свой заключительный фазис, а на заключительном фазисе, то есть перед концом, всегда набирает силу всё, что есть в нашей жизни таинственного. В конце всегда расцветает мистика.

Покамест ещё все шло как ни в чём не бывало. Подмигнув Гене, Кварц щёлкнул по пачке – белому торцу с красными уголками, по которому мурлыкало-курлыкало импортное название: его чёрные буквы так и просились в траурную рамочку.

²⁶ Эмигрантский квартал.

– Угощаю, – с нарочито украинским «гэ». – Геня, переносившая чашки в кухню и там складывавшая их в раковину, выдернула сигарету губами.

Кварц метался по квартире, как по энской воинской части в пятницу днём: дяденька мифакед²⁷, отпустишь на шиши-шабат²⁸? Слабая надежда вырваться ещё согрела ему чресла. Шпагат стрелок (7.05, маколет уже закрыт) привёл его в сильнейшее возбуждение. Невозможность совокупиться на стороне представлялась в образе Гени – затаившейся в кухне под прикрытием дверцы холодильника.

– Нет... она еще жрёт...

Но лисанька так отвечала серому волку:

– Ах, Кавчик, представляешь, Лилин торт позабыли поставить на стол. Вот я и думаю: за пять дней ему в холодильнике ничего не сделается, а? И глядишь, маме подарок ко дню рождения есть. Что ты скажешь?

– Мне без разницы, – буркнул Кварц, всё равно кисанька завтра же сожрёт торт.

Он вновь принялся расшагивать по энской воинской части. Бесили вещи, бессловесные послухи его томления, – то пинком, то ещё как-нибудь он срывал гнев на всём, что ни попадалось ему на пути. Бег времени не приближал, а неотвратимо отдала минуту верного свиданья – прости, Нолик... Когда стрёлки стали на пуанты, с благословения Гени Кварц учинил расследование – сильное и посему совершенно безрезультатное. Пока он спускался по тёмной лестнице (не далее как вчера ввинтили новые пробки), воображению рисовалось: бредут они, значит, в суровом молчании через улицу – вдруг из-за угла автомобиль на четвёртой скорости... Или – вдруг феддаины²⁹ совершают очередной акт отчаяния...

– Ну что?

– Мистика... – и, быть может, никогда истина не была так близка к нему (поправок не принимаем, у истины тоже есть ножки, порой даже очень резвые).

– Но я не понимаю, они никуда не могли... их вещи... да гитара тут! Определённо что-то случилось. Кварц, ну что ты молчишь...

Кварца осенило.

– Слушай, да пошли они – куда пошли. Но этого... – в сущности, он довольно лестно отозвался о Борисе как о мужчине, – ...я сейчас отвезу домой. Не спать же Пашке всю ночь с нами.

Порой Геня нуждается в опоре, в дюжем муже, принимающем решения, – неважно, какие.

– Кава, тебе видней.

О, ещё бы! Он видел, что сейчас немногим больше половины восьмого, и если выехать без промедлений, то можно ещё успеть в Рамат-Ган.

– Еду! – резко, по-мужски. Геня любит, когда так. – Какой у него адрес?

– Кавочка, откуда я знаю? Ты же к нему звонил...

– Чёрт! (Или что-то в этом роде.) У меня только телефон.

– А ты на нём поищи. Как будто личность трупа устанавливаешь, – для наглядности Геня манипулирует с воображаемым телом.

Кварца уговаривать не надо, вот только произведённый обыск дал ничтожные результаты. Единственной добычей, если не считать мелких денег и гребешка, был скомканный клочок туалетной бумаги, машинально развернув который Кварц издал ужасающе брезгливое «бэ!»

– Что? Что там?

²⁷ Командир.

²⁸ Пятница-суббота.

²⁹ Персидск., арабск. – люди, жертвующие собой *во имя идеи*; боевики в нек-рых мусульманских странах; напр., египетские Ф. в 50-60-е гг. осуществляли террористические рейды на территорию Израиля. – Прим. редакции.

Ах, попалась, птичка, стой, не уйдёшь теперь домой – попалась всё же Борина «птичка», как ни берег он её, в чужие руки.

Но что же случилось с Лилей и Ноликом, какая бездна поглотила их? История эта печальна, поучительна и, как уже намекалось, загадочна. Только закрылись за ними врата светлой обители Шварца, как они очутились в царстве перегоревших пробок. Ноги их двигались на ощупь и... руки тоже. Что? Не может быть? Честнейшая Лиля? Ну ладно, допустим, мы увеличили число оборотов в минуту, проявили излишнюю поспешность. Следовало подготовить читателя к такому повороту парой-другой фраз, как это, возможно, сделал Нолик. Возможно, это даже произошло, когда они уже поднимались наверх, отягощённые двумя пачками «Тайма». Очень вероятно, что Нолик поддерживал при этом свою кроткую даму, которая – в отличие от читателя – была не вполне тверёзая. Не исключено также, что дама – здесь, как и читатель, – была несколько удивлена, но отпора не дала, а позволила событиям следовать своим чередом – между прочим, известен такой род целомудрия: ограничиваться, так сказать, состоянием непотворствования, следовать выражению «руки опускаются». Наконец, не была ли Лиля в глубине души готова к тому, что Нолик – не менее Кварца рыцарь своего тела – в комбинации *он, она, тёмная лестница* даст волю своему рыцарству.

А вот что говорил при этом Нолик. Диаграмма паха.

– Я враг парфюмеров, но вашим духам я должен отдать справедливость (ниже то же самое он скажет и о её белье: – Я враг всякого белья, кроме постельного...), они создают вокруг вас ауру неприхотливой отзывчивости, на которую вправе рассчитывать иной истомившийся странник – о! Я отлично понимаю вашу склонность к созданиям несовершенным, или, точнее, незавершённым. Эскизность привлекает нас не только в искусстве, но и в жизни. Она дает простор нашей фантазии, дорогая, здесь ступенька, позвольте – не благодарите, да, фантазии, возносящейся ввысь по ступеням бесчисленных допущений, щедро ссужаемых нам сослагательным наклоном, не так ли, Иланочка? Давайте отдохнём, куда спешить, когда впереди вся жизнь. Да, так о несовершенных творениях Божьих, которые мы находим до того привлекательными, что самоотверженно готовы просиживать часами у их пьянящего одра. Верно, дефект привлекателен. Он – случайная щель, пропускающая наружу свечение души, он – не запланированный зодчим выступ в стене, за который цепляется рука штурмующего какой-нибудь неприступный илион. Иные, не веря в небрежность зодчего, усматривают в ней провокацию. Но это уже слишком, это рабанут нам не велит... Моя Ипатия ещё удерживает нить? А впрочем, не трудитесь. Сожгите в своей чудесной доброй головке всю эту книжную дребедень, которой обременяет вас никому не нужный старый чудак. Взгляните на меня, взгляните на глупца (увлекшись, Нолик позабыл, что Лиля не сова, а читатель – что сгустилась тьма). Старый пень вообразил себя способным пленить берёзку, поверил в родство душ... Что тебе до моих многомудрых, а значит, бесконечно печальных раздумий, как сказано в одной антинаучно-популярной книге. Год-два, и ты, которая так блестяще выклитировалась³⁰ в земле Эдома и Содома заботами мистера Джоны, – ты пройдёшь мимо умирающего нищего барда и не узнаешь его. Слушай, Илана, мало кто знает это. Я тяжело болен, у меня удалён желчный пузырь – дай руку, вот... Любимая женщина променяла меня на тугую мошну. В тот самый момент, когда я в бреде повторял её имя на больничной койке, она развлекалась в Савьоне... Так имеет ли право сей удачливейший из мужей – в горестных кавычках – имею ли я право ещё толковать тебе о том, что есть жизнь, что есть любовь?! О, прочь руки, жалкий наглец!.. Не смей касаться

³⁰ Абсорбировалась.

материи столь тонкой... Боже, какое у вас бельё! Я враг всякого белья, кроме постельного и столового, но у этой нежнейшей ткани так мало общего с обычной подпругой... (Со всхлипом.) Лилит! Не откажите... я умоляю... только раз позвольте мне погладить общности... да-да, теперь мы владеем ими сообща... одинаково дорожим ими... ого! Наш девиз – упругая пассивность.

И тут совершилось невероятное – по крайней мере, с точки зрения науки. Желая испытать, не врёт ли «наш девиз», Нолик тыльной стороной кисти, тяжёлой, пружинисто-безвольной, надавил на Лилину грудь. Поначалу испытатель ощутил то же, как если б это был хорошо надутый воздушный шарик – вот-вот заскрипит – и блаженствовал, как дитя, пока вдруг в гневе не понял, что если кто здесь и надут, то это он сам. Пять лучеобразных косточек оказались упёрты в костный забор Лилиной грудной клетки, всё же прочее исчезло, как мыльный пузырь.

– Как прикажете это понимать, сударыня?

Лилия не только не поняла, какие роковые перемены произошли с её составом, но даже грозные нотки в Ноликовом голосе уловила не сразу. Нолик тряс в воздухе тряпичную плотью, которую держал между средним и указательным пальцами, приговаривая:

– Вот это, вот это как прикажете понимать?

Лилия схватилась за грудь, и – этуод по системе Станиславского: «пропажа бумажника».

– Да тише вы, чёрт побери, не так правдоподобно...

– Что же вы со мной сделали... – прошептала она. – Что же вы... – но поскольку за вторым разом это должно было быть выкрикнуто (всё по той же системе), Нолик быстро зажал ей рот.

– Вы что! Совсем с ума сошли? Сейчас все сюда сбегутся... Главное, мне нравится: я с ней сделал. Вы что, не знаете, что женщина, у которой косметический протез, ни при каких обстоятельствах не должна забываться?

Лилия редко, но пронизывающе глубоко, словно подпрыгивая, дышала. В промежутках между ёлочками, как изобразил бы эти спазмы осциллограф, ей удавалось говорить.

– Протез? Какой... протез, никакого протеза... о чём вы гово... рите, у меня не было никакого протеза... (ык!) я нормальная девушка... здоровая, мистер Джона Полляк... – свидетельство на этот счёт заокеанского джентльмена, безусловно, не могло вызвать никаких сомнений, вопрос лишь, в чём? Лилия, во всяком случае, дальше не продолжала.

– Но... такого не бывает, – сказал Нолик, чувствуя, как Лилина икота начинает передаваться и ему. – Не хотите же вы сказать, что ваша левая грудь, которую сейчас спустило... что это была самая обыкновенная женская грудь?

Вместо ответа Лилия тихонько заплакала.

– И вы прежде ничем её... не нагнетали – ни парафином, ни чем иным?

– Нет, – прошептала Лилия, совсем убитая.

– Ну, не плачьте, давайте разберёмся, как это могло быть. – Нолик чиркнул спичкой. – Подержите. Вот так, хорошо.

Лилия держала спичку, прикрывая щитком ладошки дрожащее пламя. Когда спичка догорела, она зажгла следующую, затем ещё одну... Нолик походил теперь на какую-то невероятную стряпуху, миллиметр за миллиметром исследовавшую лист отлично раскатанного теста, свешивавшегося с руки, как предметы в известном сюрреалистическом шедевре. Тщетно искал Нолик прореху, через которую джин мог выйти из бутылки.

– Только, пожалуйста, осторожно.

– Ну что вы, конечно.

Нолик осторожно извлёк из другого чехольчика наполненный сосуд, осмотрел и так же осторожно вправил назад.

– Знаете, попытайтесь её как-нибудь разнять, а я попробую вот что...

Лиля стала разлеплять склеенные внутренним вакуумом стенки, Нолик тем временем, припав ртом к маленькому мундштучку с краю, раздувался соловьём-разбойником.

– Проклятье... – проговорил он, отдуваясь и вытирая губы. – Что же делать? Этажом выше послышался шум и мелькнул свет.

– Не дышите...

Они распластались по стенке (ну совсем как Лилина злополучная грудь). Ладно, читатель, хватит тебя донимать. Всё равно конец этого рассказа повисает в воздухе, и мы решительно не видим способа, как самим выйти из создавшегося положения и вывести из него своих героев. Мимо прошел Кварц, дважды, вниз и вверх.

– Мистика... – дверь захлопнулась.

Мы перебрали несколько вариантов конца, включая и счастливый. Мы заготовили одну любопытную фразу и намерены ею леиштамеш(ь)³¹ направо и налево: «Число персонажей в рассказе настолько меньше числа возможных их прототипов, что если первых поделить на последних, то на долю каждого придётся сущий мизер – даже и не обидно никому».

Что касается упомянутого счастливого конца, то мы готовы предложить его, так сказать, в рабочем порядке, в виде экскурсии, что ли, в творческую лабораторию автора – но никак не более. Читаем: «Конец счастливый. Лилю увозят в больницу, где ей накачивают грудь. Там же заодно ей делают пластическую операцию. Борис так и не узнает, что у нее была заячья губа. Они женятся, и м-р Дж. П. присылает им миллион. Под влиянием пережитого Борис исправляется, становится милым и доверчивым. 30 тысяч (IL? \$?) он дает Q. на открытие собственного дела. Нолика по просьбе трудящихся унесли черти, и он теперь в Америке. У Пашки тоже полный порядок: соседский Арик может подавиться своими конфетами – Пашка их в гробу видал».

*Декабрь 1977
Црифин – Цаялим*

³¹ Пользоваться.

ДВА РАССКАЗА

(из цикла «Непедагогические рассказы»)

ЖЁЛТЫЙ ЛИСТ, ЗЕЛЁНЫЙ ЛИСТ...

Большой земной шар вращался, не замедляясь и не ускоряясь, ночь аккуратно сменяла день, а маленький земной шарик забуксовал – он вертелся туда-сюда, не в силах сделать полный оборот, и день перестал отличаться от ночи. У маленького земного шарика сломалась ось. Наступило время отчаяния.

Стоя на коленях, обхватив крест-накрест кистями рук плечи, Хеджихог, он же Ёжик, мерно раскачивался взад-вперёд, словно буддийский монах во время молитвы. Земля была холодная, стылая и по-весеннему влажная, небо – серое и безрадостное, но это его уже не касалось, большой шар перестал для него существовать. В голове Ёжика гудел колокол, многократно вызванивая одно и то же: «Дря...нь! Дря...нь! Дря...нь!».

Время от времени колокол визуализовался то как раскрытый рот с напояженными губами, в чёрной глубине которого бился розовый шершавый язык, то как чёрная юбка, которую попеременно натягивали колени, обтянутые телесного цвета чулками.

Всё это: слова, губы, язык, колени и чёрная юбка принадлежали двадцатисемилетней учительнице географии – Барбаре Станиславовне Сташевской, в школьном мире именуемой Барби. Хеджихогом или Ёжиком в этом же мире называли Игоря Малышева – ученика девятого класса школы для детей, озабоченных естественными науками.

Историю о маленьком земном шарике стоит начать с того, что семья Игорька состояла из него и мамы – тридцатипятилетней Анны Павловны Малышевой, врача-терапевта районной детской поликлиники и, по совместительству, матери-одиночки. Сына Анна Павловна родила от однокурсника-ловеласа, который, узнав о предполагаемом рождении ребёнка, быстренько перевёлся в мединститут провинциального городка, по окончании которого благополучно отъехал в Америку.

Родившийся мальчик был обречён на страдания: в детстве он испытал все прелести безотцовщины, но юность оказалась еще жёстче. Терновый венец дополнил шип взаимоотношений с девушками. Унаследовав от отца броскую внешность: роскошные иссиня-чёрные, прямые, как у индейца, волосы, голубые глаза, тщательно вырезанный нос с небольшой горбинкой, маленькие аккуратные губы, плотно прижатые уши с закруглёнными мочками, выдающийся острый подбородок, широкие плечи, большие жилистые руки, узкие бёдра и длинные ноги, Игорёк унаследовал от матери неистребимую любовь к чистоте, которая, не ограничиваясь крошками на кухонном столе, распространялась на человеческие отношения.

Быстрее развивающиеся одноклассницы не могли не заметить эту ахиллесову пятю Игорька. На одной из вечеринок подвыпившая Катька Волкова, по прозвищу Пельмешка, затащила Игорька в ванную и спешно принялась стаскивать с себя через голову чёрную майку. Выскользнули две груди, что само по себе не явилось

для Игорька неприятной неожиданностью, но резкий запах потного человеческого тела вызвал отвращение. Игорёк отодвинул Катюку и вышел из ванной.

– Ты что, голубой? – заорала оскорблённая и подогретая пивом девушка.

– Нет, я брезгливый, – ответил, не оборачиваясь, Игорь.

Катюка полезла царапать ему морду, но их растащили. Пельмешку, вдавную в ярость, отпоили пивом, а Игорька не стали трогать, зная отчаянный характер. В гневе он способен был разбить голову о стену или выпрыгнуть из окна. Но из-за этого случая за ним закрепилось прозвище Хеджихог, или по-русски Ёжик, а одноклассницы в разговоре часто называли его «Хеджихог ин Фог», т. е. «Ёжик в тумане», и выразительно крутили пальцем у виска.

Барби появилась в школе в сентябре и мгновенно привлекла всеобщее внимание, да она и не могла его не привлечь. Роскошная блондинка с холодными серыми глазищами и слегка вздёрнутым носиком, затянутая в умопомрачительные блузки и облегающие юбки с боковыми разрезами от пояса, сквозь которые, не стесняясь, сверкали чулочные кружева, она вызывающе отличалась от серых мышкетчиц, давно забывших свой пол в поисках средств существования.

Во всём разбирающиеся девушки тут же оценили, что «на ней висит не на одну штуку», и озадачили школьную общественность вопросом: «А на кой ей это надо?».

Между тем Барби попала в школу из-за своей польской вспыльчивости. Выясняя отношения с третьим по счёту мужем, резонно заметившим, что ей не на что будет существовать, если она откажется от его финансовой поддержки, Барби заявила, что лучше пойдёт в школу преподавать географию, на что у неё имелся соответствующий диплом, чем будет кормиться из поганых рук. Как сказала, так и поступила.

На первом же уроке географии она «сделала» Пентхауса – Володьку Мережкова, способного загнать в краску многих любителей порнухи. Барби проходила по ряду между парт, когда он раскрыл журнал с девицами на самой срамной фотографии. Остановившись возле Пентхауса, она сказала:

– Убери. Штаны испачкаешь.

– О своих позаботься, – ухмыляясь, отпарировал Пентхаус.

Класс не успел заготовать, Барби среагировала быстрее и наглее:

– Обо мне не беспокойся, у меня прокладка «Либресс инвизибл». Есть запасные, могу поделиться с тобой. Тебе какие лучше, с крылышками или без?

Она говорила не смущаясь, не краснея, не опуская глаз, чётко и размеренно, словно речь шла о притоках реки Амазонки или полезных ископаемых в Восточной Сибири.

– А ещё я дам тебе презерватив, чтобы ты в него собирал слюни, просматривая фото для стариков-импотентов.

Барби не собиралась останавливаться, а Мережков был не настолько нагл, чтобы отвечать на такое. Он потупился и убрал журнал.

Ёжик, как, впрочем, и остальные, на протяжении всей словесной стычки не сводил с Барби глаз, но он не слышал слов, да и не вслушивался. Барби стояла к нему вполборота на расстоянии вытянутой руки, скрестив руки на груди и презрительно сверху вниз рассматривая Володьку. Волосы её были подобраны вверх, и от этого шея казалась ещё длиннее. А глаза... Какие были глаза!

Хеджихог влюбился мгновенно и намертво, он потерял интерес ко всему, кроме уроков географии: не учился, не ел, не спал, только грезил. Его будни заволоч туман, из которого временами появлялась светлая богиня и говорила, обращаясь к классу: «Тема нашего сегодняшнего занятия...»

Мама сразу заметила его состояние и точно поставила диагноз.

– Кто она? – спросила Анна Павловна.

– Учительница, – просто ответил Ёжик.

– Господи! Горе-то какое! – вырвалось у мамы, и она обняла несчастного Игорька.

Ёжик уткнулся в мамину грудь головой и рассказывал, рассказывал, какая она, какая она, а мама плакала.

Барби не могла не заметить влюблённости Ёжика, и ей, не обделённой мужским вниманием, было забавно наблюдать за его трогательным поведением. Через какое-то время она стала использовать Ёжика в популистских целях. Уроки географии были красочными и захватывающими, так как, поездив по миру с тремя состоятельными мужьями, выполнявшими любые её прихоти, Барби могла рассказать увлекательные подробности о жизни на Тихоокеанских островах, о сафари в Центральной Африке и об индейцах Южной Америки. Время от времени она прерывала рассказ и спрашивала Игорька:

– Ну, господин Малышев? Какие колючие млекопитающие населяют Австралию?

– Сумчатые ёжики, – счастливо улыбаясь, отвечал Игорёк.

Богиня обратила на него внимание. Класс, купленный дешёвой шуткой красивой и уверенной в себе женщины, услужливо ржал.

Игривые взаимоотношения резко изменил случай. Барби плыла по безлюдному коридору, следом за ней шел Ёжик. Навстречу им попался учитель физкультуры. Поравнявшись с Барби, он её громко поприветствовал, Барби снисходительно кивнула. Позабыв о Ёжике, зло улыбаясь, физрук вслух громко произнес:

– Я когда-нибудь эту сучку так...

Как – он не успел рассказать. Игорёк ударил его наотмашь по лицу, но справиться с накаченным бугаём ему было не под силу. Физрук, служивший в ВДВ, умело пнул его ногой в живот, так что у Ёжика потемнело в глазах, но он выпрямился и вцепился как клещ в ненавистную бычью глотку. Здоровенные лапы сжали Ёжику руки, так что он не мог ими пошевелить, и тогда Хеджихог откинул голову и ударил лбом по носу и губам физрука. Тот взвыл от боли и опрокинул Ёжика на пол. Неизвестно, сколько бы они катались по полу, если бы подбежавшие Пентхаус и Сашка Дорошенко, по прозвищу Травкин, их не растащили.

Противники тяжело дышали, с ненавистью глядя друг на друга. Коридор наполнился школьниками и учителями, выбежавшими из кабинетов. Зрители прибывали и прибывали, располагаясь вдоль стен коридора, а площадка с тремя главными действующими лицами – Барби, Ёжиком и физруком оставалась свободной. Барби слышала и видела, но она словно окаменела, обернувшись на шум драки. Никто из зевак не знал, что произошло, но все ясно видели, что что-то связывает этих троих: окровавленных юношу и мужчину, разделённых двумя шагами, и молодую женщину в пяти шагах от них. Наступила тишина, и зрители застыли в ожидании финала, который сыграла Барби. Она подошла к Ёжику, на ходу доставая из рукава белоснежный платочек, отёрла от крови его лицо, а потом, обхватив его голову руками и слегка наклонив, поцеловала в губы. Скомкала платок, запихнула его в руку Ёжика, неспешно повернулась и ушла.

Все трое отказались что-либо объяснять директрисе. Учитель физкультуры ушёл из школы по собственному желанию. На прощание он отозвал Ёжика в сторонку и сказал:

– Я прошу у тебя прощения, перед тобой я виноват, – он чётко выделил «перед тобой» и протянул Ёжику руку. В сущности, физрук был неплохим парнем, и Ёжик пожал протянутую руку.

– Но ты ходишь по краю пропасти, – физрук хлопнул Игорька по плечу, и на этом разговор закончился. Как стало известно, у Барби просить прощения он не стал.

С этого момента Ёжик стал признанным другом Барби. Таскать за ней тетрадки и ноутбук, приносить для неё минеральную воду и кофе – стало его обязанностью. Эпатируя пожилых учителей, Барби ходила по коридору, полуобняв Ёжика

и что-нибудь шепча ему на ухо. Как-то она во всеуслышание сказала новенькой восьмикласснице, засмотревшейся на Игорька:

– Ты на моего Ёжика не пялься, а то я тебе серёжки вместе с ушками оторву и к попке приклею. Будешь ты серебристым мотыльком. – Высказывание мгновенно распространилось по всей школе.

Идиллия сохранялась до того дня, когда Барби сломала каблук туфельки. Выйти из школы, припадая на одну ногу, даже если надо доковылять до вызванного такси, – это было ниже достоинства Барби. Конечно же, в мастерскую после занятий помчался Ёжик, бережно сжимая в руке туфельку своей королевы. Пока он ходил, пока в мастерской закрепляли тонкий каблук, школа опустела, никого, кроме Барби в кабинете географии и охранников на проходной, не осталось. Когда Ёжик вернулся, она сидела в пустом классе и читала книгу.

– Вот, – выпалил Ёжик, протягивая туфельку.

– Можешь надеть сам. Заслужил, – смеясь, сказала Барби.

Ёжик опустился на колени и, аккуратно приподняв маленькую обтянутую тонким чулком ножку Барби, надел на неё туфельку. Ровные круглые коленки, выглядывающие из-под чёрной юбки миди, заворожили Хеджихога, и он уткнулся в них головой, обхватив руками ноги Барби.

– Эй, эй, – запротестовала Барби, – это уже слишком.

Она встала и нетерпеливо перебирала ногами, попавшими в капкан, но Ёжик не разжимал рук. Барби начала заводиться, и, наконец, её терпение лопнуло.

– Может, ты нюхач? Тогда я тебе помогу, не стесняйся, – Барби задрала юбку, обнажив узкие белые трусики, но Ёжик не поднял головы.

– Поняла, – протянула Барби, – тебе хочется увидеть. Ты в своё время не подсмотрел, как Это выглядит у мамы.

При слове «мама» Ёжик вздрогнул, разжал руки и медленно поднялся, глаза его потемнели.

– У мамы ЭТО выглядит хорошо. У мамы ЭТО не может выглядеть плохо, потому что через ЭТО мама меня родила.

Больше он ничего не сказал, повернулся и пошёл к двери. Барби поняла, что сморозила гадость. Она оправила юбку, догнала Ёжика и прильнула к нему сзади, обвив руками его шею.

– Ну прости! Ну прости! – быстро говорила Барби, целуя его затылок. – Всю жизнь возле меня кобели тёрлись, и я возле них сухой стала. Ну прости! Ты же добрый Ёжик.

Конечно, Ёжик простил. Когда позволяло расписание уроков, они стали задерживаться в школе. Барби садилась на стол. Ёжик обнимал её ноги и клал голову ей на колени, а она ерошила его упрямые жёсткие волосы.

Была еще одна причина, из-за которой Барби не противилась этой забаве. Непрерывно в течение семи лет находясь замужем, она нуждалась в мужчине. Двухмесячное воздержание, в котором пребывала Барби, дурно сказывалось на её характере: она стала нервной и раздражительной. Романтические объятия Ёжика отчасти её успокаивали, но унять загнанное внутрь желание не могли.

Как-то Барби набила большую кожаную сумку книгами, взятыми в библиотеке, объяснив, что надо серьёзно позаниматься, и Ёжику пришлось тащить сумку к ней домой. Он даже не успел осмотреться в её квартире. Барби молча поволокла его в ванную и, раздев, поставила под душ, потом разделась и вымылась сама. Не выпуская руку Ёжика из своей, она привела его в комнату и положила на диван.

Казалось, Барби обезумела и вела себя в постели с Ёжиком, как ненасытный зрелый мужчина, которому досталась на одну ночь юная, неопытная и по уши в него влюблённая девица. Наслаждение, которое испытал Ёжик от близости с женщиной, не смогло целиком затмить разрушения волшебной сказки. Как будто в домике феи возле ложа из розовых лепестков оказалась шкатулка с противозача-

точными средствами. В какой-то момент у Ёжика мелькнула мысль, что Катька Волкова просто не догадалась помыться под душем.

Случившееся нельзя было сохранить в тайне. Одноклассники Ёжика сразу почувствовали, что он и Барби переспали, и, как любая молодежь, приняли сторону осуждаемых. На уроках географии вместо непрекращающегося гама воцарилась тишина, класс внимательно следил за быстрыми и пронзительными взглядами, которыми обменивались любовники. Девушки млели, когда Барби, проходя мимо Ёжика, забывалась и нежно проводила по его волосам рукой или, остановившись возле него, склонялась над его книгой и касалась своей щекой его щеки. Класс молчаливо взял на себя патронаж над этими двумя, потерявшими рассудок, делом чести стало укрытие их связи. Как-то во время перемены, когда все демонстративно вышли из кабинета географии, чтобы дать возможность Барби и Ёжику нацеловаться, появилась директриса Раиса Иосифовна. Она искала Барби, и до того, чтобы войти в кабинет, увидеть безобразие и устроить скандал, ей оставалось пройти ровно три шага... Последовавший поступок Пентхауса можно было бы сравнить по героизму с прыжком в бассейн, наполненный голодными акулами. Он догнал директрису и со словами: «Вот это ж...па!» сильно хлопнул её по правой, действительно огромной, ягодице. От рёва разъяренной Раисы Иосифовны описался один из первоклассников этажом ниже. Пентхаус стал божиться, что не узнал её. Озверевшая директриса впала в транс и орала:

– Что не узнал? Мою ж...пу не узнал! Лжёшь!

Надо заметить, что упрек её был справедлив, не узнать её ж...пу было действительно невозможно. Друга стал выручать Травкин:

– Раиса Иосифовна, его нехорошие пацаны сигаретой с травой угостили, и он сейчас ни черта не соображает. Сколько раз я ему говорил, чтобы не стрелял у незнакомых людей. Можно я ему, гаду, по морде дам? Как он смеет директора по ж...пе бить!

– Ты кому по морде – мне по морде? Да я тебя сам урою! – Пентхаус и Травкин уже готовы были сцепиться, когда в очередной раз директорша заорала. – Прекратить! Я буду с вашими родителями разбираться! – И ушла.

Родителей она вызывать не стала, осознавая комедийность ситуации, и скандал потихоньку угас.

После недели объятий и ласк урывками воскресенья Барби и Ёжик проводили в постели. Пресытившись и успокоившись, Барби ставила диск Вертинского и, положив голову на грудь лежащего Ёжика, слушала. Ей нравились все песни, а Ёжику только «Пани Ирен»:

Разве можно забыть эти гордые польские руки...

Как-то, слушая «Сумасшедшего шарманщика», – «Мы осенние листья, нас всех бурей сорвало...» – Барби сказала:

– Мы с тобой эти осенние листья. Я жёлтый лист, а ты зелёный, и я тебя накрыла.

Часто Барби переворачивала Ёжика на живот. Под его правой лопаткой три родинки составляли контур ёжика, Барби водила по ним пальцем и говорила:

– У тебя даже лейбл есть, что ты Ёжик.

В конце концов о том, что сын живёт с женщиной, и более того, учительницей, узнала мама. Анна Павловна стирала вещи Ёжика, и из брюк выпал надорванный пакет от презерватива. Когда поздно вечером Ёжик появился в доме, мама спросила.

– Ты с ней спишь?

– Да, мама, – разрушив слабые сомнения, подтвердил Ёжик.

На следующий день Анна Павловна, отменив приём в поликлинике, позвонила Барби. Встреча произошла в парке. Расположившись на скамейке, женщины какое-то время молча рассматривали друг друга. Их разделяло восемь лет, но ухоженная и умело покрашенная Барби ощущала себя зрелой дамой, а простенько одетая и почти не пользующаяся косметикой Анна Павловна чувствовала себя девчонкой.

– И эта лахудра собирает меня воспитывать, – подумала Барби.

– Эту белокурую бестию не проймёшь, – подумала Анна Павловна.

– Давайте начнём, – протянула Барби. – Можно на «ты», – насмешливо продолжила она, – ведь мы, можно сказать, родственницы.

– Ты убиваешь моего сына.

– Убивают живых – он ещё не жил.

– Жизнь – это постель?

– Жизнь – это любовь.

– Даже если это любовь несовершеннолетнего мальчика?

– Тебя бы больше устроило, если бы он мастурбировал в ванной или тёрся по углам с малолетними потаскухами? Одна из них родила бы тебе золотушного внука, и ты бы возилась с этим выродком до его совершеннолетия, проклиная его сопливых родителей.

– Даже в последнем случае у меня бы остался сын.

– Если тебе не с кем нянчиться, заведи собаку или кошку.

Анна Павловна поднялась, больше разговаривать было не о чем.

– Чтоб твоей груди никогда не коснулся ребёнок, – в сердцах сказала Анна Павловна.

– А твоей чтоб никогда не коснулся мужчина, – весело отпарировала Барби.

Зная, как Ёжик относится к маме, она не стала ему сообщать об этом, смешном для неё, происшествии.

Наступившая зима несколько охладила накал страстей. Отношения Барби и Ёжика приобрели некоторую размеренность и плавность: больше ни с кем не надо было бороться. Уже не скрываясь, они вместе выходили на прогулки и, как два жизнерадостных щенка, валялись в снегу.

Внезапно за три дня до Нового года Барби исчезла. Её домашний телефон молчал, а мобильник оказался отключённым. Когда Ёжик явился к ней домой, то со слов соседней выяснилось, что она уехала на каникулы. Всю новогоднюю ночь Ёжик просидел возле телефона. Он не пошёл веселиться с одноклассниками, и с мамой пить шампанское под бой курантов отказался, заявив, что для него Новый год ещё не наступил. Зимние каникулы Ёжик провалялся на диване с наушниками на голове, слушая один и тот же диск с песнями Вертинского.

В первый после каникул учебный день Игорёк выскочил из дому ни свет ни заря и бросился в школу. Барби не пришла. Она позвонила Раисе Иосифовне во время обеденного перерыва и в категорической форме, не слушая никаких возражений, сообщила, что больше преподавать географию не будет. Звонок был изда-лека.

На Ёжика было больно смотреть. В будни, как заведённый, изо дня в день он ходил в школу, где с утра до позднего вечера сидел в кабинете географии, занимая одно и то же место. Его обходили, как чумного, потому что одноклассники дали ясно понять, что прибьют всякого, кто хотя бы попытается сказать ему слово. Первое время новая учительница географии не знала, как себя вести с Ёжиком, который, не отлучаясь, торчал на всех её занятиях, а потом привыкла, как к необычному предмету, занимающему в кабинете определенное место.

В последних числах марта в субботу утром Ёжик получил заказное письмо из Бельгии. Письмо было от Барби.

– Здравствуй, Ёжик! – писала Барби.

«Три месяца я не давала о себе знать, чтобы ты не наделал глупостей и привык к мысли, что меня больше не будет в твоей жизни. Я вышла замуж и по крайней мере решила свои финансовые проблемы. Извини, но дешёвая одежда и дерьмовая еда не для меня. Какое-то время проживу за границей, чтобы тебе не пришла в голову мысль меня увидеть».

Будь мужчиной, Ёж! Мы неплохо провели время вдвоём. С твоими данными у тебя никогда не будет проблем с женщинами, только относись к ним легко.

Будь счастлив!

Прощай.

Барби

P.S. Если будет совсем тяжело, утешай себя тем, что я дрянь».

Стало тесно, комната сжалась до размеров грудной клетки, в которой бешено билось сердце. Мама обходила по вызовам чьих-то детей и не ведала, что в неотложной помощи нуждается её ребенок. Ёжик лёг на пол лицом вниз, но бетон, покрытый линолеумом, не успокаивал; тогда Ёжик накинул куртку и, захлопнув дверь, вышел на улицу. Не раздумывая, он отправился на ближайший вокзал, где сел в отходящую электричку и примерно через полчаса вышел на незнакомой станции.

Скользя после сошедшего снега тропинка привела его в берёзовую рощу. Ёжик выбрал маленькую полянку и, обхватив руками плечи, стал на колени. Какое-то время он раскачивался, как буддийский монах, в голове гудело: «Дря...нь! Дря...нь», но сердце не унималось. Тогда Ёжик встал, разделся до пояса и, обхватив руками ближайшую берёзу, прижал сердце к её белой коре. Стало легче. Холода он не чувствовал, и не видел наступления вечера, а за ним ночи.

В воскресенье Ёжика нашла собака, которую молодая супружеская пара вывезла для прогулки по весеннему лесу. Овчарка истошно лаяла и тащила хозяев на маленькую полянку среди берёзовой рощи. Ночные заморозки навсегда успокоили Ёжика, он замёрз стоя, обняв ствол берёзы. В кармане его брюк нашли письмо от Барби.

В четверг в школе отменили занятия: старшеклассники и учителя прощались с Хедживогом. Анна Павловна не захотела, чтобы увидели гримасу отчаяния и боли, застывшую на лице сына, и Ёжика хоронили в закрытом ящике. Девчонки, обнявшись, плакали, мальчишки втихомолку вытирали глаза кулаками. Не плакала Пельмешка, от неё разлило перегаром, её лицо опухло и стало безобразным. Когда ящик поместили на дно ямы, она опустила на колени и низко наклонила голову, так, что спутавшиеся нечёсанные волосы легли на землю. После того как яму засыпали и вместо неё образовался песчаный холм, Пельмешка поднялась с колен, подошла к Анне Павловне и поцеловала ей руку. Анна Павловна положила её бедную голову на свое плечо и заревела.

На следующий день Пельмешка не пришла на занятия. После обеда в школе появились её мама и старший брат. Пельмешка исчезла вместе с музыкальным центром и мотоциклом брата, оставив маловразумительную записку: «Сашка, прости за мотоцикл». Подключили милицию, но поиски не дали никакого результата.

Объявление явилось через три дня в лице директрисы Раисы Иосифовны, ворвавшейся на урок физики с газетой в руках в сопровождении Анны Павловны и учительницы французского Жанны Владимировны.

– Жанна Владимировна, переведите, пожалуйста, ещё раз! – сказала директриса, и со значением добавила, – а потом поговорим.

Заметка из бельгийской газеты называлась «Русские беспорядки». В ней сообщалось, что в городе Левине русская девушка-тинейджер облила красной краской хорошо одетую молодую женщину, выходящую из собственного дома в сопровождении телохранителя. Телохранитель и шофёр женщины, выбежавший ему на помощь, с трудом справились с отчаянно дерущейся девушкой, находившейся

в состоянии среднего алкогольного опьянения. Девушка, обращаясь к молодой женщине, иступленно выкрикивала странную фразу, которую шофёр-русский перевел как «На тебе, собака, кровь ежа».

– На тебе, сука, кровь Ёжика, – поправил Пентхаус.

– Обойдёмся, Мережков, без твоих комментариев, – оборвала Пентхауса Раиса Иосифовна.

Далее в заметке сообщалось, что в полицейском управлении, куда привезли всех участников скандала, выяснилось, что молодая женщина Барбара Сташевская тоже русская и проживает в Бельгии всего три месяца. Давать какие-либо объяснения она отказалась, а её просьба не подвергать уголовному наказанию девушку Екатерину Волкову не возымела действия. Бельгия, слава богу, не Россия, и в ней действуют законы. Судья г-н Бирлинг вынес приговор, согласно которому за нарушение общественного порядка и безвизовый въезд в Бельгию Екатерина Волкова в течение двух месяцев будет отбывать срок в тюрьме для несовершеннолетних, после чего её вышлют из страны. Жанна Владимировна закончила чтение.

– Мочиться мы хотели вместе с пис-мальчиками на эту Бельгию и её законы, – уруго выразил общее мнение Травкин.

– Дорошенко! – прикрикнула Раиса Иосифовна.

– Так вот, во избежание таких выходов я представила анкетные данные всего класса вместе с фотографиями в соответствующее ведомство.

– Может, электронную почту во всей стране отключите? Ничего, наши везде. Этой суке и в Бельгии, и на Таити мало не покажется, – насмешливо отозвался Пентхаус.

– Ребята, – вмешалась до этого молчавшая Анна Павловна, – я прошу вас, не омрачайте память Игоря. Не преследуйте эту женщину. Пожалуйста! – и вышла из класса.

Пельмешка появилась ровно через два месяца. Она односложно и неохотно отвечала на расспросы, однако от участия в вечеринке по поводу своего возвращения не отказалась. Июнь выдался жарким, и от выпитого пива стало ещё жарче. Ребята закатали майки и рубашки, оголив животы. Катя секунду в нерешительности держалась за майку, а потом махнула на что-то рукой и последовала общему примеру. Раздался чей-то удивлённый вздох: на животе Пельмешки был вытатуирован цветной портрет Ёжика, вокруг которого вилась надпись: «Прости меня, моя любовь».

– За любовь, – сказала Екатерина Волкова и подняла стакан пива.

– За любовь, – эхом отозвались остальные.

Прошло четыре года. Одноклассники Игоря Малышева ещё не успели обзавестись семьями и неотложными делами, но собирались всё реже и реже: появились новые друзья и новые интересы. На встречи никогда не приходили Мережков, Дорошенко и Волкова. Пентхаус учился на третьем курсе престижного института и, встречаясь с бывшими однокашниками, слегка кивал головой, Травкин отбывал наказание за наркотики, а Пельмешка проводила время возле пивных ларьков, зарабатывая на кружку пива историей о Ёжике, которая сопровождалась демонстрацией портрета на животе.

Анна Павловна вышла замуж за славного человека и взяла его фамилию – Бахметова. Как-то вечером она сидела в своём кабинете и заполняла последнюю медицинскую карту, а её приемная дочь Юленька, студентка первого курса мединститута, забежавшая за Анной Павловной в поликлинику, что-то возбуждённо рассказывала. Раздался стук в дверь, и в кабинет вошла женщина.

– Приём на сегодня окончен, – не отрываясь от писанины, устало сказала Анна Павловна.

– Я попрощаться, завтра у нас самолёт, – попросила женщина. Голос её казался знакомым. «Какая-нибудь назойливая мамаша», – подумала Анна Павловна.

– Ой! Какой зайчик! – вдруг сказала Юленька.

– Я не зайчик! Я Ёик! – раздался серьёзный детский голос.

Анна Павловна вздрогнула и подняла голову. На неё смотрела слегка заматеревшая, но всё такая же красивая Барби. На её руках сидел трехлетний мальчик.

– Снимите с него рубашечку и поставьте на стол, – почти крикнула Анна Павловна.

Барби беспрекословно подчинилась. Анна Павловна приставила стетоскоп к груди малыша и вслушалась, потом бережно повернула его к себе спиной и, резко вскинув голову, изумлённо посмотрела на Барби.

– Не может быть! – начала Анна Павловна.

– Может! – оборвала её Барби, показав глазами на Юленьку.

Анна Павловна развернула малыша и, обхватив ладонями его плечики, спросила:

– Как тебя называет мама?

– Ёик! – ответил малыш.

– Ежик! – медленно повторила Анна Павловна

ПАПА КАРЛО

Спасительный ларёк сверкал разноцветными этикетками пивных бутылок.

«Светлого и холодного», – подумал Папа Карло и полез в карман летней рубашки за деньгами. В кармане лежал проездной билет. Денег не оказалось, он оставил их в пиджаке. В джинсовых карманах звенели ключи, но не было даже мелочи. Стало ещё гаже. До начала урока оставалось пятнадцать минут, а добираться до дома минимум полчаса.

«Боже мой, стакан пива. Стакан светлого холодного пива, чтобы продержаться до обеда.

Как вести уроки математики с такой чугунной башкой?»

Он опустился на край скамейки. На другом краю торопливо и жадно похмелялся какой-то бомж. Папа Карло отвернулся и почти уткнулся носом в открытую бутылку пива. Он поднял глаза, перед ним стояла Машенька Апухтина.

– Выпейте, Дмитрий Сергеевич. Вон как вас колбасит. Не стесняйтесь, все мы часто оказываемся без денег.

Пока Папа Карло маленькими обжигающими глотками пил холодное пиво, Машенька сидела рядом, попыхивая сигаретой. Она раскурила ещё одну сигарету и протянула Папе Карло.

– Благодарю, – сказал Дмитрий Сергеевич и глубоко затынулся.

– Да, видок, – протянула Машенька и пригладила рукой его растрёпанные волосы.

– Как это вас так угораздило? – спросила она насмешливо.

– Перебирал бумаги и наткнулся на фотографию...

– Женщины, – пронциательно продолжила Машенька. – Надеюсь, она не погибла в автокатастрофе.

– Нет, погиб я, когда она меня оставила. Ладно, пойдём на урок.

Дмитрий Сергеевич преподавал математику в старших классах. В свои двадцать шесть лет он успел блестяще закончить мехмат университета, стремительно подняться от рядового программиста до директора крупной фирмы, продающей программное обеспечение, а затем ещё более стремительно рухнуть в пропасть отчаяния и бездеятельности. Он боготворил женщину, ради неё карабкался, задыхаясь, вверх и из-за неё катился, больно ударяясь, вниз. Его подобрал университет-

ский друг Мишка и пристроил преподавателем математики в школу, где директорствавала его матушка.

Практически во всех старших классах уроки математики велись в диалоговом формате: так, единственным учеником 10-го «Б» класса в полном смысле этого слова был маленький, кудрявый и длинноносый Генка Шестаков по прозвищу «Буратино». С ним Дмитрий Сергеевич решал сложные задачи и обсуждал варианты доказательства теорем. Совершенно логично за ним закрепилась кличка «Папа Карло». Чем занимались на уроках остальные двадцать шесть учеников, включая Машеньку Апухтину, его не интересовало. Время от времени он проставлял им в классном журнале тройки, чтобы было основание поставить тройки за четверть.

Уроки проходили относительно спокойно: хамство по отношению к учителю не поощрял серьёзно занимающийся кикбоксингом Артём Вересов, который вырос в офицерской семье и сам собирался стать военным лётчиком. Однако, хорошо понимая, что можно рассчитывать только на себя, он не стремился к открытому противостоянию с «отстоем», расположившимся на последних столах, так как единственный друг Петька Карев, большеглазый, тщедушный поэт, влюблённый в Машеньку Апухтину, не мог оторвать от пола пудовую гирию. Центр «отстоя» составляли Мирза – Сергей Мирзоев, приторговывающий «дурью», связанный с блатными, постоянно тянущий пиво из банок, которыми он набивал рюкзак, отправляясь получать образование, и его верный спутник – всегда обкуренный Денис Сытин по прозвищу Дуремар.

Папа Карло поздоровался с классом и, опустившись на стул, тупо уставился в классный журнал. Надо было как-то вести урок. На выручку пришла Машенька. Слегка перегнувшись к сидящему впереди Буратино, она что-то быстро зашептала ему на ухо, а Буратино понимающе закивал головой.

– Дмитрий Сергеевич, – взвился Буратино, – ту теорему, которую вы прошлый раз доказывали, можно ещё проще доказать.

– Ну что же, Шестаков, давайте доказывайте! Прошу к доске, – облегчённо отозвался Папа Карло.

Он упёрся локтями в стол и опустил лицо на ладони рук, прикрыв пальцами глаза. За спиной что-то бормотал Генка Шестаков.

– Что, учитель, дерьмово с похмела? – раздался резкий голос Мирзы. – Могу пивка предложить.

– Спасибо Мирзоев. Перебьюсь, – ответил Папа Карло, поднимая голову.

– Что зря напрягаться? Кемарьте дальше. Бабки не платят, и одну только куклу выстрогали для вашего театра – Буратино. Все остальные куклы не ваши, – принявший три банки пива Мирза был настроен потрепаться, – им ваша математика на хрен не нужна.

– Вы хотите сказать, что им нужна ваша математика, и претендуете на роль Карабаса Барабаса, поскольку Дуремар уже есть, – Дмитрий Сергеевич улыбнулся и продолжил, – но Вам надо найти золотой ключик, пока до него никто не добрался.

Класс перестал заниматься своими делишками и затих, прислушиваясь к вознившей беседе.

– Найдём, – почувствовав всеобщее внимание, ухмыляясь, заверил Карабас Барабас. Полученное прозвище ему понравилось.

События, произошедшие на следующем уроке математики, вывели класс из вечного сомнамбулического состояния. Началось с того, что черноволосая Машенька Апухтина явилась в школу с волосами, выбеленными до голубого оттенка, уложенными в крупные локоны и украшенными впереди большим белым бантом. Далее, к середине урока математики, на предпоследних столах, кроме Дуремара, заснули двое любителей халявного пива, которых на перемене щедро угостил Карабас Барабас. Деньги у него водились. Но центральное событие произошло

во второй половине урока. Буратино, решая уравнение, в спешке перепутал знак и застыл у доски в поисках ошибки. Папа Карло обернулся, чтобы ему помочь.

– Генка, возле икса в квадрате ты минус вместо плюса записал, – раздался голос Машеньки. Класс ахнул.

– Ё-мое, да это же Мальвина! Как я сразу не просёк! – громко произнес Карабас Барабас. – А где же Пьеро?

– Я костюм для выступления забыл в театре, – отозвался Карев.

– Может, и пудель Артемон есть? – насмешливо спросил Карабас.

– Может, и есть, – обернувшись к нему, ответил Вересов, – только не пудель, а боксёр.

С боксёром Артемоном один на один Карабас шутить не стал.

Мальвина, Пьеро и Артём Вересов подчеркнуто принялись заниматься математикой, причём Карев соорудил себе наряд Пьеро – колпак, длинную рубашку с рукавами до колен – и ходил в нём по школе, вызывая визги радости у мелких школьников. Через месяц Машенька и Артём уже понимали, о чём говорят Генка или Дмитрий Сергеевич, доказывая теоремы, через полтора научились решать стандартные задачи, а четверть заканчивали с оценками «хорошо». Петьке математика давалась трудно, но, благодаря своему упрямству, он честно зарабатывал тройки.

Между тем противодействие Карабаса не прекращалось и принимало новые формы. Вместо алкогольного и наркотического опьянения отстойной братии, чередующегося с её массовым отсутствием на уроках, посыпались жалобы родителей на алкоголика-учителя, недобросовестно преподающего математику их детям.

Накануне выставления четвертных оценок Дмитрия Сергеевича посетила госпожа Мирзоева. Поскрипывая чёрным кожаными пальто, она вошла в кабинет математики на перемене и, не считая нужным здороваться с Папой Карло, потребовала классный журнал. Папа Карло протянул ей журнал и предложил сесть, Мирзоева никак не отреагировала на его приглашение. Закончив изучение оценок сына по математике, она сказала:

– Придётся тройки исправлять на пятёрки. Нам нужна пятёрка в четверти.

– Вряд ли даже при большом желании вашему сыну удастся совершить этот подвиг. Осталось одно занятие, – заметил Папа Карло, – разве только в следующей четверти.

– Подвиг будите совершать вы. Берите ручку и исправляйте, – Мирзоева придвинула к Папе Карло журнал и бросила на него авторучку.

– Вам нужны эти пятерки! Вы и рисуйте! Хоть в каждой клеточке, и не по одной, а по две, – засмеялся Дмитрий Сергеевич, – только, пожалуйста, быстрее. Мне надо отнести журнал в учительскую.

– Ты что, не понял? – голос Мирзоевой стал срывать, – я тебе заплачу.

– Понял! Понял! Но мне надо сходить в учительскую узнать, почём нынче пятерки. Как бы не продешевить. А может, лучше я вам чистый классный журнал продам, чтобы вы расставляли в нём отметки по своему усмотрению? – Дмитрий Сергеевич продолжал веселиться.

– Ты, алкаш подзаборный, за каждую пятёрку плачу пятьдесят долларов, – завелась Мирзоева, – тебе до конца года хватит на похмелье, да ещё и на дешёвую шлюху останется. На вокзале подберёшь себе какую-нибудь потасканную. Отмоешь, и будет твою постель согревать, – Мирзоева, видимо, навела справки о личной жизни Папы Карло.

– Дмитрий Сергеевич, соглашайтесь! – раздался голос Машеньки Апухтиной, вернувшейся за забытой тетрадью, – но с условием, что она сама будет постель согревать, а то от вокзальной шлюхи можно нехорошей болезнью заразиться. Да и для неё прямая выгода: долларов пять из пятидесяти сэкономит, отдаст натурой.

– Ах ты сучка, – зашипела Мирзоева.

– Конечно, сучка, – согласилась Машенька, – но без морщин на лице, без свисающего до колен живота и без кривых волосатых ног, затянутых в чёрные колготки.

Мирзоева от негодования потеряла дар речи и, брызгая слюной, выскочила из класса.

– Должен заметить, – произнёс после короткого молчания Папа Карло, – что это касается только меня.

– Ошибаетесь, – возразила Машенька, – это касается нас всех.

Очень быстро её слова подтвердились. Когда Машенька возвращалась через сквер домой, дорогу ей преградили Карабас Барабас и Дуремар.

– Есть разговор, – сказал Карабас, – отойдём в сторону.

Машенька встала под дерево и закурила сигарету, её обступили Карабас и Дуремар.

– Мать говорит, что ты обозвала её проституткой?

– Проституткой я её не могла обозвать. Это – профессия. Если бы я обзывала, то обозвала бы шлюхой. Это – образ жизни.

Чтобы не видеть наклоняющуюся к ней рожу Мирзоева, Машенька стала рассматривать пепел на кончике дымящейся сигареты.

– Это ты шлюха, – прошипел Карабас Барабас. – И сейчас, шлюха, ты меня поцелуешь.

Жирные мокрые губы Карабаса Барабаса приблизились к лицу Машеньки. Отклонять голову было некуда, и Машенька воткнула в эти губы зажжённую сигарету. Мирзоев взвыл и сильно ударил Машеньку по лицу.

– Эй, мерзавец, Мирзоев, – раздался окрик Дмитрия Сергеевича, – тебе никто не говорил, что женщин бить нельзя?

Карабас Барабас повернулся на голос, и стремительно приближающийся Папа Карло со всего маху врезал ему в челюсть. Больше ничего совершить Папа Карло не успел. Пустая винная бутылка, управляемая пьяным Дуремаром, опустилась ему на голову...

Дмитрий Сергеевич очнулся утром с перевязанной головой в больничной палате. Первое, что он увидел, это сидящую возле себя Машеньку. Она сильно осунулась, было видно, что она не спала прошедшей ночью, и тёмные круги под глазами практически слились с лиловым синяком на правой щеке. Улыбнувшись через силу, Дмитрий Сергеевич произнёс:

– Ну что, мать Мария? Буду жить?

– Да, – помолчав, сказала Машенька – и добавила, сжав ему руку, – со мной.

– Я ненадолго уйду, мне надо хотя бы умыться. Жди меня, я скоро вернусь.

Она ушла, но после обеда вернулась, и не одна. Вместе с ней ввалились Генка Шестаков, Артём Вересов и Петька Карев. У Артёма была перевязана кисть правой руки.

В палате вертелась медсестричка Катюша. Она носилась вокруг лежащего Дмитрия Сергеевича и щебетала, как птичка.

– Ой, Дмитрий Сергеевич, давайте я вам подушку поправлю.

– Может, вас на бок повернуть?

– Помочиться не хотите? Я утку принесу.

Белый короткий халатик, под которым практически ничего не было, едва не разрывался под напором Катюшиного бюста и оголял её круглую попку во время наклонов и приседаний.

– Катюша, мне бы поговорить с ребятами...

– Да-да, Дмитрий Сергеевич, позовите, если что.

Катюша вышла, вслед за ней вышла Машенька.

– Поговорите пока без меня.

За дверь Машенька схватила за руку уходящую Катю и сказала:

– Больше без нужды возле него не вертись и оставь свои эротические потуги.
– Он тебе кто? Учитель или жених? – насмешливо спросила Катя.

– Он мне любовь! – ответила Машенька и больно сжала правой рукой Катину грудь.

– Ты что, сдурела? – заверещала медсестричка.

– Да, сдурела по самые уши. Сдурела настолько, что оторву тебе всё твоё богатство, если будешь к нему клеиться.

Машенька приподняла левой рукой Катин подбородок и выдохнула сквозь зубы:

– Возле него отныне и навсегда будет только одна стерва! Я!

Она отпустила Катю, и та, всхлипнув и одёрнув халатик, убежала.

Машенька вернулась в палату.

– Мирзоева может возбудить против тебя уголовное дело, – говорил Папа Карло Артёму.

– Пусть возбуждает, свидетелей не было. Буратино закрыл снаружи дверь, пока я их бил, а руку я мог повредить на тренировке.

– Не посмеют, – вмешалась Машенька, – блатные на Мирзу будут пальцем показывать, и с ним дела никто не будет иметь. Они уйдут из школы, иначе Артём их будет бить каждый день.

– Это, братцы мои, на кровную месть смахивает, – сказал Папа Карло.

– Это и есть кровная месть. Я способен их убить, но не хочется из-за гнид в тюрьме сидеть. Буду методично их изводить, как тараканов или клопов.

– Дмитрий Сергеевич, – влез Петька Карев, – мы, конечно, ещё деревяшки, но вспомните сказку. Папа Карло никогда бы не одолел Карабаса Барабаса, если бы куклы ему не помогли.

Через неделю Дмитрий Сергеевич выписался из больницы. Несмотря на протесты и увещания родителей, Машенька перебралась жить к нему. В сложившейся ситуации от преподавания в школе необходимо было отказаться, и Дмитрий Сергеевич принялся восстанавливать прежние связи. Теперь ему было за что бороться, Машенька стала его знаменем. Терпя унижения и преодолевая отчаяние, он стал распрямляться. День за днём, сантиметр за сантиметром.

Машенька неотступно находилась рядом, и, опираясь на её худенькие, но негибкие плечи, в течение двух лет он полностью воспроизвёл свою предыдущую карьеру. Ещё через два года они перебрались в разряд состоятельных людей, так как выпускаемые их компанией антивирусные компьютерные программы стали пользоваться большим спросом.

В конце концов Дмитрий Сергеевич и Машенька нашли время и зарегистрировали брак, а ещё через год Машенька родила сына.

Дмитрий Сергеевич присутствовал при родах. Машенька держалась за его руку и успокаивала:

– Не волнуйся! Всё будет хорошо! Всё будет хорошо!

Когда раздался крик ребёнка и им сообщили, что родился мальчик, Дмитрий Сергеевич не удержался и шёпотом спросил у Машеньки:

– А как его зовут?

– Его зовут Карл, – ответила Машенька.

– Ты теперь папа Карла – нашего любимого короля.

СТИХИ

4 сентября исполнился год со дня безвременной смерти прекрасного поэта, замечательного человека, коллеги, друга, собеседника – Ольги Бешенковской. Мы помним и любим тебя, Ольга. Царствие тебе Небесное!

Редакция

* * *

Не поеду ни завтра, ни в среду...
В понедельник аванс получу
И пропью. И опять не поеду,
Не поеду и не полечу.
А включу портативный и ёмкий,
С государствами накоротке,
И, надеюсь, не очень-то громкий,
Но взволнованный треск в коробке.
Как приятно качает мне кресло
Голос твой, неожиданный друг...
Даже пальма в кастрюле воскресла,
Услыдав приглашенье на юг...
И Бог знает, что выйдет из рая,
Но замена реальна вполне:
Чуть восточнее ближнего края
И почти что на «Невской волне»...
В этой жизни с порядком таможенным,
Горьким хлебом и кислым вином,
Утешительна мысль о возможном
Продолжении в мире ином...

Перечитывая Библию

Это мы-то творцы?
Безнадёжные сводники слов,
Алкоголики снов и жрецы золотой эйфории...
Оркестровый сентябрь торжествует превыше голов,
Но латунь, как латынь, – к ликованию приговорили.
Взбаламутить лазурь – что ещё на крючке карасю...
Утопить свою желчь – в желтизне, поражение – в мажоре, –
Вот он, сверхреализм, без ужимок салонного «сю»:
Разверзается штрек и пылают зрочки, как мозоли...
Это мы-то творцы? –

Продолбившие шахты ночей
Аритмией сердец... Каторжане, которых не ловят.
Но куда убежишь от прожорливых этих печей,
Если каждый листок – на осеннем ветру – Могендовид...
Если каждая ветвь, распрямясь в ослепительный рост,
Осняет, как миф, и трепещет материя духа;
И безумная мысль подрывает Воллипиев мост,
В темноте показавшись клочком перелётного пуха...
И качнётся земля, как нарядный пасхальный кулич,
И над воском садов деревянные руки расправишь,
И – плашмя полетишь... – Не успев обрести и постичь
Триединства любви, распростёртой от кладбищ до клавиш...
Это мы-то – творцы?
Мастера, усмехнусь, мастера,
Сторговавшись с Хароном, кататься туда –
и обратно, –
Где в юдоли ржаной плодородна любая дыра
И сквозь пористый свет – васильки
проступают,
как трупные
пятна...

ПАМЯТИ ЧЕШСКОГО СТУДЕНТА ЯНА ПАЛАХА

Прага, я не могу на твоём не споткнуться пороге:
Здесь брусчатка, как реквием, скорбно звучит под ногой...
Чешский мальчик горел, а у нас проступали ожоги,
Будто Ян – это я, это я, а не кто-то другой...
Мы познали тогда: нет стыда безнадежней и горше,
Чем за Родину стыд ... (Как ломило ночами висок...)
И мерещилась тень: по камням, как по клавишам, Дворжак –
Танкам наперерез, тёмной площади – наискосок...
На губах моих снег – голубая солёная влага...
И на русский язык откликается каждый второй!
То ль славянской душой нас простила воскресшая Прага,
То ли днесь поняла, как наивны палач и герой...
По каким бы камням кто б солдатским ботинком ни клацал,
Никуда не привёз ни свободы, ни счастья танкист...
Добрый вэчэр тебе, повидавший историю Вацлав!
Полыхает букет и приветливо машет таксист...

* * *

И горы облаков, и кактусов отары,
Двугорбый божий бож над папертью песка...
Здесь так чисты цвета... И мы ещё не стары.
И птица на лету касается виска.
О родина всего! О пафос Палестины!
О живопись пустынь – причудливей Дали!
Льдовеющая соль. Блаженные крестины
в Отеческих руках... Купель. И корабли
исчезли. Стёрт прогресс. Ни дыма. Ни детали

зловещих наших дней. Вернулся в окоём
первоначальный смысл.
И след Его сандалий
впечатан в твердь воды и солнцем напоён...

* * *

Сколько в компьютере Божьем оттенков зелёного –
Я никогда ещё в жизни не видела столько!
Здесь, в Галилее, спасенье от времени оного,
словоубежище... И кисло-сладкая долька
(не леденец химиядный – плоды трудовитые...)
Солнце гончарное, скрипнув, за кадр опускается.
Овны библейские, к жертве любовно завитые,
так безмятежны, что фотозатвор спотыкается...
Патриархальное, ветхозаветное, горнее
ширится небо – чем выше тропинка топорщится.
Совестно в рифму, – изыди, как бизнес – игорная...
Дай надышаться псалмами...
(Примолкла, притворщица.)

* * *

То ли ломится бешеный яркий ландшафт,
то и дело меняясь, в стекло ветровое?
То ли фрески Шагала до звона в ушах
разрослись и смыкаются над головою?
Всё возможно под куполом этих небес,
где в прищуре солдата – печаль Авраама,
где пилястрами стройными лепится лес
и однажды в столетье скворчит телеграмма.
Как лиловы оливки, и как апельсин
нестерпимо оранжев, на зависть Манжурий...
Над спящим песком – паруса парусин
и араб в неизменном своём абажуре...
Все мы родом из этих горчичных земель,
что являют прообраз и ада, и рая,
где, как в детстве бронхитном, палитровый хмель
и восторг сотворенья... И вот он, Израиль!
Я намокшую прядь поправляю крылом
и не ведаю, сколько веков отмахала...
И венчает картину, мелькнув за стеклом,
смуглый ангел пустыни, патрульный ЦАХАЛа...

* * *

...Земную жизнь пройдя до половины,
верней, почти до самого конца,
я знаю: в птичьих шапочках равнины
не заслонили Божьего лица.

Тому, кто нам наказывал: не целься,
не обмани, будь страждущему – брат,
милей и ближе ряженных процессий
поэт, стихи слагающий в Шаббат...
Космополит, что пьёт арабский кофе,
смакуя горечь, сжав до синевы
осколок моря... Этот на Голгофе
Не отшатнёт от плахи – головы...
Да, не любил катания на танках,
чурался пейс – зато наверняка
арабских цифр в швейцарских мутных банках
не прикрывала алчная рука...
И если все мы, Господи, повинны, –
покинь тобой придуманный народ...
Земную жизнь пройдя до половины,
я слышу скрежет Дантовых ворот...

* * *

Лена, Володя, Наташа и Миша.
Над головой – сионистская крыша.
А на столе – православная водка.
(Задраны вверх и кадык, и борода.)
Из пенопласта двойник Арафата,
он исподлобья следит воровато...
Что тебе, чучело? Будешь из банки?
Мы никуда не въезжали на танке.
Мы согревали полжизни в котельной
и Могендовид, и крестик нательный.
Новый Завет вслед за Ветхим Заветом
полнили душу терпения светом...
Спали с лодыжек галерные гири.
Не потеряться бы в яростном мире!
Юра, и Вася, и Боря, и Лена –
все мы Петра и арапа колена...
И отовсюду спешат катастрофы
в наши до слёз петербургские строфы.
В мире безумном воинственном этом
нет закутка бесприютным поэтам.
Всюду бездомна ты, братия наша –
Витя, Серёжа, Олежка и Саша.
Хоть и пришли заповедные сроки
и из юродивых вышли в пророки...
Песах ли, Остерн – рванём без закуски...
Это по-божески. Это – по-русски.

* * *

Семь лет – один ответ,
и снова – сон глубокий...
Я знаю, что кивнёт
согласно каббалист...

И мимо пролетит
печальный, одинокий,
чтоб новым корнем стать,
скукожившийся лист...
Не следует роптать
на ветер переменный.
Стерпи – и новый день
подымет в зенит!
Мне чудится опять,
что в чашечке коленной
мой завтрашний разбег,
как ложечка, звенит...

Так после тесных сот –
простора мне, простора!
Дерзну поцеловать
и Обскую губу...
А жизнь – на то и жизнь,
чтоб самое простое
являло вещей смысл
и вылилось в Судьбу...

СЕРАЯ ЗОНА

РОМАН¹

11

Проводив Рона, Макс и Эсти вышли к паркингу аэропорта, сели в машину и выехали на четвёртый автобан, ведущий в город.

– Мне что-то не хочется в гостиницу, – сказала Эсти. – Где здесь можно провести вечер, посидеть, поболтать?

– Лучшее место Гринцинг, на севере Вены. Очень уютный район, излюбленное место туристов.

– Поехали.

Они пересекли город и въехали в район узких улочек, уютных ресторанчиков, сувенирных лавок. Жизнь здесь кипела. Побродив немного, зашли в большой огороженный двор. Прямо под открытым небом стояли длинные деревянные столы и скамейки. На столах лежали меню. Еда была простая, а выбор блюд невелик. Официантка в традиционной национальной одежде сразу же принесла бутылку вина и приняла заказ.

– Такие рестораны называются «херрингер», – сказал Макс. – У них любопытная история. Когда-то, в послефеодальные времена крестьяне-арендаторы имели право, после расчёта с землевладельцем, продавать у себя на дому излишки вина собственного изготовления и подавать к нему нехитрую закуску, включавшую подсолённую рыбу («херринг»). Так возникли эти дворовые ресторанчики. Традиция сохранилась до наших дней. Правда, сейчас владельцы «херрингеров» уже не крестьяне и открыты они круглый год, а не только в конце винодельческого сезона.

– Как странно, – сказала Эсти, – я ведь родилась в Вене, здесь прошло моё детство. Но ничего не помню. Совершенно чужой город. А что для тебя Вена? Считаешь ли ты её своей родиной?

– У меня сложное чувство. Географически это, конечно, родина. Но не более. Я здесь работаю, здесь мой дом. Кстати, совсем недалеко отсюда, пятнадцать минут езды. Вон там, за Венским лесом, – Макс показал рукой направление. – Но часто и подолгу бываю в отъезде. А вообще-то Вену, да и Австрию в целом, мне трудно считать родиной в том смысле, который обычно вкладывают в это слово. Я имею в виду духовную связь, историю, традиции. Но город этот люблю, хорошо его знаю. И люблю возвращаться в него после долгого отсутствия.

– Мне кажется, я понимаю тебя. Для нас, австрийских евреев, понятие родины утратило свой прежний духовный и эмоциональный смысл. Знаешь, Макс, в эти дни я думала о тебе и задавала вопрос – почему ты здесь остался? Ведь очень многие из тех, кто уцелел, уехали. Наверное, большинство...

¹ Окончание. Начало см. в №№ 8, 9, 10.

– Так сложилось. Кто-то всегда остаётся. Но я не жалею. У меня всё хорошо, всё нормально. Не чувствую дискомфорта.

– А почему ты один?

– Ответ такой же, – Макс улыбнулся. – Так сложилось.

– Хочу посмотреть, как ты живёшь. Посидим немного и поедим к тебе. Не возражаешь?

– Буду рад показать дорогой сестре своё скромное холостяцкое жилище.

– Сестре? Не такие уж мы близкие родственники, чтобы ты видел во мне только сестру. *Second cousin seven times removed*². Вот кто мы такие, – Эсти улыбнулась и дотронулась пальцами до его щеки.

– Дома я покажу тебе один документ, и ты увидишь, как мы близки.

– Документ? Какой может быть документ? Я сгораю от нетерпения. Давай поедим прямо сейчас. Не хочу есть эти сардельки с капустой.

Макс расплатился за вино, отменил заказ и они поехали в Вейдлинг по Гауптштрассе, пересекающей Венский лес. Спустя пятнадцать минут подъехали к небольшой двухэтажной вилле. Они вошли в дом, и Эсти сразу же принялась обходить комнаты.

– Недурно для холостяцкого жилища. И потом – такой порядок. Кто у тебя убирает?

– Приходит женщина два раза в неделю. Да я и сам поддерживаю чистоту. Не люблю беспорядок.

Эсти удобно устроилась на диване, подобрала ноги и расстегнула несколько пуговиц на платье. Получилось глубокое декольте, открывшее соблазнительную ложбинку.

– Ну, милый братец, что мы будем пить?

– Что желает дорогая сестрица?

– Сестрица желает коньяк и фрукты.

– «Хенесси» годится?

– О! Название слышала, но никогда не пробовала.

Макс открыл бар и вынул бутылку. Затем помыл фрукты, нарезал лимон и поставил всё это на журнальный столик около дивана.

– Давай немного выпьем, а потом ты покажешь мне документ, ради которого я пожертвовала этим деликатесом – сардельками с капустой, – Эсти улыбнулась.

Макс налил коньяк в невысокие плоскодонные бокалы.

– Как жаль, что мы уже на «ты», – сказала Эсти. – А то бы выпили на брудершафт. Впрочем, одно другому не мешает. Давай поцелуемся. Садись рядом.

Поцелуй получился не вполне родственный...

– Ну, показывай что обещал, – сказала Эсти.

Макс принёс рулон ватмана и развернул его на столе.

– Посмотри этот рисунок. Хотя ты видишь его впервые, но, думаю, легко разберёшься, – сказал он.

Эсти стала внимательно разглядывать генеалогическое древо. Лицо её сделалось серьёзным. Выражение игривости сменилось печальной задумчивостью.

– Боже мой, такая большая семья. Даже две семьи. Адлеров я почти не знаю. Но Ландау – это же мои родственники, самые близкие люди. И только мы с тобой остались. Кто-то ещё, кажется, живёт в Канаде. Теперь это как засохшее дерево, на котором чудом сохранились два зелёных листочка, ты и я, – говоря это, Эсти водила указательным пальцем по ватману, как бы прикасаясь к душам умерших. – Вот дедушка, бабушка, вот мои родители, а вот и я. А вот здесь ты. Да, засохшее дерево...

² Английское выражение, соответствующее русскому «седьмая вода на киселе».

Внезапно у неё появилась идея.

– Знаешь что, Макс? Давай оживим его, вдохнём жизнь. Пусть зашумит листва, на ветвях запоют птицы.

– Что за романтическая фантазия? – удивился Макс.

– Дай мне карандаш, – попросила Эсти.

Она взяла карандаш и соединила большой дугой два прямоугольника на разных сторонах дерева. В одном было написано «Эстер Ландау», в другом – «Макс Адлер». Потом на середине дуги нарисовала сердце.

– Так дети изображают любовь, – сказала она. – Вот видишь, дерево ожило. Любовь его оживила.

Эсти обняла Макса, и они застыли в долгом поцелуе.

– А теперь давай выпьем за память тех, кто погиб в Катастрофе.

Они выпили и помолчали.

– Ну, всё. Траурная церемония окончена. Покажи мне свою спальню, – скомандовала Эсти.

... Макс был тренированный мужчина. Любвеобильная искушённая Эльза старательно поддерживала его в хорошей форме. Но через несколько часов он вдруг почувствовал, что не выдерживает темп. А Эсти не проявляла ни малейших признаков усталости. Она была так же неутомима, как в самом начале, и требовала ещё и ещё. Её энергия была сравнима только с разнообразием ошеломительных поз, которыми она искусно владела.

– Боже мой, Эсти, где ты всему этому научилась? – с изумлением воскликнул Макс.

– У меня в этой области пи-эйч-ди³, – рассмеялась она и проверила его готовность. – А ты, дружок, утомился. И твой дружок тоже. Ну что ж, идите примите холодный душ, освежите себя яблоками и подкрепите себя вином, как говорили наши древние предки. А я и моя подружка вас подождём.

Макс встал и нетвёрдой походкой направился в ванную. Когда через десять минут он вернулся в спальню, то увидел, что Эсти выполняет замысловатые упражнения по системе йоги. Только сейчас он рассмотрел как следует её изящную и очень женственную фигуру.

– Дорогая, неужели ты не устала? – удивился он.

– От чего я должна устать? От любви? От этого живительного эликсира? – искренне и просто сказала она. – Ну что, продолжим?

Через два часа Макс признал своё поражение и со смущённым видом сошёл с дистанции.

– *Ultra posse nemo obligator*, – сказал он.

– Что это значит?

– Это значит – никого нельзя обязать сверх его возможностей. Так считали древние римляне.

– Они были правы, – сказала Эсти. – Не переживай. Ты молодец, продержался дольше других.

– Это что – комплимент или пропуск в элитный клуб? – спросил Макс.

– И то и другое, – рассмеялась Эсти. – А если серьёзно, то никакого клуба нет. Есть опыт, соответствующий возрасту и некоторым особенностям анатомии. Вот и всё, что есть. Так что не пугайся и не преувеличивай. Давай немного поспим.

... Как обычно, Макс проснулся в шесть утра. Эсти уже лежала с открытыми глазами.

– Ты так сладко спал, что не решалась будить, – сказала она. – А теперь давай повторим пройденное. Нет ничего лучше любви на рассвете.

³ Ph. D. – докторская степень, англ.

На этот раз Эсти продемонстрировала неподдельное глубокое чувство с продолжительными нежными ласками и поцелуями. Она называла это утончённым сексом.

– Ты необыкновенная женщина, – восхищённо сказал Макс. – Как же я теперь буду без тебя?

– Мы что-нибудь придумаем, – деловито ответила Эсти. – Можем встречаться в Европе, в Израиле. Ты ведь приедешь в Израиль?

– Возможно. Это зависит от того, как будет складываться совместная работа с «Дабл Эй».

– Есть проблемы?

– Пока нет.

– Макс, хочу спросить тебя. Но не подумай, что это имеет для меня какое-то значение. Ты богатый человек?

– Я состоятельный человек.

– В чём разница?

– Богатство – категория количественная, а состоятельность – качественная.

– Понятно. Тогда скажи мне, состоятельный человек, какие у нас планы на сегодня? После завтрака ты отправляешься на работу. А вечером?

– После завтрака мы с тобой едем на кладбище.

– Вот как. Ты решил похоронить нашу любовь?

Макс рассмеялся.

– Нет, это мы пока делать не будем. Сегодня открытие мемориала в память членов семей Адлер и Ландау, погибших в лагере смерти Маутхаузен. И поэтому твой приезд очень кстати.

– Что за мемориал? Ты мне ничего не говорил.

Макс рассказал о своём решении увековечить память погибших, о приобретении участка на кладбище и о главной идее архитектурного проекта.

– На днях строительство закончено. И сегодня официальное открытие с чтением поминальной молитвы. Мы должны быть там в одиннадцать. После этого заеду в офис на пару часов. А потом я в твоём распоряжении, дорогая.

– Макс, я очень взволнована. Это событие придаёт особый смысл и особый характер нашим отношениям. Ты мне нравишься всё больше и больше. Скажи, а почему ты решил построить мемориал именно сейчас, спустя столько времени после войны?

– Эсти, ты обратила внимание, что на некоторые твои вопросы я отвечаю двумя словами: «так сложилось»? Таков же ответ и на этот вопрос – так сложилось. Если вопросов больше нет, то давай завтракать.

Мемориал находился в западной части нового еврейского кладбища, рядом с протестантским участком. Он был сделан в виде серой гранитной стены, по краям которой возвышались две стелы из чёрного мрамора. Венчала стену необработанная базальтовая плита со сквозным вырезом в центре в форме шестиконечной звезды. Вырез был сделан под углом к зрителю, и небо в нём было такой же формы... На одной стеле были выгравированы с указанием возраста имена членов семьи Адлер, на другой – Ландау. Всего тридцать шесть имён. Под каждым списком – слова «Зихронам левраха»⁴. На гранитной стене надпись: «Умерщвлены в Маутхаузене в числе 38120 евреев, 1938 – 1945», а ниже изречение на иврите: «Воздастся кара за кровь невинных. Псалом 79».

Эсти внимательно осмотрела мемориал.

⁴ Да будет благословенна память о них, иврит.

– Всё сделано достойно, сдержанно, с большим вкусом и тактом, – заключила она. – Без внешних эффектов. Но каждая деталь и каждое слово кричат. Молодец, Макс. Спасибо и от меня тоже.

– Рад, что тебе понравилось. Ты совершенно точно уловила главную идею мемориала. Да, каждое слово кричит, – повторил он и машинально добавил: – В начале было Слово...

– Да, в начале было Слово, – продолжила Эсти, – потом слово против слова, потом народ против народа, потом две Мировые, потом Холокост. Вот и вся история цивилизации от Иоанна до наших дней.

Макс был поражён таким ёмким и исчерпывающим экспромтом.

– За это ты заслуживаешь ещё одну докторскую степень, – сказал он.

Присутствующих было немного – глава Венской еврейской общины, его заместитель, трое руководителей «Хевра кадиша», раввин Самуэль Маркус, староста синагоги, архитектор и скульптор. Состоялась краткая церемония. Раввин Маркус прочитал поминальную молитву: «Итгадад вэ иткадаш шемей рабо...» – «Да возвеличится и освятится великое имя Его...» Перед уходом Эсти положила по небольшому камешку на горизонтальный выступ у подножья каждой стелы.

– Так это делается в Израиле, – объяснила она в ответ на недоуменный взгляд Макса. – По еврейской традиции возлагаются не цветы, а камешки.

Макс отвёз Эсти в гостиницу, и они договорились, что через два часа он заедет за ней.

– Мы отправимся в деревушку в семидесяти километрах от Вены, – сказал он.

– Там и заночуем. Возьми всё необходимое.

Деревушка называлась Дюрнштейн. Она расположена к западу от Вены, у излучины Дуная. Место очень живописное, настоящий рай для туристов. Множество уютных гостиниц сельского типа, ресторанчиков, прогулочных тропинок вдоль реки и по склонам соседних холмов. На одном из них – развалины старинного замка, в котором, согласно летописи Крестовых походов, содержался пленённый английский король Ричард Львиное Сердце.

Макс и Эсти приехали в Дюрнштейн в седьмом часу вечера. Они оставили вещи в гостинице, прошлись несколько километров вдоль Дуная и поужинали в семейном ресторанчике «У излучины».

– Просто сказка! – воскликнула Эсти. – Не хочется думать, что всё это скоро кончится. Так бы и путешествовала с тобой по всему миру... Впрочем, это даже хорошо, что кончится. Иначе я бы привыкла к тебе, а то и банально влюбилась. В моём возрасте это опасно. Да и тебе ни к чему...

– Не знаю, не знаю. Мне, может быть, и к чему, – загадочно произнёс Макс. – Но тебе, действительно, надо быть осторожной. Не следует ломать семейную жизнь.

Эсти иронически посмотрела на него.

– Откуда тебе знать? Может, и ломать-то нечего, – неопределённо сказала она. – Ну ладно, сменим тему. Хочу в гостиницу. Грядёт ночь великой любви номер два...

– Любовь номер два или ночь номер два?

– Ночь, конечно, – Эсти рассмеялась.

Макс обнял её и поцеловал.

– Не испугался? – Эсти лукаво посмотрела на него. – Обещаю, сегодня не будем нарушать завет древних римлян. Как там говорится – *ultra posse...*?

– ... *peto obligator*, – закончил Макс.

– Вот именно, облигатор.

На следующий день они отправились вдоль излучины Дуная на юг в городок Мелк, где находится знаменитый монастырь ордена бенедиктинцев. Построенный

в стиле барокко в начале восемнадцатого века, он поддерживается в идеальном состоянии и привлекает туристов со всего мира.

Макс с увлечением рассказывал по дороге обо всех интересных местах, которые они проезжали. Эсти была благодарной слушательницей и обнаружила немалые познания в архитектуре, искусстве, истории... В Вену вернулись поздно вечером.

12

Эсти улетела утренним рейсом. Проводив её, Макс приехал в офис. Эрна сразу же сообщила, что Пауэлл хочет поговорить с ним.

– Пусть зайдёт, – сказал Макс.

Пауэлл появился через пять минут.

– Макс, я хотел бы обсудить условия нашего участия в канадском тендере. На мой взгляд, максимальный взнос при подписании контракта не должен превышать миллион долларов. Каково ваше мнение?

– Я думаю, мы можем увеличить его до полутора миллионов. Там ожидаются серьёзные открытия. Не следует упускать этот блок.

– Хорошо. Есть ещё один вопрос. Возможно, он вас заинтересует.

– Что за вопрос?

– Дело в том, что у меня есть небольшой пакет акций «Эрдойль». На днях знаковый брокер предложил мне продать его по цене выше рыночной. Из разговора с ним выяснилось, что идёт скупка акций компании и что сам он действует в интересах одного из её директоров. А стоит за этим Гельмут Келлер. Вам понятен смысл происходящего, Макс?

– Думаю, что да. Внутренний тейквер.

– Именно так. Они хотят заблокировать ваш пакет и отстранить вас от руководства компанией. Не исключено также, что Келлер лелеет мечту вернуться в «Эрдойль».

– Спасибо, Дейв. А сейчас вот что. Напишите мне объяснение о вашей сделке с Келлером. Обещаю, оно не будет использовано против вас, а только чтобы приструнить его. Вы же не хотите, чтобы он вернулся в компанию, не так ли?

– Определённо не хочу.

– Прекрасно. Теперь о брокере. Думаю, это Дитрих Хаузер. Я не ошибся?

– Да, это он.

– Хорошо, Дейв. Ещё раз спасибо за информацию. Продолжайте заниматься тендером и не беспокойтесь насчёт Келлера и всей этой возни с акциями.

Макс договорился с Клаусом Руппе о созыве экстренного собрания акционеров. Затем он разыскал Хаузера и предложил встретиться в ресторане делового клуба. Брокер был немного обеспокоен, но согласился.

– Господин Хаузер, я обдумал ваше предложение об увеличении своего пакета и решил принять его. Давайте обсудим условия, – Макс сразу перешёл к делу.

Хаузер смутился.

– Видите ли, господин Адлер, я, конечно, заинтересован работать с таким клиентом, как вы. И надеюсь, в будущем смогу оказывать вам профессиональные услуги. Но в данный момент ситуация не вполне благоприятная. Боюсь, что должен временно отказаться от этого предложения. Очень сожалею. Если вас интересуют акции других компаний, то готов немедленно обсудить это.

– Нет, меня интересует только «Эрдойль». А что, собственно, изменилось? Почему ситуация стала неблагоприятной? Не могли бы вы объяснить конкретно?

– Конкретно? В нашем деле, господин Адлер, есть свои профессиональные тайны. И мы не всегда можем делиться информацией, которой владеем. Полагаю,

у вас тоже есть своя конфиденциальная информация. Одним словом, вы меня понимаете...

— Опять тайны. В прошлый раз были тайны и сейчас снова. Но я понимаю вас, Хаузер. Очень хорошо понимаю. И предупреждаю — если вы не прекратите всю эту возню со скупкой акций «Эрдойль» по завышенной цене, то нарвётесь на крупные неприятности. Такие крупные, что они перевесят комиссионные, которые вы ожидаете. Я просто сделаю вас персоной нон грата в этом бизнесе. А у меня есть такие возможности. В прошлый раз вы трусливо сбежали. Сейчас этим не отделяетесь.

— Простите, господин Адлер, но почему вы так со мной разговариваете? На каком основании? Я бы попросил...

— Основание есть. И очень веское. Вам известно, что тейковер — это уголовное преступление и преследуется по закону. А вы участвуете в нём самым активным образом. У «Эрдойль» уже сейчас есть основания потребовать расследования вашей деятельности и деятельности тех, на кого вы работаете. Я не знаю, чем рискуют они, но вы рискуете своей лицензией. Если хотите сохранить её, то назовите имена. Для кого вы скупаете акции?

Хаузер побледнел.

— Вы требуете от меня невозможного, господин Адлер. Я не могу... профессиональная тайна...

— Забудьте о тайне. Думайте о лицензии. И так, здесь, конечно, замешан Келлер. Кто ещё?

— Только на условиях конфиденциальности, господин Адлер. Могу я рассчитывать?

— Можете. Говорите.

— Я имею поручение господина Келлера. Он мой давний клиент. А непосредственно заинтересованное лицо господин Вернер. Рудольф Вернер. Его пакет составляет, как вы знаете, пять процентов.

— Вернер? Один из директоров «Эрдойль» и президент бумажного синдиката?

— Да, он.

— Ну, и каковы ваши успехи? Сколько акций успели купить?

— Немного. Очень немного. Но я только начал.

— Ваше счастье. На этом вы и закончите. Если я узнаю, что вы ведёте переговоры хотя бы с одним акционером, то пеняйте на себя. Вам всё понятно, Хаузер?

— Да, господин Адлер.

На собрание пришло больше акционеров, чем обычно. Слово «экстренное» возбудило всеобщее любопытство. Последние два года дивиденды почти не поступали, и это вызывало недовольство пайщиков, привыкших к постоянному доходу от акций.

Клаус Руппе предоставил слово Максу. Он, как всегда, был краток и говорил по существу.

— Дамы и господа, — обратился Макс к собравшимся, — вы, конечно, разочарованы результатами последних двух лет. Есть несколько причин этого, и главная — неудача в заливе Папуа. Однако сейчас имеются все основания ожидать существенного улучшения ситуации. Я не могу вдаваться в детали, но мы находимся в преддверии крупных открытий в Канаде, которые самым благоприятным образом отразятся на прибылях компании и на ваших дивидендах. Это и есть основная хорошая новость, ради которой мы пригласили вас на экстренное собрание. Но есть и плохая новость. Нам стало известно, что некий акционер, владеющий относительно крупным пакетом, начал скупку акций по повышенной цене через подставных лиц (Макс бросил выразительный взгляд на Вернера, сидевшего в первом ряду). Разумеется, каждый вправе распоряжаться своими ценными бума-

гами по собственному усмотрению. Но я хочу ещё раз сказать с полной ответственностью – скоро доходы «Эрдойль» возрастут, и тогда те, кто поторопился продать акции, будут сожалеть об этом. Мой долг предупредить вас.

После выступления Максусу было задано много вопросов. И почти все они так или иначе касались ожидаемых открытий в Канаде. Акционеры хотели знать, на чём основана такая уверенность. Чтобы не быть голословным, ему пришлось сказать, что компания планирует применить новую разведочную технологию, которая позволяет обнаруживать месторождения быстро и с минимальными затратами. На вопрос, разработана ли технология в «Эрдойль», он ответил отрицательно, добавив, что изобретение принадлежит небольшой фирме, которая, исходя из собственных интересов, готова продемонстрировать его на разведочном блоке «Эрдойль». Тут же посыпались вопросы по поводу этой технологии. Макс уклонился от объяснений, сказав, что собрание акционеров – не самое подходящее место для обсуждения технических деталей. Рудольф Вернер внимательно слушал и делал пометки в блокноте.

...Усилия Макса по предотвращению тейковера дали результаты. Дитрих Хаузер прекратил скупку акций, а те, кто готов был продать их, отказались от этого намерения.

13

В Израиле Макс был впервые. Он знал, что рано или поздно приедет в эту страну. Но как-то так складывалось, что поездка отодвигалась на неопределённое время. В конце концов у него появилось некое смутное ощущение, что приезд в Израиль будет связан с каким-то конкретным поводом, а не просто с ознакомительным туром. Такое ощущение ни на чём не основывалось, оно было скорее интуитивным, чем осознанным. Но Макс привык доверять своей интуиции. Он неоднократно убеждался, что предчувствия подтверждались самым неожиданным образом. Так получилось и на этот раз. Рон позвонил ему и передал приглашение босса. Он попросил захватить с собой материалы по блоку Стин Ривер, а также, к удивлению Макса, письменные оценки его прошлой работы.

...Макс вышел на балкон тель-авивской гостиницы «Хилтон». Вид спокойного Средиземного моря действовал умиротворяюще. Пляжи были заполнены народом. По воде скользили парусники. И только патрульные вертолёты, пролетающие над морем на небольшой высоте, напоминали о том, что страна воюет с террором. Он посмотрел на часы. Рон должен был приехать за ним через десять минут. Макс ещё раз проверил содержимое кейса, убедился, что все документы на месте, и спустился в лобби.

Рон появился минута в минуту. Они обменялись рукопожатием и вышли на улицу. Белая «вольво» стояла у входа.

– Макс, босс хочет встретиться с тобой у себя дома, в Кесарии. Это пятьдесят километров на север, вдоль моря. Минут сорок езды. Заодно посмотришь прибрежную полосу.

– Прекрасно. Надеюсь в ближайшие дни посмотреть и другие места, о которых много слышал.

– Разумеется. Каждый, кто впервые приезжает в Израиль, просто обязан сделать это. Я и Эсти позаботимся об этом. Но сначала, конечно, наше дело, – Рон улыбнулся и добавил: – как ты знаешь, по-итальянски это называется «коза ностра».

– Зловещая аналогия, – Макс рассмеялся. – И как зовут крёстного отца?

– Его зовут Шмуэль.

– А фамилия?

– Для нас он просто Шмуэль. И для тебя тоже.

– Не торопись, Рон. Я ещё не член «семьи».

– Да, конечно. Стать им не так-то просто.

В разговоре появился явный подтекст, и оба хорошо понимали, о чём идёт речь.

Перед Максом стоял высокий худощавый старик с резко очерченным лицом, орлиным носом и пронизывающим взглядом глубоко посаженных глаз. Бобрик густых седых волос. Спортивная осанка. Одет он был в строгую тёмносерую тройку, что подчёркивало официальный характер встречи, хотя она и происходила дома, а не в офисе. Старик протянул руку, и Макс почувствовал крепкое пожатие сухих костлявых пальцев.

– Шмуэль, – представился он и добавил фамилию, но Макс её не расслышал.

– Рад познакомиться с вами, Макс. Мы называем друг друга по имени. Так принято в Израиле. Не возражаете?

– Не возражаю.

– Прекрасно. А сейчас давайте сделаем лехаим. Наливайте сами по своему выбору.

Они подошли к боковому столику, на котором стояла батарея бутылок. Макс налил сухое «Шардонне». «Лехаим!» – произнёс Шмуэль. Все чокнулись и выпили.

– Итак, – продолжил Шмуэль, – Рон рассказал вам в самых общих чертах о нашем методе. Больше пока мы сообщить не можем. Полагаю, это не станет препятствием для сотрудничества на первом этапе. Под этим этапом я имею в виду ваше участие в завершении разведки блока Уинтон в Австралии и наше участие в разведке блока Стин Ривер в Канаде. Следующий этап будет зависеть от результатов этой работы. А сейчас, Макс, я хотел бы задать вам два вопроса. Извините старика, если они покажутся некорректными, – Шмуэль хитровато прищурился.

– Отвечу, если смогу, – улыбнулся Макс.

– Хорошо. Видите ли, Макс, ни я, ни Рон не специалисты по нефтяной разведке. Поэтому мы не можем оценить ваш профессиональный уровень. А для нас это очень важно. Геолог, которого мы потеряли, был специалистом мирового класса. И мы хотели бы заменить его таким же. Поэтому первый вопрос – как вы сами себя оцениваете?

– Ни один специалист не может оценить себя объективно, – ответил Макс. – Могу представить официальную оценку моей работы за последние годы. Рон попросил меня захватить эти документы.

Он открыл кейс и передал Шмуэлю несколько страниц.

– Немецкий, – сказал Шмуэль, взглянув на текст. – Когда-то я владел им прилично. Ну что ж, тряхнём стариной. А у тебя, Рон, насколько я знаю, проблем с этим языком нет.

Он медленно читал страницы и передавал их Рону.

– Превосходно, – сказал он, закончив чтение. – Вопрос снимается. Но возникает новый вопрос. Здесь сказано, что вы, Макс, работаете старшим специалистом отдела. А сейчас вы вице-председатель Совета директоров и курируете всю зарубежную разведку. Как такая метаморфоза могла произойти всего за два-три года?

– О, это долгая и почти фантастическая история. Если не возражаете, расскажу её после деловой части. Это скорее литература определённого жанра, нежели нефтяная разведка или бизнес.

Шмуэль и Рон переглянулись. Они были явно заинтригованы, но им оставалось только согласиться.

– Хорошо, подождём окончания деловой части. А сейчас второй вопрос, столь же некорректный, – Шмуэль снова хитровато прищурился. – Скажите, Макс, вы богаты?

– Полагаю, что да.

- Насколько?
- Достаточно.

– Почему, в таком случае, вас интересует сотрудничество с нами? Ведь прямой метод – это, в конечном счёте, только деньги, и ничего больше.

– Видите ли, Шмуэль, для нефтяного геолога это не только и не столько деньги. Это мечта, прорыв, другой качественный уровень. Это как пересест из конного экипажа в «мерседес» (сказав это, Макс вдруг вспомнил детство, конную коляску за сараем, свой нынешний «мерседес» и удивился конкретности этой образной фразы). И коль скоро, будучи обеспеченным человеком, я продолжаю работать, а не ухожу в отставку, то не могу не думать о техническом прогрессе в нефтеразведке. Вот почему ваше предложение я оцениваю не только с точки зрения увеличения личных доходов, но прежде всего как своего рода профессиональный допинг. А уже потом то, о чём вы говорите, Шмуэль.

– Хорошо сказано, Макс. Нечто подобное я слышал однажды от Алекса, зихро-но левраха. Вероятно, вы, геологи, люди одинакового склада.

– Раз уж вы затронули этот вопрос, то хотел бы задать его и вам. Вы человек немолодой и, насколько я понимаю, достаточно состоятельный. Что заставило вас, в ваши годы, бросить такой опасный и рискованный вызов нефтяным корпорациям? – спросил Макс.

Шмуэль рассмеялся.

– Молодец, Макс. Мяч не задержался на вашем поле. У каждого из нас свои причины и стимулы для этого. Что касается меня, то вам они станут полностью понятны только тогда, когда доберётесь до моего возраста. А пока поверьте на слово – проблема старости не в том, что мы стареем, а в том, что остаёмся при этом молодыми... Если ответ удовлетворил вас, то давайте посмотрим карту.

Они подошли к большому столу, на котором лежала карта блока Уинтон. Она выглядела достаточно пустой. Были обозначены только предполагаемый контур месторождения по данным почвенной съёмки и три нефтяные скважины. Рядом лежали конверты с каротажными диаграммами, папки с результатами испытания скважин и описанием керна.

– Вот всё, что у нас есть. Мы приготовили для вас копии. Как вы знаете, сейсмо-разведку мы не проводим. Ваша задача, Макс, определить количество и местоположение дополнительных скважин. Затем обеспечить геологический контроль за их бурением, подсчитать запасы нефти и подготовить всю необходимую техническую документацию для продажи месторождения. А на заключительном этапе участвовать в тендере с нашей стороны.

Макс вынул из конвертов каротажные диаграммы и разложил их на столе. Потом достал из папки отчёты по испытанию скважин. Минут двадцать он внимательно рассматривал материалы. В комнате стояла полная тишина.

– Серьёзное месторождение, – сказал он, закончив просмотр. – Из задач, которые вы перечислили, Шмуэль, я могу лишь определить количество дополнительных скважин, необходимых для подсчёта запасов, точки их бурения и подготовить техническую документацию. Для контроля за бурением, подсчёта запасов и участия в тендере пришлю опытного геолога. Мой статус в «Эрдойль» не позволяет выполнять такую работу для другой компании. Надеюсь, вы понимаете это.

– Для меня это несколько неожиданно, – сказал Шмуэль. – Я полагал, что вы сделаете всю работу.

– Сожалею, но это исключено. Я говорил об этом Рону в Вене. Могу гарантировать, что геолог, который будет этим заниматься, абсолютно надёжен как в профессиональном отношении, так и в плане личного доверия. Вы не должны оплачивать его работу. К тому же она не требует знания всех обстоятельств выбора разведочного участка. Он вообще не будет знать, что вы используете прямой метод.

– Хорошо. Мы подумаем. А сейчас покажите, что мы должны сделать для вас на блоке Стин Ривер.

Макс разложил на столе карту Пауэлла и показал кольцо рифовых поднятий, обрамляющих лагуну.

– Мы решили участвовать в тендере и получить этот блок. Не могли бы вы точно указать, какие рифы содержат нефть?

– Нет проблем. Мы сделаем это, – сказал Шмуэль. – Образцы будет отбирать наш человек. Он имеет опыт работы на Камероне. Ваши люди должны только указать ему точки отбора и нанести их на карту. Нам карта не нужна, она будет находиться у вас.

Он обратился к Рону.

– Рон, разыщи Пьера Леже. У нас есть его телефон в Квебеке. А до этого ты и Макс должны составить план работ в Австралии и Канаде. Формальный договор и смета расходов, я полагаю, не нужны. Будем работать на бартерной основе. Не возражаете, Макс?

– Да, это справедливо.

– Итак, деловая часть в общих чертах закончена. Теперь, Макс, мы слушаем вашу фантастическую историю.

Макс улыбнулся.

– Хорошо. Но сначала один вопрос к вам. Что означает столь необычное название – «Дабл Эй»?

Шмуэль объяснил. «Теперь это своего рода мемориальное название, – сказал он и добавил после небольшой паузы: – Они похоронены недалеко отсюда, на городском кладбище. Если хотите, можем подъехать».

– Да, я хотел бы побывать там. Непременно. А сейчас, господа, о той метаморфозе, как вы это назвали, которая произошла в «Эрдойль» за последние два-три года, – сказал Макс.

Он начал с истории своего увольнения, затем перешёл к содержимому брегета и, наконец, к поездке в Женеву. Кульминацией рассказа было драматическое заседание Совета директоров. Шмуэль и Рон слушали, затаив дыхание.

– Фантастика, триллер, граф Монте-Кристо! – воскликнул Шмуэль. – Теперь, подобно Дантесу, вы можете наказать мерзавцев. Вы сделали это?

– Нет, Шмуэль, я не литературный герой. Я решил не сводить счёты.

– Вот как. Вы сильный человек, Макс. Только сильный способен прощать. Слабый не прощает никогда.

– Макс, ты должен написать об этом книгу. Она затмит историю Ли Якокки, – предложил Рон.

– Я подумаю, – сказал Макс.

...Закончив беседу, они отправились на кладбище. Могилы Алекса и Андрея объединяла общая мраморная плита у изголовья, на которой было выгравировано: «Прожили мало, успели много». Перед уходом Макс положил по камешку на каждую из них. «У меня предчувствие, Макс, что вы примете эстафету», – сказал Шмуэль.

14

Первый день осмотра Иерусалима подходил к концу. Эсти показала Максиму Старый город, Стену Плача, туннель Хасмонеев, пробитый в скале ещё до новой эры, и колоритный арабский базар («шук арави»), представляющий собой лабиринт узких улочек, протянувшихся в общей сложности на многие километры. Теперь они поменялись ролями. Эсти рассказывала, а Макс слушал. Всё увиденное и услышанное произвело на него большое впечатление. Двухтысячелетняя история ожила и предстала перед ним в виде удивительных инженерных сооружений

далёких эпох, раскопок, названий улиц, застывших традиций и абсурдных запретов. Религия и политика, кровавые войны и не менее кровавые междуусобицы, разрушения и восстановления, изгнания и возвращения были переплетены и спрессованы во времени на этом клочке земли, как нигде в мире.

Макса особенно поразила действующая модель Храмовой горы, установленная в одном из подземных залов туннеля Хасмонеев. Она приводилась в движение нажатием кнопки. Постройки, оборонительные стены, архитектурные блоки одной эпохи рушились и исчезали, а их место занимали сооружения следующей эпохи. Это происходило на глазах у изумлённых зрителей и напоминало смену декораций на трагической сцене Истории, ибо каждая такая «смена» сопровождалась реками крови. В течение нескольких минут возникали одна за другой эпохи Первого храма, Второго храма, правления римлян, крестоносцев, арабов, турок. Зрелище было фантастическое и напоминало путешествие через века и тысячелетия в машине времени...

Внимание Макса привлекла большая шестиконечная звезда, выбитая на стене под сводчатым потолком.

– Знаешь ли ты истинный смысл этого изображения? – спросила Эсти.

– Знаю, что это звезда Давида, но никогда не слышал, что она имеет какой-то особый смысл.

– Прежде всего – это эмблема. И как во всякой эмблеме, в ней заключена определённая символика.

– И какова же она? – спросил Макс, предвкушая очередной интересный рассказ.

– Объяснений несколько, но все они, кроме одного, ничего не объясняют. Эта эмблема была изображена на круглом щите царя Давида. Поэтому буквальный перевод с иврита – не звезда, а щит Давида. Как видишь, геометрически это очень простая фигура – два треугольника, наложенные один на другой. И в каждом из них заключён столь же простой символический смысл. Треугольник, обращённый вершиной вверх, указывает на небесные сферы, где, как принято считать, обитает Всевышний. Треугольник, обращённый вершиной вниз, указывает на землю, где обитает избранный им народ. Таким образом, вся фигура представляет собой предельно выразительное, без каких-либо геральдических излишеств, графическое изображение союза между Богом и народом, – объяснила Эсти и добавила с улыбкой: – этот союз (на иврите брит) – главный идеологический стержень Торы. Он сопровождает еврея с самого рождения, а точнее с момента обрезания на восьмой день после рождения, когда брит скрепляется кровью, и до смерти, когда читается поминальная молитва. И обрезание, и молитва посвящены в большей степени Богу, чем самому человеку. Всё остальное в Торе – это лишь исторические хроники, предания, легенды и толкования. Кстати, задумывался ли ты, почему Бог избрал именно еврейский народ?

– Почему же? – спросил Макс с нескрываемым интересом.

– О, это совсем просто, – Эсти снова улыбнулась. – Потому что этот народ избрал именно этого Бога. И у Всевышнего не оставалось иного выхода, как, на основе взаимности, избрать для своих экспериментов именно этот народ. Другие народы избрали других богов. И, с точки зрения этих богов, тоже могли бы объявить себя избранными. Но они до этого не додумались. Между прочим, их боги тоже увлекаются экспериментами...

Макс снова поразился тому, что здесь, на этой древней земле, каждый камень, каждое слово и каждый знак имеют свой символический смысл – иногда глубокий и мудрый, а иногда наивный и абсурдный. Эта символика прочно укоренилась не только в религиозной философии, но и в сознании значительной части народа, наложив особый, порой фатальный отпечаток на его историю...

Эсти рассказала несколько любопытных историй, связанных с Храмовой горой. Одна из них касалась еврейской свадебной традиции разбивания женихом стакана ударом ноги. Макс всегда считал, что стакан разбивается «на счастье». Оказалось, что это не так. Традиции уже две тысячи лет и символизирует она разрушение Храма, о чём нельзя забывать даже в самые счастливые минуты... Другая история была связана с арабским завоеванием Иерусалима в седьмом веке. Халиф Омар, победивший христиан-византийцев, решил построить мечеть на Храмовой горе, но обнаружил, что она превращена ими в городскую мусорную свалку. Он очистил её необычным способом – разбросал по всей территории горсти золотых монет. Бедняки в поисках денег должны были разгрести мусор и удалять его. За несколько дней гора стала чистой. Это обошлось дешевле, чем нанимать рабочих. «Прекрасный метод восстановления экологии, – заметил Макс. – Почему бы не возродить его сейчас?»

После туннеля Хасмонеев они вернулись на площадь у Стены Плача. Макс прошёл к мужскому участку Стены, а Эсти осталась ждать его на площади. Он с удивлением и любопытством наблюдал за всем, что происходило вокруг него в этом древнем священном месте. Молящиеся стояли почти вплотную к Стене, закрыв глаза, раскачиваясь взад-вперёд то в ускоренном, то в замедленном темпе, время от времени прикасаясь рукой и губами к отполированным тысячелетиями каменным плитам. Макс стал внимательно вглядываться в их лица, жесты, вслушиваться в резко меняющиеся интонации незнакомой речи. Всё это выражало отрешённость и исступлённое погружение в тот недоступный посторонним виртуальный мир, где происходит таинство общения с Богом. «Так это, наверно, было и две тысячи лет назад, – подумал он. – Интересно, изменилось ли что-нибудь с тех пор? Неужели гигантский технический прогресс прошёл мимо столь экзотического реликтового сообщества?»

Не успел он задать себе этот риторический вопрос, как получил исчерпывающий ответ на него. К Стене подошёл благообразный пожилой человек с пейсами и седой окладистой бородой. Он вытянул вперёд правую руку, приложил её к каменной плите и замер в такой позе. Он не раскачивался подобно остальным, его губы не шевелились. Он не молился. Просто стоял неподвижно на расстоянии вытянутой руки от Стены. Макс стал с интересом наблюдать за ним. Вдруг, приглядевшись к его руке, он увидел, что человек не опирается на Стену, а держит около неё мобильный телефон. Это ещё больше поразило и заинтриговало его. Соединение новейшей технологии с глубокой древностью казалось невысказанным и сюрреалистическим. Макс извинился за любопытство и спросил, что означает столь необычный ритуал.

– Видите ли, уважаемый, – объяснил незнакомец, – мой брат живёт в Нью-Йорке и молится по телефону у Стены Плача. Да будет вам известно, что Америка – это часть Иерусалима. – Он хитровато улыбнулся и отчётливо произнёс, расчленив слово на три части: Jer-USA-lem.

В этот момент внимание Макса привлёк другой человек, с пухлым портфелем в руке. Он подошёл к Стене и начал вынимать из портфеля маленькие рулончики стандартной писчей бумаги, складывать их пополам и засовывать в щели между камнями. Владелец мобильного телефона увидел, что Макс с удивлением наблюдает за этими действиями.

– Мне кажется, уважаемый, вы хотите спросить, что он делает, не так ли?

– Буду признателен, если объясните.

– С удовольствием. Это служащий телефонной компании. Он вкладывает в щели обращения к Богу, поступающие по факсу со всего мира.

Только сейчас Макс заметил, что все щели между камнями нашпигованы плотно спрессованными бумажками разных размеров.

– Что это за бумажки? – спросил он своего нового гида.

– О, это записки к Всевышнему. С их помощью каждый имеет уникальную возможность обратиться к Нему напрямую, без посредников. Единственный посредник – это сама Стена.

– Каждый? И я тоже?

– Вне всякого сомнения.

– А на каком языке должна быть записка?

– На любом. Он читает на всех языках. Главное – обращение должно быть искренним и правдивым. Никакой фальши или корысти.

– На любом языке? Могу ли я написать на немецком?

– Можете, конечно. Но мы ведь разговариваем с вами на английском. Почему вы хотите написать по-немецки? Напишите по-английски. – Он подумал и добавил:

– Так будет лучше.

Собеседник Макса извинился, сказал, что торопится, пожелал ему доброго дня и начал пятиться от Стены. Макс вопросительно посмотрел на него. Тот заметил это и объяснил: «К Стене нельзя поворачиваться спиной. Таков наш закон».

Молитва по телефону, обращения к Богу по факсу, записки в щелях, запрет поворачиваться к Стене спиной – всё это было для Макса неожиданным и удивительным. Он почувствовал себя невольным свидетелем таинственного фантастического священнодействия, герои которого разыгрывали вечную библейскую тему сложных и запутанных отношений между человеком и Богом. Ему захотелось немедленно обсудить всё это с Эсти и задать ей множество вопросов. Его первый вопрос касался записок.

– А что происходит с ними потом?

– Потом? Ничего особенного. Рано утром арабы-уборщики вытаскивают их из щелей железными крюками и выбрасывают вместе с остальным мусором.

«Вот как. Вместе с остальным мусором», – подумал Макс. Таинственное священнодействие обернулось мелкой экологической проблемой. Задавать другие вопросы он не стал...

Эсти была хорошим гидом. Она распланировала экскурсию по городу на два дня, а на третий день наметила поездку к Мёртвому морю. Поэтому возвращаться в Тель-Авив не имело смысла, и она предупредила Рона, что ночевать они будут в Иерусалиме. Назавтра предстояло посещение мемориального музея Катастрофы «Яд ва-шем» с примыкающими к нему горой Герцля и военным кладбищем, где могилы генералов и солдат неотличимы одна от другой.

Они остановились в гостинице «Хилтон» и зашли поужинать в небольшой итальянский ресторанчик «Траттория» недалеко от неё.

– Макс, я так счастлива, что ты приехал. Наша встреча в Вене, открытие мемориала, сказочная поездка в Дюрнштейн – всё это просто перевернуло мою жизнь. Я живу от встречи до встречи. А ты думал обо мне?

– Да, дорогая. Я думал о тебе, о себе, о Роне. И, говоря откровенно, не вижу выхода их этого треугольника. У нас нет будущего.

– А никакого выхода и не нужно. Пусть всё так и остаётся. Наше будущее – это наше настоящее. Мы же можем себе позволить встречаться, где захотим и когда захотим.

– Почему ты так решила?

– Рон сказал, что ты сказочно богат, почти владелец компании. Вот я и подумала, что ты можешь в любое время поехать куда хочешь без чьего-либо разрешения. Разве это не так?

Макс рассмеялся.

– Во-первых, насчёт сказочного богатства. Такие эпитеты годятся только для арабских шейхов. Я тебе уже говорил, что я состоятельный человек. Это действи-

тельно даёт финансовую независимость, но не более того. А во-вторых, что касается поездок в любое время и в любое место, то у меня есть работа и большая ответственность перед компанией. Если я буду часто и подолгу отсутствовать, то ей будет нанесён ущерб.

– Макс, мне не нравится то, что ты говоришь. У меня такое чувство, будто я тебе надоела, и ты начинаешь искать отговорки. Это так?

– Нет, это не так. Я никогда не встречал такую женщину, как ты. Такую сексуальную и такую умную. Но мы должны быть реалистами. Нельзя, закрыв глаза, бросаться в омут...

– И это мне тоже не нравится. Какие-то благоразумные лягушачье-холодные слова. Работа, ответственность перед компанией, быть реалистами... Ладно, я знаю, как выбить эти вредные мысли из твоей головы. Идём в «Хилтон».

...Эсти несколько часов неумоимо выбивала из головы Макса мысли, которые ей не нравились. Она установила тариф. Каждый раз, когда он произносил слово «работа», она накладывала на него штрафное очко, а за слова «ответственность перед компанией» – три очка. И эти очки добавлялись к тому, что она, после латинского изречения Макса, стала называть «древнеримской нормой». В конце концов, он сдался и обещал, что встречи с Эсти будут для него приоритетными. «С учётом форс-мажорных обстоятельств», – сделал он единственную оговорку. Эсти милостиво согласилась и добавила, что постарается держаться подальше от омута и не затаскивать в него Макса. Так, полушутя-полусерьёзно, они заключили конвенцию, которую назвали иерусалимской.

Следующий день начался с мемориального комплекса «Яд ва-шем», что переводится как «Рука и Имя». В еврейской культурно-исторической традиции рука служит символом памяти. Например, в молитве о Иерусалиме говорится: «Если я забуду тебя, о Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука». А значение и символика имени заключаются в том, что человек продолжает жить в памяти до тех пор, пока сохраняется его имя. Поэтому в картотеке музея хранятся миллионы имён жертв Холокоста, и она постоянно пополняется.

Наиболее зримо и трагично эта символика воплощена в уникальном зале памяти детей. В нём нет ни окон, ни электрического освещения. Слабый мерцающий свет исходит только от множества маленьких свечей. Их пламя отражается в тысячах зеркал, создавая подобие звёздного небосвода. Звёзды – это души убитых детей. Посетители молча проходят в темноте как бы внутри небосвода по специальному мостику. Рука каждого скользит по ограждающему поручню, указывающему направление. В абсолютной тишине дикторы, мужчина и женщина, поочередно на иврите и английском произносят имена. «...Шимон Яблонски, шесть лет, Польша... Ида Гринберг, девять лет, Украина... Павел Штеха, пять лет, Чехословакия...» Полтора миллиона имён, читаемых непрерывно. Все, кто входят сюда, испытывают ни с чем не сравнимое потрясение.

...Макс медленно продвигался по мостику. Ничего подобного он раньше не видел и не слышал. Вдруг его рука крепко сжала поручень. Дыхание у него перехватило. Он остановился, не в силах идти дальше. Нет, он не ослышался. «Эмма Адлер, 10 лет, Австрия». Эмма, Эмми. Сестрёнка Эмми. «Твоя сестра Эмми очень любит тебя. Когда ты был совсем маленький, она не отходила от тебя ни на шаг», – писал отец в прощальном письме. Судьбе было угодно, чтобы он встретился с ней здесь, в «Яд ва-шем», в далёком Иерусалиме. Одна из тысяч мерцающих над ним звёздочек – это она, её душа. Чтобы не мешать идущим сзади, Макс и Эсти перешли на другую сторону мостика. Он замер в ожидании, будучи уверен, что сейчас услышит имя брата. Но дикторы уже читали другие имена. Макс подумал с беспокойством и горечью, что Арни по какой-то причине нет в списках. Однако Эсти уверила его, что это невозможно и что за разъяснением следует обратиться в отдел имён.

Сотрудник отдела выслушал их, включил компьютер и быстро нашёл полную информацию: «Арнольд Адлер, двенадцать лет, Австрия, сын Леопольда и Берты, погиб в Маутхаузене вместе с родителями и сестрой Эммой». Макс попросил, чтобы имена Арни и Эмми произносились вместе. Его заверили, что исправление будет сделано незамедлительно. Затем, по его просьбе, были проверены имена родителей и деда Оскара. Они тоже оказались в списках. «С австрийцами у нас нет проблем, – сказал сотрудник. – Мы получили от них исчерпывающие данные. Они вели делопроизводство и учёт с присущей им аккуратностью».

...После экскурсии по Иерусалиму была поездка к Мёртвому морю. Наибольшее впечатление на Макса произвела легендарная крепость Масада недалеко от его южной оконечности. Фуникулёр доставил их на плоскую вершину скалы, где на высоте 400 метров археологи обнаружили руины двух царских дворцов и крепостных укреплений. Крутые отвесные утёсы образуют неприступную естественную границу по всему периметру крепости. Эсти рассказала, что Масада была построена в первом веке до новой эры царём Иродом, а спустя столетие вошла в историю как последний оплот восстания против Рима. Крепость, в которой укрылись девятьсот шестьдесят человек, включая женщин и детей, держалась три года после подавления восстания и падения Иерусалима. Десятый римский легион больше года осаждал её, возводя насыпь и готовясь к штурму. Когда защитникам стало ясно, что они не смогут противостоять многократно превосходящему противнику, было решено совершить коллективное самоубийство. Макс, как и все туристы, получил вместе с билетом на фуникулёр небольшой буклет по истории Масады. В нём была приведена последняя речь командира крепости Элиазара Бен-Яира, текст которой сохранился благодаря сочинению Иосифа Флавия «Иудейская война». Несмотря на двухтысячелетнюю давность, Макс прочитал её с большим волнением. «Братья, мы первыми восстали против римлян и последними заканчиваем войну. Пришёл наш час. Завтра те из нас, кто уцелеют в битве, могут попасть в руки врагов, стать рабами и быть растерзанными дикими зверями на потеху язычникам. Но сегодня мы вольны выбрать славную смерть вместе с теми, кого мы любим. Наши жёны умрут неопозоренными, наши дети не познают ужасов рабства. Но прежде мы истребим огнём дворцовые сокровища. Только съестные припасы оставим в целости. Это покажет римлянам, что не голод нас принудил, а сами решили умереть свободными людьми в своей стране. Пока наши руки ещё не скованы цепями и могут держать меч, пусть они послужат нам последний раз. В огне и крови Иудея погибла. В огне и крови Иудея возродится. Шма, Исраэль!»⁵ «Шма, Исраэль!» – ответили сотни голосов. После этого каждый убил свою семью. Потом избрали по жребию группу воинов, которые закололи остальных. Наконец, последние оставшиеся десять человек метнули жребий, и тот, кому он выпал, заколол товарищей, а затем пронзил себя мечом. В живых остались только две старые женщины, которые подробно рассказали римлянам, что произошло. Командующий легионом Флавий Сильва был ошеломлён. Воздавая должное величю духа осаждённых и их презрению к смерти, он приказал, вопреки традиции, не праздновать победу... Спустя почти два тысячелетия при археологических раскопках в небольшой пещере около крепостной стены были найдены двадцать пять скелетов мужчин, женщин и детей. В 1969 году они были захоронены с воинскими почестями. Ежегодно в крепости принимают присягу солдаты бронетанковых войск. Её последние слова – «Масада больше не падёт!»

...После Мёртвого моря Макс и Эсти вернулись в Тель-Авив, а потом отправились на два дня в Галилею, называемую израильской Швейцарией. Макс улетел в

⁵ «Слушай, Израиль!» – последние слова евреев перед смертью.

Вену, полный впечатлений от переговоров со Шмуэлем, от Израиля и, конечно, от встреч с Эсти. Всё складывалось как нельзя лучше – партнёрство с «Дабл Эй», ожидание предстоящих открытий в Альберте, какой-то волнующий, но не очень понятный поворот в личной жизни...

15

Макс вызвал секретаря.

– Эрна, закажите пропуск для Зигфрида Кляйна. Когда он придёт, сразу же пригласите ко мне.

– Хорошо, господин Адлер.

Кляйн появился за десять минут до назначенного времени. Он оглядел кабинет и одобрительно хмыкнул.

– Привет, Макс. Ты хорошо устроился. Рад за тебя. Наслышан, что тут у вас происходит. Однажды даже хотел позвонить, но решил, что ты это неправильно истолкуешь. Подумал, может, сам когда-нибудь вспомнишь. Мы ведь неплохо работали вместе, если не считать этих нелепых последних лет.

– Не будем об этом, Зигфрид. Я пригласил тебя не для воспоминаний. Как ты, чем занимаешься?

– Консультирую иностранные компании. Недавно закончил большую работу по Болгарии. Получил приглашение от Албанской нефтяной компании. В общем, кручусь понемногу. Без работы не сижу.

– Опасная у тебя работа.

– Опасная? Что ты имеешь в виду?

Макс снял с полки последний номер американского журнала «Oil and Gas».

– Вот, взгляни на этот рисунок.

Кляйн посмотрел и рассмеялся. Два детектива разглядывают труп, и один из них говорит: «Судя по жестокости и количеству ножевых ранений, убитый, видимо, был консультантом по разведке нефти».

– Да, не дай бог втянуть заказчика в проект типа «Большой мухи». Легко можно оказаться в положении этого парня.

– Хочешь поработать в Австралии? – спросил Макс.

– В Австралии? Для «Эрдойль»?

– Нет. Никакого отношения к «Эрдойль». Это частный проект для одной небольшой иностранной фирмы. Она ведёт разведочное бурение, но у них нет своего геолога. Гонорар весьма приличный, намного больше, чем тебе платят болгары или албанцы.

– Что за работа?

– Геологический контроль за бурением разведочных скважин, их испытание и подсчёт запасов. По окончании разведки они хотят продать месторождение. Поэтому надо будет участвовать в тендере в качестве эксперта по геологии.

– Ну что ж, дело привычное. Когда начинать?

– Через месяц у них стартуют три скважины. Три они уже пробурили. К этому времени тебе надо быть на месте. И ещё вот что. Работа абсолютно конфиденциальная. Никто здесь о ней знать не должен. Поэтому всё это время ты обязан жить в режиме сухого закона. Если сорвёшься, контракт будет сразу расторгнут.

– С этим всё в порядке, Макс. Я уже больше года, как завязал.

– Так что, берёшься?

– Нет проблем. Макс, ты упомянул гонорар. Нельзя ли уточнить, о какой сумме идёт речь?

– Речь идёт о повременной оплате. Сколько тебе платят заказчики в месяц? Кляйн назвал цифру.

– Будешь получать в тройном размере, – сказал Макс. – Но повторяю – никакой утечки информации. Даже о том, что я тебя рекомендовал на эту работу, никто знать не должен. От её результатов зависят твои дальнейшие заказы.

– Понял. Можешь не беспокоиться. Ты меня знаешь.

Блок Стин Ривер вызвал интерес у многих компаний. Поэтому торги были упорными. Макс увеличил взнос при подписании контракта до двух миллионов долларов и включил в заявку ряд дополнительных обязательств, которые могли склонить чашу весов в пользу «Эрдойль». Они касались главным образом сокращения сроков разведочных работ, в чём правительство Альберты было особенно заинтересовано. В итоге компания выиграла тендер, и Макс сообщил Рону, что они могут приступить к отбору образцов.

Ответный факс пришёл в тот же день. В нём указывалось место и время встречи с Пьером Леже в Калгари, а также уточнялись обязанности геолога «Эрдойль», который будет с ним работать. Под верхним обрезом страницы были обозначены стандартные данные: время отправления, факс отправителя и название компании «Дабл Эй». Всё это машина в Тель-Авиве печатала автоматически.

Эрна приняла факс и сняла с него копию. Оригинал сразу же передала Макс, а копию положила в сумочку...

Рудольф Вернер попросил секретаря пригласить к нему Рейнгольда Кларке. Это был новый сотрудник бумажного синдиката.

– Рейнгольд, у меня к вам не совсем обычный вопрос. Вы ведь раньше работали в нефтяной компании. Не приходилось ли вам слышать о какой-то новой разведочной технологии, – Вернер заглянул в блокнот и прочитал: «которая позволяет обнаруживать месторождения быстро и с минимальными затратами и которая разработана небольшой фирмой»?

– Видите ли, господин Вернер, я не специалист по разведке, хотя и имею некоторое представление о ней. Это определение, я бы сказал, слишком общее, расплывчатое. Насколько мне известно, каждая компания старается вести разведку быстро и с минимальными затратами. Здесь многое зависит от опыта и квалификации персонала.

– Это понятно, Рейнгольд. Я имею в виду нечто совершенно другое – новая технология или, возможно, изобретение, которые никак не связаны с квалификацией персонала.

– Боюсь, что не смогу быть вам полезным, господин Вернер. Если была бы какая-нибудь дополнительная информация. Ну, допустим, техническая основа изобретения или хотя бы название фирмы...

– Да, я понимаю. Данных мало. Точнее, их почти нет. Хорошо, можете идти.

Год назад Рональд Кларк, начальник отдела специальных проектов «Альбион Энерджи», находился в районе дельты Амазонки, где улаживал конфликт с бразильскими индейцами из-за бурения разведочной скважины на их землях. Он только что вернулся на базу в городке Белем после трехдневной поездки на остров Кавьяна. Его ждал факс из Лондона с сообщением об аварии вертолёта, гибели руководства компании и предписанием о немедленном возвращении. Кларк сразу же связался с транспортным отделом и выяснил, что вертолёт прошёл техосмотр за три дня до злополучного рейса. Старший авиамеханик заверил его, что машина была в полном порядке, а погодные условия нормальные. Он добавил, что в день аварии внезапно исчез помощник механика, ирландец, который был принят на работу девять месяцев назад. У многих это вызывает подозрение. Не исключено, что здесь замешаны террористы из Ирландской республиканской армии.

Кларк умел анализировать факты, извлекать из них нужную информацию и делать правильные выводы. Он вспомнил, уже не в первый раз, операцию в Лонгриче

и угрозу Алекса Франка: «Когда что-то случается с нашими людьми, то виновные просто взрываются в своих машинах и офисах». Да, всё сходится. Это, несомненно, их рук дело. Ирландцы здесь ни при чём. После взрыва самолёта с людьми «Дабл Эй» Кларк жил в тревожном ожидании, что что-то должно произойти. Теперь он не сомневался, что следующим будет он, Рональд Кларк, непосредственный исполнитель акции. Если уж они добрались до верхушки компании, то ему вряд ли удастся ускользнуть. Что же делать? Вернуться в Лондон и принять участие в расследовании? Без него оно не сможет пойти в правильном направлении. Только он держит в руках ключ к событиям и понимает, что произошло.

Кларк сделал глоток виски и закурил сигару. «Но какой вообще смысл в расследовании? – подумал он. – Даже если вертолёт поднимут со дна и установят, что это была диверсия, – что дальше? Тех, кто это сделал, наверняка след простыл. А те, кто стоит за ними, навсегда останутся в тени и вне досягаемости». Каким бы странным это ни казалось, расследование было не только бесполезным, но и нежелательным. По ходу следствия обязательно всплывёт история с «Дабл Эй», и ничего хорошего это не предвещает. Как всегда в таких случаях, потребуются козёл отпущения. А лучшего кандидата на эту роль, чем он сам, не найти. Кларк стряхнул пепел и отхлебнул ещё виски. Мелькнула мысль, что дело принимает слишком личный оборот. При любом раскладе ему несдобровать. Или на нём отыграется компания, или, что ещё хуже, – те, кто устроил аварию вертолёта. Нет, он не вернётся в Англию. Сейчас единственный выход – это затеряться в огромном мире и начать новую жизнь.

Кларк положил на стол стопку газет, накопившихся за время его отсутствия, и стал рассеянно просматривать их. Неожиданно его внимание привлёк раздел объявлений о работе в «Файнэншиал Таймс». Требуются, приглашаются, хорошие условия... Эти объявления как нельзя более соответствовали его мыслям. «Найти работу будет не так уж трудно, – подумал он. – Несколько лет на должности менеджера в крупной компании, диплом психолога Кембриджа, докторантура Боннского университета, знание основных европейских языков... Жизнь снова может обернуться не худшей своей стороной...» Он перевернул страницу и увидел объявление бумажного синдиката в Вене: «Требуется руководитель сектора англоязычных стран в отделе экспорта... Свободное владение немецким и английским... Опыт ведения деловых переговоров... Знание основ психологии торговли и бизнеса...»

Через месяц Кларк уже работал в синдикате. Он слегка изменил свою внешность, вместо пышной шевелюры была теперь короткая стрижка. А главное – должность руководителя сектора занял не Рональд Кларк, а Рейнгольд Кларке, доктор психологии Боннского университета.

Вернер снова вызвал Кларке.

– Рейнгольд, в прошлый раз вы сказали, что нужна какая-нибудь дополнительная информация. Вот, взгляните на этот факс. Он адресован Максу Адлеру из «Эрдойль Гезельшафт». Нет ли в нём чего-то, что приблизит нас к пониманию вопроса?

Кларке начал читать текст. Первым, что бросилось в глаза, было хорошо знакомое название «Дабл Эй» под верхним обрезом. Затем имя Пьер Леже. Это тот парень, которого разыскал Дэвис из «Игл Корпорэйшн» и о котором он рассказал покойному Ларри Эвансу. Кларке прочитал короткий текст дважды и запомнил его. Потом вернул Вернеру.

– К сожалению, здесь нет ничего такого, что может прояснить вопрос. Во всяком случае, мне это ни о чём не говорит. Но хочу ещё раз подчеркнуть, что я не специалист в этой области.

– Понимаю. А что такое, по-вашему, «Дабл Эй»?

– Трудно сказать. Возможно, это какая-то маркировка. Так, как вы знаете, обозначается степень надёжности акций и других ценных бумаг – Дабл Эй, Трипл Эй⁶. Здесь это может указывать на степень срочности или важности информации.

– Да, логично. Но нам это ничего не объясняет. Спасибо, Рейнгольд. Это всё, что я хотел спросить. Можете идти.

У Кларка-Кларке не было ни малейшего желания опять впутываться в какие-либо дела, связанные с «Дабл Эй». Не для того он перебрался в тихую Австрию и сменил имя, чтобы снова оказаться в водовороте кровавых событий. Вернер ещё не знает, во что ввязывается. Но предупредить его он не может. Это раскрыло бы тайну самого Кларка. Поэтому лучше держаться от всего подальше...

И тем не менее этот эпизод заставил его снова вспомнить всю цепь драматических событий. С чего всё начиналось? С информации, которую Эванс получил от своего приятеля Дэвиса. Сам Дэвис и его «Игл Корпорэйшн» остались в стороне и перекинули hot potato⁷ руководству «Альбион Энерджи», где первую скрипку играл напористый мачо Бриссон, Гарри-ковбой. И вот, из-за этого авантюриста, он, Рональд Кларк, сидит сейчас в бумажном синдикате и дрожит за свою жизнь. Ведь он предупреждал его, что с «Мосадом» нельзя связываться...

Все эти мысли и воспоминания вызвали у Кларка острое желание расквитаться с кем-нибудь за свою сломанную карьеру. Но с кем? Не с теми же, для кого кабина вертолёта стала общим саркофагом. А не перебросить ли hot potato обратно туда, откуда они её получили? Идея ему понравилась. Он нашёл в Интернете факс Дэвиса и отправил ему анонимное сообщение: «Фирма “Дабл Эй” планирует отбор образцов почвы для “Эрдойль Гезельшафт” на разведочном блоке Стин Ривер. Руководит работой Макс Адлер. Отбор будет производить известный вам Пьер Леже, который встречается с геологом “Эрдойль” в Калгари, в таком-то месте, в такое-то время». Чтобы на факсе не появились слова «Бумажный синдикат», Кларк отправил его из ближайшего почтового отделения.

Билл Дэвис прочитал факс ещё раз. Он вызвал у него какое-то тревожное ощущение. Что-то было здесь явно не так, не в соответствии с нормами и правилами деловой переписки. И главное в этом несоответствии, конечно, отсутствие подписи. Он снял трубку и набрал номер Джека Тэйлора: «Зайдите, Джек».

– Вот, Джек, прочитайте, – сказал он и передал ему текст. – Что вы об этом думаете?

– Странный факс. Анонимный. Слова «известный вам Пьер Леже» говорят о том, что автор знает что-то о нашем прошлом интересе к «Дабл Эй» и о встрече с этим парнем из Квебека. Вы, Билл, рассказывали эту историю только покойному Ларри Эвансу, не так ли?

– Только ему и никому больше.

– Но факс не из Лондона, а из Вены. Из какого-то почтового отделения. Это тоже странно. Ясно одно – кто-то заинтересован снова столкнуть нас с «Дабл Эй», но сам при этом хочет остаться в стороне. Не думаю, что мы должны реагировать на такую информацию, очень похожую на провокацию. Вспомните две загадочные авиационные катастрофы – самолёта с людьми «Дабл Эй» в Австралии, о которой вам рассказал Эванс, и ровно через год гибель его самого и всей верхушки «Альбион Энерджи» в Северном море. У меня интуитивное чувство, что эти события как-то связаны между собой. В любом случае нам лучше в эти дела не впутываться. А что касается факса, то его нужно просто выбросить.

⁶ Double AA, Triple AAA, англ. – двойная и тройная надёжность.

⁷ Hot potato – «горячая картофелина», англ. – неприятная или опасная проблема, от которой стараются избавиться или перебросить другому.

– Пожалуй, вы правы, Джек. Я так и сделаю.

Когда Тэйлор ушёл, Дэвис отыскал в Интернете факс нового вице-президента «Альбион Энерджи», занявшего место покойного Эванса, и переадресовал сообщение ему. Затем спустился на первый этаж, зашёл в небольшой магазин фото-принадлежностей и переслал оттуда факс в Лондон. Он тоже не хотел держать в руках горячую картофелину. Но и забывать о неприятных и даже трагических событиях, связанных с «Дабл Эй», не собирался. Что-то, сидевшее глубоко в душе, не давало ему простить и прокол Фрэйзера из «Независимых детективов» в Вермиллионе, и скандальную итальянскую афёру, стоившую карьеры Андерсону, и гибель его друга Ларри Эванса. «Проблема не исчезла. Попробуем ещё раз разобраться с ней», – подумал Дэвис и усмехнулся...

16

Разведочные работы в Канаде и в Австралии продвигались успешно. «Дабл Эй» выполнила анализ образцов почвы на блоке Стин Ривер, и Макс определил по ним участки для бурения. Три первые скважины были намечены на зиму, и он планировал на это время приезд в Канаду. Текущей оперативной работой по блоку занимался филиал «Эрдойль» в Калгари, а Дейв Пауэлл получил новое проектное задание – разведку концессии в Северном море. Хотя Макс теперь и доверял ему, но не настолько, чтобы посвятить в дела, связанные с «Дабл Эй».

Зигфрид Кляйн уверенно и грамотно вёл работы на блоке Уинтон. Макс регулярно получал от него информацию на свой домашний компьютер и по телефону. Таким образом, «Эрдойль» не была вовлечена ни прямо, ни косвенно в то, что происходило в Австралии.

Макс прилетел в Калгари солнечным зимним утром. Он взглянул на заснеженные поля вокруг аэропорта и подумал, что не зря захватил горнолыжное снаряжение. Его встречал Франц Пик, менеджер канадского филиала. По дороге в город он сообщил последнюю информацию о бурении на Стин Ривер и сказал, что вертолёт заказан и завтра они могут лететь в район разведки.

Следующий день Макс и Франц провели на буровых. Все три скважины уже прошли первые сотни метров. Макс познакомился с инженерами, обсудил с ними геологические аспекты бурения и внёс в проект кое-какие незначительные изменения. В Калгари вернулись поздно вечером. Утром Макс побывал в офисе филиала, где Франц представил ему сотрудников.

И вот, наконец, он закончил дела, уложил вещи в джип «тойоту», закрепил на нём лыжи и отправился на неделю в горы. Конечным пунктом поездки был городок Кимберли, недалеко от американской границы, лежащий у подножья самой длинной освещённой горнолыжной трассы в Северной Америке. Поэтому сюда съезжают любители ночного катания со всего континента. Макс выехал на Трансканадский хайвей и повернул на запад. Через сто километров равнина закончилась и дорога вошла в канадские «рокки». Он проехал на запад ещё пятьдесят километров, миновал жемчужину этого края городок Банфф с его всемирно известным Международным центром искусств, повернул на юг по девяносто третьей дороге и пересёк границу Альберты с Британской Колумбией. Ещё двести пятьдесят километров вдоль величественных горных вершин, глубоких ущелий, стремительных горных рек, горячих источников и индейских резерваций, и вот перед ним возник словно игрушечный Кимберли, считающийся из-за своей архитектуры «самым австрийским городком» в Скалистых горах. И действительно, сочетание типичных тирольских домиков и улочек с петляющими горнолыжными трассами на соседних вершинах напомнило Максу район Инсбрука в Австрийских Альпах, где он обычно проводил зимний отпуск.

Он доехал до места в полдень, как и рассчитывал. Зарезервированный накануне небольшой уютный коттедж, внешне напомилавший горную хижину, уже подготовили к его приезду. Около камина были аккуратно сложены наколотые сухие поленья, на столе стояли ваза с фруктами и бутылка «Шабли». Макс принял душ, перекусил, немного отдохнул и облачился в горнолыжный костюм. Он не вставал на лыжи почти год и не стал терять время.

Через десять минут кресельный подъёмник уже плавно нёс его к вершине горы Северная Звезда. Сидя в кресле высоко над землёй, Макс с каким-то привычным, но неизменно восторженным трепетом осматривал сказочно красивые окрестности. Лыжи были для него не только стремительным бегом вниз по склону, но и неповторимым зрелищем, волшебным сочетанием горных вершин, голубых озёр, ослепительно белого снега и солнца. На всё это можно было смотреть только через специальные защитные очки, закрывающие половину лица. Они приглушали яркие солнечные краски и придавали им фантастический желтовато-голубоватый оттенок. Макс всегда воспринимал это зрелище как воплощение всего самого прекрасного и волнующего, что есть не только в природе, но и, по некой необъяснимой ассоциации, в искусстве – живописи, скульптуре, музыке, поэзии. Кроме того, он хорошо представлял себе, как рождались эти горы, какие глобальные катаклизмы сталкивали континенты и океанические плиты, как из всего этого хаоса возникла удивительная гармония горных хребтов и долин. И это знание добавляло к его восприятию ещё одну грань, связанную с тектоническими играми природы, которые для Макса были столь же понятны и реальны, как застывший современный горный ландшафт.

Двухместное кресло подъёмника приближалось к вершине. Макс откинул наверх предохранительную раму, поднял концы лыж и приготовился спрыгнуть на снег.

– Вы направо или налево? – предупредительно спросил сосед, чтобы отъехать в разные стороны и избежать столкновения при соскоке.

– Всё равно, – ответил Макс.

– Тогда я направо. О'кей?

– О'кей.

Макс легко соскочил с продолжавшего двигаться кресла и отъехал на левую стартовую площадку. Он окинул взглядом уходящую круто вниз извилистую трассу «Олений рог», согнул колени, сильно оттолкнулся палками и начал спуск, быстро набирая скорость. Ветер свистел в ушах, края лыж с хрустом резали снег на виражах – вжик, вжик... Возникло знакомое ощущение абсолютного владения телом и полного контроля над скоростью. Макс любил быстрый спуск, азарт обгона и своеобразную игру, когда ты некоторое время идёшь за кем-то след в след, повторяя его движения, а потом вдруг резко набираешь скорость и уходишь вперёд.

...Далеко внизу он заметил женскую фигурку. Она спускалась легко и изящно, длинными прямыми ходами с едва заметными виражами. Макс увеличил скорость и сократил расстояние с ней. Её техника была безупречна. Она шла на параллельных лыжах, ноги тесно прижаты одна к другой, корпус неподвижен, и только оба колена отклоняются вместе то влево, то вправо. Вот она выбрасывает вперёд правую палку, делает лёгкий укол около острия лыжи, переносит тяжесть тела на другую лыжу и входит в короткий левый вираж. Потом левая палка идёт вперёд – и такой же правый вираж. Приталенный костюм подчёркивал её ладную фигуру. Длинные рыжие волосы, схваченные на лбу и сзади широкой резиновой лентой, распластались на ветру. Макс какое-то время идёт за ней след в след, а потом обгоняет. Поравнявшись, он бросает на неё быстрый взгляд, но увидеть лицо не удаётся – оно закрыто защитными очками. Непонятно почему, но ему вдруг очень захотелось увидеть его. Объяснить это желание он не может, да и не пытается. Он просто подчиняется ему. Макс сбрасывает скорость и пропускает лыжницу вперёд. До конца спуска он висит у неё на хвосте. В конце трассы она делает

широкую плавную дугу и подъезжает к очереди на подъёмник. Макс повторяет дугу и становится за её спиной. Очередь короткая и движется быстро. Он подсчитывает пары и понимает, что они окажутся в одном кресле.

С полминуты они едут молча. Макс боится разрушить овладевшее им какое-то волнующее предчувствие. Наконец, он медленно поворачивает голову, пристально смотрит на неё и тихо произносит: «Джулия». Она замирает и продолжает неподвижно смотреть прямо перед собой. Затем, не меняя позы, шепчет чуть слышно, одними губами: «Боже мой, Макс».

Комната была слабо освещена. Горели только три свечи по углам. В камине потрескивали поленья. На столе почти нетронутый ужин, заказанный в ресторане. Макс и Джулия сидели на диване, прижавшись друг к другу. Он обнял её за плечи. Они разговаривали уже несколько часов. Время от времени возникали долгие паузы, которые заполнялись поцелуями.

Макс узнал, что Джулия развелась с мужем три года назад, что у неё есть сын, студент Гарварда. Она живёт в Банфе, где руководит балетной студией в Центре искусств. Он рассказал ей о себе, главным образом о том, что её особенно интересовало, — что он не женат и что у него нет детей. Драматических событий последнего года Макс не коснулся.

— Ты уже три года одна. У тебя есть кто-то? — спросил он.

— Теперь есть. И не кто-то, а тот, кто был всегда. Был в моих мыслях, в моём сердце. Его зовут Макс Адлер.

— Я не о том, — Макс улыбнулся.

— А я о том. И ни о ком другом. И знаешь что, — не задавай глупые вопросы.

Макс поцеловал её.

— Все эти годы я часто вспоминал тебя, — сказал он. — И нередко в самой неожиданной ситуации и в самом неожиданном месте. Когда-нибудь расскажу об этом. Ты очень удивишься, узнав, где и когда это происходило.

— Например? Ты меня заинтриговал. Скажи сейчас.

— Нет, сейчас не время. Как-нибудь потом.

— Ну хорошо. Давай о другом. Двадцать пять лет назад ты сделал мне предложение. Оно ещё в силе?

— Разумеется. У него нет срока давности.

— Я согласна.

— Ты уверена? Даже если я так же беден, как тогда?

— Для меня это никогда не имело значения. Богатство — самая зыбкая разновидность счастья. Знаю по своей семье.

— Ну, а если я очень богат? Ты всё равно согласна?

— Тогда подумаю.

— Ты прелесть, Джулия. Я действительно богат. А теперь, когда у меня есть ты, я сказочно богат. И снова прошу тебя стать моей женой.

— Пожалуй, я всё-таки согласна. Несмотря на твоё сказочное богатство. И знаешь, Макс, мы так долго ждали этого дня, что не будем откладывать и снова испытывать судьбу. Как только приедем в Банф, сразу же зарегистрируем брак в мэрии. Не возражаешь?

— Я готов ехать в Банф прямо сейчас.

— Сейчас не надо. Сейчас мы сделаем что-то другое. Немного переставим местами события и устроим настоящую первую брачную ночь. А потом в Банфе ещё одну.

...В три часа ночи в голову Джулии пришла новая идея.

— Где это сказано, что первую брачную ночь нужно всю проводить в постели? Она спрыгнула с кровати, подошла к окну и раздвинула занавески.

— Посмотри, что делается на трассе.

Макс направился к другому окну. Комната была освещена только неровными отблесками горевших поленьев. Прежде чем взглянуть в окно, он посмотрел на Джулию. Она стояла между ним и камином. Её точёная, будто изваянная из мрамора, фигура балерины была очерчена огненными бликами. И каждая новая вспышка огня выхватывала из полумрака и освещала какую-нибудь другую часть тела – грудь, бедро, ногу.

– Ты не представляешь, дорогая, как красиво твоё тело в свете каминного огня.

– Ты хочешь сказать, дорогой, что камин – это самое подходящее освещение для сорокапятилетней женщины? – Джулия засмеялась. – Нет, ты всё-таки посмотри в окно.

Лыжная трасса была освещена. Работали подъёмники. По снегу скользили лыжники. Макс вдруг вспомнились слова Шарля Ле Корбюзье: – В доме должны быть три главные вещи: первая – вид из окна, вторая – вид из окна и третья – вид из окна».

– Давай покатаемся пару часиков, – предложила Джулия.

И вот они снова на склоне. В ночном катании есть своя прелесть. Защитные очки не нужны. Без них краски более естественные, хотя и не такие яркие, как днём. Из установленных вдоль трассы динамиков льётся хорошо подобранная музыка.

– Первое брачное ночное катание, – Джулия улыбнулась. – Будет, что вспомнить и рассказать детям.

– Кому? – удивился Макс.

– Детям, – невозмутимо повторила Джулия, – нашим детям. Твоим и моим. Что тебя так удивило?

– Просто не думал об этом, – Макс замялся.

– Как так – не думал? Кому же ты оставишь своё сказочное богатство? Союзу девственниц или Армии спасения?

– Нет, но... видишь ли... возраст...

– Макс, тебе только пятьдесят шесть. Сам же говорил, что ты из породы долгожителей. Ещё внуков дождёшься. Я тоже в полном порядке. Какие проблемы?

– Ты права, дорогая, проблем нет. Поэтому, пока ты ещё не беременна, давай-ка пройдемся по «чёрному ромбу»⁸.

– Не возражаю. Хотя насчёт беременности теперь не уверена.

Оба расхохотались. Через несколько минут они уже мчались по трассе «Тюлений ласт», вдоль которой стояли указатели с чёрными ромбами. Лыжи прыгали по бугристому склону, напоминая удары тюленьих ласт по снегу. Отсюда и название. Здесь требовалась особая техника, которой Макс и Джулия хорошо владели.

«Что за год! – подумал вдруг Макс. – Увольнение, наследство деда Оскара, Совет директоров, прямой метод. И в довершение всего – Джулия. Такой год заслуживает названия, как в Китае. Пусть он будет годом Золотого Брегета... Судьба знает, куда ведёт нас. Но мы узнаем это только в конце пути...»

После регистрации брака в мэрии неожиданно самым сложным оказался вопрос о том, где им жить дальше. Джулия решительно отказалась возвращаться в Австрию, а Макс не мыслил свою жизнь без «Эрдойль». Они перебрали и обсудили различные варианты, включая Швейцарию, Францию, Америку, но ни на одном не остановились. Проблема была сложнее, чем казалась на первый взгляд. В конце концов они решили провести медовый месяц на Гавайях, а затем снова вернуться к ней. Но сделать это пришлось несколько раньше. Однажды, на острове Кауаи, они стояли на плоской вершине утёса, с которого речка Вайлуа сры-

⁸Трасса высшей категории сложности.

валяется вниз, образуя самый красивый водопад архипелага. Джулия вдруг сказала: «Какое зрелище! Если бы не беременность, подошла бы к самому краю». Макс уже привык к её милой манере – говорить о делах первостепенной важности как бы невзначай, между прочим. И при этом смотреть ему прямо в глаза. «О Джулия!» – только и смог он воскликнуть. В этом возгласе было всё – любовь, благодарность, счастье... «Я никогда не бросаю слов на ветер», – подчёркнуто спокойно заметила она.

17

Разведка блоков Стин Ривер и Уинтон закончилась почти одновременно. На севере Альберты была обнаружена группа нефтяных месторождений, связанных с древними рифами. Как только появилось официальное сообщение об этом, стоимость акций «Эрдойль» резко подскочила. Макс выполнил обещание, данное на собрании акционеров.

Обе стороны были более чем довольны результатами сотрудничества друг с другом. У Шмуэля постепенно крепло убеждение, что участие Макса в их совместной работе не должно стать лишь эпизодом. Теперь он не сомневался, что в профессиональном отношении Макс не уступает Алексу, а по административному опыту и связям в нефтяном мире превосходит его. Поэтому если «Дабл Эй» будет и дальше заниматься тем бизнесом, стратегию которого разработал Алекс, то без Макса им не обойтись.

...На этот раз они встретились в Вене, в доме Макса. Разговор с самого начала принял деловой откровенный характер.

– Макс, я прилетел сюда, чтобы сделать вам серьёзное предложение. Но прежде хочу сказать, что я очень доволен работой, которую вы и Кляйн проделали в Австралии. Насколько я знаю, наша карта по блоку Стин Ривер также полностью подтвердилась, и вы не пробурили ни одной сухой скважины.

– Да, всё совершенно верно. Ваш метод указал нефтеносные рифы абсолютно точно. Скажу больше. Мы всё-таки пробурили две сухие скважины. Но они лишь подтвердили надёжность метода. Мы пробурили их намеренно на рифах, которые на вашей карте были отмечены как пустые, без нефти. Это была дополнительная проверка метода на отрицательный результат, если так можно выразиться. Иногда, как вы знаете, плохие результаты намного хуже, а хорошие – намного лучше, чем ожидается. На Стин Ривер получился второй вариант – результаты превосходили наши ожидания.

– Прекрасно. Итак, вы проверили метод, а мы проверили вас. Поэтому я сейчас здесь. Я полагаю, что наше сотрудничество не должно на этом закончиться. Наоборот, это только начало. Надеюсь, вы того же мнения. Помните, тогда, на кладбище, я сказал о своём предчувствии, что вы примете эстафету от Алекса и Андрея?

– Помню. И сейчас у меня нет возражений.

– Замечательно. Видите ли, Макс, я не геолог и вообще не нефтяник. Моя специальность – деньги. Поэтому давайте перейдём к ним. Вы знаете, за сколько мы продали Камерон?

– Не знаю, но примерно представляю.

– Мы продали Камерон за триста пятьдесят миллионов долларов. Месторождение Уинтон стоит не меньше, если не больше. На него уже есть покупатель. Разведка одного такого месторождения занимает примерно полгода. Работая без особого напряжения, мы можем готовить по три месторождения каждые два года. Грубо это почти миллиард долларов. Ни один другой бизнес не обеспечивает даже близкую норму прибыли. Полагаю, что дивиденды вашего пакета акций «Эрд-

ойль» в лучшие годы на много порядков ниже этой цифры. Извините, Макс, если затрагиваю ваши личные финансовые дела...

– Всё в порядке, Шмуэль. Я внимательно слушаю вас.

– Очень хорошо. Я предлагаю вам официально присоединиться к «Дабл Эй». Сейчас компания принадлежит трём владельцам. Моя доля составляет семьдесят процентов, и семьи Алекса и Андрея имеют по пятнадцать процентов. Остальной персонал – наёмные работники. Если вы примете предложение, то я готов продать вам часть своей доли, вплоть до тридцати процентов. «Дабл Эй» – это особая компания. Она не имеет промышленной инфраструктуры и стационарной собственности. Всё, чем мы владеем, это месторождения до их продажи и финансовые активы. Поэтому цена долевого участия по сравнению с доходами относительно невелика. После присоединения к компании вы автоматически получите доступ к ноу-хау. Это то, что касается финансовой стороны дела. Теперь о личных и профессиональных обязательствах. Вам придётся уйти из «Эрдойль». Как вы понимаете, совмещать интересы обеих компаний невозможно. Разумеется, вы можете сохранить пакет акций и получать дивиденды, но участие в работе австрийской компании исключается. Такова в общих чертах суть предложения.

– Всё это довольно неожиданно. Я должен подумать, Шмуэль, – сказал Макс.

– Да, конечно. Надеюсь, это не займёт много времени.

– Полагаю, что завтра смогу дать ответ. А пока такой вопрос. Как вы себе представляете нашу совместную работу в территориальном плане? Должны ли мы иметь общий офис в одной стране?

– Это не обязательно. Вы можете жить в любой стране. В Австрии или где-либо ещё. При нынешнем уровне электронных коммуникаций это не имеет особого значения.

– Ну что ж, это упрощает проблему. Знаете, Шмуэль, я ведь недавно женился. И моя жена ждёт ребёнка. А живёт она в Альберте, в прелестном горном городке Банф. И не хочет уезжать из него. Если я приму ваше предложение, то смогу открыть офис в Банфе. Не так ли?

– Почему бы и нет. В любом месте земного шара, кроме Арктики и Антарктики. Так вы теперь женатый человек, Макс. Примите мои искренние поздравления.

– Спасибо, Шмуэль.

– Мне начинает казаться, Макс, что вы склонны принять моё предложение. Не так ли?

– Пока ничего не могу сказать. Я должен подумать. Завтра дам окончательный ответ.

– Хорошо. До завтра.

Вечером позвонила Эсти и снова попыталась уговорить Макса встретиться где-нибудь в Европе.

– Макс, ты нарушаешь иерусалимскую конвенцию. Поверь, женитьба – это не форс-мажорное обстоятельство и не повод для прекращения наших отношений.

– Сожалею, Эсти, но я вынужден денонсировать конвенцию в одностороннем порядке, – в голосе Макса послышалась шутивная интонация. – А если серьёзно, то для меня женитьба – это больше, чем просто изменение семейного положения. Я женился на женщине, которую любил всю жизнь. И у нас скоро будет ребёнок.

– Вот как. Рада за тебя. И всё-таки очень жаль... Ну что ж, давай сохраним хорошие воспоминания.

– В этом можешь не сомневаться. Ты была прекрасным мгновением в моей жизни.

– Спасибо, Макс. Будь счастлив.

– И ты будь счастлива, Эсти.

На следующий день Макс дал согласие на предложение Шмуэля. Сразу после этого они обсудили некоторые общие юридические вопросы, связанные с его присоединением к «Дабл Эй», и договорились, что окончательным оформлением документов займётся Рон Берман. «Рон ознакомит вас также с материалами расследования событий, которые произошли в Австралии. Вы должны будете изучить их внимательно. У нас нет права на ещё одну ошибку», – сказал Шмуэль.

18

...Прошло три года. В малоэтажном Банфе на берегу горной реки появилось новое четырёхэтажное здание из чёрного базальта, стекла и бетона. На его фронто́не были выбиты две большие буквы «АА» и ничего больше. Широкие окна кабинета Макса выходили на трёхглавую горную вершину причудливой формы, как бы охраняющую город. Название её, «Три сестры», напоминало о пьесе Чехова, которую он видел когда-то в Вене. На стене, напротив его письменного стола, висели портреты Алекса и Андрея, подаренные Шмуэлем. Иногда Макс пристально всматривался в их лица, словно пытаясь понять некую тайну, связанную с этими двумя парнями из России, почти его ровесниками, чья трагическая судьба так тесно переплелась с его собственной. Как им удалось то, в чём потерпели неудачу все остальные? Счастливый случай, внезапное озарение или долгий целеустремлённый поиск? Что их объединяло, и в чём они отличались друг от друга? Внешне Алекс и Андрей были очень разные. Но что-то неуловимое сближало их даже на фотографиях. Наконец, Макс понял, в чём дело. Это было выражение глаз, а точнее – взгляд. Оба смотрели на него в упор, будто хотели не то спросить о чём-то, не то предупредить. Было в этом взгляде и напуганность, и предостережение одновременно. Они как бы говорили ему: «Макс, судьба выбрала тебя из тысяч других. Но не забывай, что за всё надо платить. И не только деньгами. В бизнесе, как и на войне, важны не отдельные победы, а конечный результат».

Макс придавал особое значение тому, что Алекс и Андрей были из России. У него имелись для этого веские причины. Работая в «Эрдойль», он много слышал о российских геологах. Их поразительные успехи на территории Австрии превратились в своего рода легенду, которая берёт начало со времени аншлюса, когда поиски нефти в стране резко активизировались. Германия катастрофически нуждалась в горючем и не жалела средств на разведочные работы. Открытие новых месторождений в Австрии стало стратегической задачей. Но несмотря на все усилия, результаты оказались более чем скромными. До конца войны были обнаружены только четыре очень маленькие залежи. Это привело к выводу, что потенциал открытий исчерпан и дальнейшие поиски не имеют смысла. После войны восточная часть Австрии вошла в советскую зону оккупации, и здесь было создано Советское нефтяное управление. Российские геологи, используя уникальный опыт открытия более тысячи месторождений в собственной стране и применив *open mind approach*, пришли к заключению, что нефть искали не так и не там, где следовало. Уже в 1949 году в десяти километрах от Вены они открыли самое крупное в Австрии нефтегазовое месторождение Матцен, которое стало давать шестьдесят процентов всей добываемой в стране нефти. А вслед за этим обнаружили крупнейшее газовое месторождение Цверндорф, из которого Австрия получает половину всего добываемого газа. В общей сложности за пять лет были выявлены восемь новых месторождений. Столь впечатляющие успехи за короткое время на крохотной территории между Веной и чешской границей, где до этого проводилась интенсивная, но почти безрезультатная разведка, вызвали конфуз и растерянность австрийских и немецких геологов. С тех пор престиж российской школы нефтяной разведки остаётся в Австрии очень высоким. Когда Макс однажды рассказал эту историю Шмуэлю, у него сразу же возникла аналогия с Израилем.

«Теперь я, кажется, знаю, что требуется для открытия у нас месторождений, – сказал он с хитроватым прищуром. – Нужно создать Российское нефтяное управление. А для этого необходима оккупация страны хотя бы на пять лет». Он помолчал и добавил серьёзно: «Впрочем, насколько я знаю, Алекс пытался применить в Израиле этот знаменитый *open mind approach*, но его и близко не подпустили к разведочным работам. Мы, слава богу, ещё не оккупированы русскими. Израильские геологи не хотят испытывать конфуз и растерянность, которые постигли их австрийских и немецких коллег. Они предпочитают оставить страну без нефти...»

...Иногда в кабинет Макса по дороге из детского сада заходила Джулия с маленьким рыжеволосым Леопольдом-Оскарком, который называл себя коротко Лео. Он сразу же начинал носиться по комнате и переворачивать всё, что мог. Устав, он забирался под письменный стол и затихал, устроившись у ног Макса.

...В специально оборудованных комнатах работали операторы. На их компьютеры непрерывно поступала информация из разных стран, где «Дабл Эй» одновременно вела разведку нескольких блоков. Техническое состояние скважин, результаты испытаний, каротажные диаграммы, анализ керна – все эти данные систематизировались и передавались Зигфриду Кляйну, а от него поступали к Максиму. Отдельное крыло занимали мобильные бригады, отбиравшие образцы почвы в районах разведки. Руководил ими Пьер Леже. Никто из сотрудников, включая Кляйна, не имел ни малейшего представления о том, как анализируются образцы и какая информация из них извлекается. Работа была организована так, что каждый знал лишь свой непосредственный участок. И только Максиму был известен весь технологический цикл и ноу-хау.

Аналитические приборы находились в Израиле. В связи с возросшим объёмом работ их количество было сначала удвоено, а затем утроено. Работали на них опытные специалисты под руководством Рахель Франк.

Охрану компании и личную безопасность ведущих сотрудников обеспечивало агентство Давида Бен-Эзры, который создал для этого специальный отдел. Шесть сотрудников отдела во главе с Морисом Шахаром постоянно находились в Банфе.

...Дела «Дабл Эй» шли всё лучше и лучше. Месторождения открывались, продавались, в разведку вводились новые блоки, на которых открывались новые месторождения. Всё это напоминало гигантский хорошо отлаженный конвейер, приносящий огромные прибыли. Макс и Шмуэль регулярно встречались, координировали работу и обсуждали текущие вопросы. Время Золотого Брегета продолжалось...

Такая активность не могла, конечно, ускользнуть от внимания нефтяных компаний. Многие признаки указывали на их возрастающий интерес к «Дабл Эй». Попытки этих компаний установить контакты с её сотрудниками и получить информацию пресекались людьми Мориса Шахара быстро и решительно. У Макса и Шмуэля эти попытки не вызывали особого беспокойства. Они знали, что служба безопасности надёжно прикрывает «Дабл Эй». Но вскоре им пришлось убедиться, что кое-кто имеет в отношении её более серьёзные намерения, выходящие за рамки сбора информации...

Однажды в секретариат компании позвонил незнакомый человек. Он коротко представился: «Салман Асад, Саудовская Аравия». Сказал, что находится в Банфе и хотел бы встретиться с руководителями «Дабл Эй». По времени это совпало, видимо, не случайно, с приездом Шмуэля. Секретарь передала его просьбу Максиму. Посоветовавшись, Макс и Шмуэль назначили встречу на следующее утро.

За десять минут до назначенного времени к офису подъехал лимузин. Из него вышли трое – Салман Асад и сопровождавшие его крепкие молодые люди. Охрана проверила их документы и обыскала. Затем Асада проводили на верхний этаж, в приёмную Макса, а его спутникам было предложено расположиться в вестибюле.

Гость вручил секретарю визитную карточку, которую она тут же отнесла в кабинет. Макс и Шмуэль с удивлением прочитали: «Доктор Салман Асад. Вице-президент Национальной нефтяной компании Саудовской Аравии. Глава группы советников министра нефтяной промышленности шейха Ахмеда Ямани». «Пригласите», – сказал Макс.

В кабинет вошёл высокий, худощавый, элегантно одетый человек с явно европейскими чертами лица. На вид ему было лет шестьдесят.

– Доброе утро, джентльмены, – произнёс он низким приятным голосом. – Вы, вероятно, удивлены моим визитом. Но мир нефтяного бизнеса сегодня очень тесен. Поэтому следует скорее удивляться тому, что мы не встретились раньше.

– Да, мы несколько удивлены, – ответил Шмуэль. – Но поскольку название вашей страны ассоциируется со словом «нефть», то ничего слишком удивительного в этом визите нет.

Асад улыбнулся.

– Прекрасно. Мне бы хотелось с самого начала внести ясность в предстоящую беседу. Прежде чем встретиться с вами, я получил исчерпывающую информацию о вашей компании, о её поразительных успехах и, не буду скрывать, о вас лично, джентльмены. Но вы обо мне ничего не знаете. Это ставит нас в неравное положение. Не в моих правилах вести разговор, зная многое о собеседниках, но оставаясь для них «таинственным незнакомцем». Чтобы устранить это неравенство, я готов ответить на ваши вопросы. Даже вопросы личного характера.

Шмуэль и Макс переглянулись.

– Хорошее начало, – сказал Шмуэль. – Нам оно нравится. Я, пожалуй, начну с вопроса, который покажется вам странным. Среди арабских интеллектуалов из стран Аравийского полуострова порой встречаются люди внешне мало похожие на арабов. Но всё же некоторые черты лица, иногда трудно уловимые, говорят об их происхождении. У вас, мистер Асад, совершенно отсутствуют столь характерные черты уроженца Саудовской Аравии. Чем это можно объяснить? Если считаете вопрос некорректным или неэтичным, можете не отвечать.

– Вопрос вполне корректный и этичный. Я, например, знаю, что вы оба евреи. И полагаю, что вы имеете право знать о моём происхождении. Я мусульманин, но не араб. Мои отец и мать родились в еврейских семьях в Галиции, принадлежавшей тогда Австро-Венгрии. В двадцатых годах они приняли ислам и навсегда связали свою жизнь с мусульманским миром. Я родился в Пакистане, где отец входил в состав высшего руководства страны. Он много лет был Полномочным послом Пакистана в ООН. Затем семья переехала в Саудовскую Аравию, где у отца было много друзей, в том числе члены королевской семьи и шейх Ямани, основатель Национальной нефтяной компании, – всё это Асад рассказывал с подкупающей прямоотой и откровенностью.

– Как звали вашего отца? – спросил Шмуэль.

– Мухаммед Асад.

– Мухаммед Асад? Не он ли автор книги «Принципы мусульманского государства»?

– Да, это его книга. Вы читали её?

– Читал.

– Перу отца принадлежит немало книг. Если помните, в «Принципах» он развивает тезис о глубокой связи между исламом и либеральной демократией.

– Помню. Но не разделяю его.

– Не вы один. У отца было много оппонентов. Особенно среди мусульманских теологов. И всё же я считаю, что в главном он был прав. Ислам в основе своей подлинно демократическое учение.

– Да, история необычная, – подвёл итог Макс. – Возможно, есть некий смысл в шутке американского писателя Бернарда Маламуда, сказавшего как-то, что все

люди евреи, только не все знают об этом... Итак, что свело вместе троих евреев? О чём они собираются говорить?

– Простите, мистер Адлер, но я не еврей. То случайное обстоятельство, что мой отец и мать родились евреями, не делает меня евреем.

– Не хотел вас обидеть.

– Вы совершенно не обидели меня. Поверьте, я рассказал о своём происхождении не для того, чтобы добиться вашего расположения. Вы спросили, я ответил. Не считаю, что должен что-то утаивать. К тому же эта история достаточно известна в мусульманском мире. Если у вас нет других вопросов, джентльмены, я бы хотел перейти к цели моего визита.

– Это нас весьма интересует. Итак, какова же цель? – спросил Макс.

– Мы хотим купить вашу компанию, – спокойно ответил Асад.

– Не больше и не меньше... – произнёс Шмуэль, не скрывая иронии.

– Больше нам не нужно, а меньше нас не устраивает, – Асад сделал вид, что не заметил иронического тона.

– Нам нечего продавать. У нас нет собственности, кроме здания, в котором мы сейчас находимся.

– Да, мы знаем, что ваши акции не продаются на бирже. Тейковер вам не грозит. Поэтому речь идёт о покупке метода, – невозмутимо уточнил Асад.

– Он не имеет цены, – сухо ответил Макс. – Так же как камень Кааба в Мекке.

– Наша стартовая цена два миллиарда долларов, – Асад говорил так, будто пропускал слова собеседников мимо ушей. – Но это не окончательная цифра. Вы можете предложить свою.

– Нам было очень интересно познакомиться с вами, мистер Асад, и узнать необыкновенную историю вашего отца. Но боюсь, вы совершили столь далёкое путешествие напрасно. Метод не продаётся, – твёрдо сказал Шмуэль.

– Не надо торопиться, джентльмены. Первая реакция не всегда правильная. Как я уже сказал, цена открыта для обсуждения. Я остановился в гостинице «Банф спрингс». И намерен пробыть в этих благословенных местах ещё неделю. Позвоните мне, если вам будет что сказать.

– Желаем хорошо провести время, мистер Асад. Спасибо, что посетили нас.

Когда Асад ушёл, Шмуэль взял лист бумаги и написал запрос своему другу в министерстве иностранных дел: «Срочно требуется информация о Мухаммеде Асаде, бывшем после Пакистана в ООН. Вопросы – семья, детство, учёба, карьера, социальный статус и всё остальное, относящееся к его жизни».

– Пусть секретарь отошлёт факс немедленно, – сказал он. – Саудовская нефтяная компания – одна из крупнейших в мире. Не мешает знать родословную её вице-президента более подробно.

Ответ из Тель-Авива пришёл на следующий день. «Мухаммед Асад, имя при рождении Леопольд Вайс. Родился в 1900 году в Лемберге (сейчас Львов), Галиция, тогда часть Австро-Венгрии. Дед Якоб Вайс – ортодоксальный раввин, отец Соломон Вайс – адвокат. Вскоре после рождения Леопольда семья переехала в Вену. Изучал философию и историю искусств в Венском университете. Курс не закончил, занялся журналистикой. Стал широко известен после публикации в 1921 году статьи о подлинных масштабах голода в Поволжье, вызванного большевистским переворотом в России. Материалы для статьи передала ему Екатерина Пешкова, жена писателя Максима Горького, приехавшая в Германию собирать средства для голодающих. Статья произвела сенсацию, и Вайс получил предложения о работе сразу от нескольких крупнейших газет. Принял предложение «Франкфуртер цайтунг». Был послан её корреспондентом на Ближний Восток, где провёл три года. В Палестине разочаровался в сионизме и увлёкся исламом. объехал все арабские страны, завязав тесные связи с их руководителями и духовными

лидерами, особенно с саудовским королём Абдулом Азизом ибн Саудом. В 1926 году Вайс и его жена Эльза перешли в ислам. Изучал арабский язык в Каирском университете Аль-Азхар. С этого времени Вайс под именем Мухаммед Асад начинает играть заметную роль в мусульманском мире. Был убеждён, что будущее западной цивилизации связано с исламом. В конце сороковых годов возглавил борьбу за отделение мусульманских районов от Индии и разработал правовые основы создания независимого Пакистана. В 1947 году вошёл в состав правящей верхушки страны, а затем стал послом Пакистана в ООН. Был инициатором нескольких антиизраильских резолюций. Ушёл с поста после военного переворота в 1955 году, возглавленного Айюб-ханом, и переехал в Саудовскую Аравию, где занимался нефтяным бизнесом и литературной деятельностью. Его перу принадлежат перевод Корана на английский и ряд философско-религиозных трудов, среди которых наиболее известны «Принципы мусульманского государства», «Дорога в Мекку», «Ранние годы ислама» и автобиография «Возвращение сердца». Умер в 1992 году. Единственный сын Салман занимает руководящий пост в Национальной нефтяной компании Саудовской Аравии. Родители Вайса-Асада, сестра Клара и брат Якоб погибли в лагере смерти Маутхаузен, Австрия».

Шмуэль передал текст Макс.

– Удивительная история, Макс. И тоже начинается в Вене, как и ваша. Что вы думаете обо всём этом?

Макс прочитал сообщение с нескрываемым интересом. Последние слова произнёс вслух: «Погибли в лагере смерти Маутхаузен».

– Моя семья тоже погибла в Маутхаузене, – сказал он. – Знаете, Шмуэль, а ведь этот Салман Асад и я в некотором роде даже родственники. Его тётя Клара была женой моего дяди Теодора Ландау. Согласно генеалогическому древу, о котором я вам рассказывал, она дочь адвоката Соломона Вайса из Галиции. А Мухаммед Асад его сын. Впрочем, Салман Асад вряд ли знает об этом... Да, какой невероятный культурный, религиозный и идеологический кульбит всего за три поколения – от ортодоксального галицийского раввина до представителя Пакистана в ООН. Признаться, когда вчера я слушал нашего визитёра, то слабо верил в его рассказ. Оказывается, всё правда, всё так и было. Нужно ли придумывать закрученные литературные сюжеты и киносценарии, если самые невероятные истории можно брать из жизни...

– Да, поразительная история. Такие кульбиты обычно заканчиваются выморочными идеями. Только воспалённому воображению прозелита мог померещиться в исламе дух либеральной демократии. Еврейский лжепророк, заблудившийся в мусульманском религиозном болоте. А сколько их заблудилось до и после него в политических дебрях Европы и России... Интересно, что за три года до рождения этого Леопольда-Мухаммеда другой венский журналист, Теодор Герцль, основал политический сионизм и проложил путь к созданию еврейского государства. А его земляк Вайс стоял у колыбели возникшего одновременно с Израилем мусульманского государства – одного из самых сильных и фанатичных. Такие кульбиты свойственны определённой разновидности евреев, обуреваемых патологической страстью лезть в чужие дела. Они несут в себе особый ген-мутант, заставляющий их делать это. А расплачивается весь народ... Сегодня Пакистан – центр исламского фундаментализма и единственная мусульманская страна, обладающая атомной бомбой. Непримируемый враг Израиля. Внук галицийского раввина был его повивальной бабкой. Теперь правнук раввина хочет купить для Саудовской Аравии, другого центра фундаментализма, прямой метод. В нефтяном мире это почти то же, что атомная бомба в мире глобальной политики. Мессианские метания отца и сына на тупиковых мусульманских дорогах сделали ещё один твист и столкнулись с «Дабл Эй». Вместо наивного соединения ислама с чуждой и эфемерной либеральной демократией Салман Асад решил оснастить его реальным инструментом

для экономической и политической экспансии. Итак, что вы думаете, Макс, об этом предложении?

– Я думаю, у них нет таких денег, за которые можно купить «Дабл Эй». Даже если они превратят в доллар каждую песчинку Аравийской пустыни...

– Ну, это уж чересчур, – рассмеялся Шмуэль. – Впрочем, иногда «чересчур» – это то, что нужно. Мне нравится ваша мысль.

19

Макс отвёз Шмуэля в аэропорт Калгари и возвращался поздно вечером в Банф. Дорога уже вошла в горы, когда вдруг фары его машины высветили старенький «форд» на обочине. Из-под капота валил пар. Рядом стояла молодая женщина в спортивном костюме с дорожной сумкой на плече. Он остановил машину и спросил – не нужна ли помощь?

– Вряд ли вы сможете помочь. Кажется, потерялась крышка радиатора и вода выкипела.

– Куда вы едете? – спросил Макс.

– В Канмор. Это двадцать километров отсюда.

– Садитесь, я подвезу. Я еду в Банф. Канмор как раз на полпути.

– Спасибо. Я только возьму вещи.

Она открыла багажник и вынула чемодан. По тому, как она наклонилась, было видно, что он очень тяжёлый.

– Поставьте на землю. Я помогу, – Макс поднял чемодан. – Что в нём?

– Книги.

Он перенёс чемодан в свой багажник.

– Это всё? Больше ничего не хотите взять?

– Больше ничего.

...Они ехали уже минут пять, но женщина не произнесла ни слова. Макс мельком взглянул на неё – миловидное лицо, большие чёрные глаза, короткая стрижка. Где-то он уже видел её. Но где?

– Вы всегда так молчаливы? – спросил он.

– Извините, я немного устала. И потом, эта неприятность с машиной...

– Да, да. Я понимаю, – он подумал, что вопрос мог показаться грубоватым, и решил разрядить обстановку. – Меня зовут Макс Адлер.

– Очень приятно, мистер Адлер. Мария Фаркаш, – представилась она.

– Фаркаш? Вы из Венгрии?

– Да. Но в Канаде уже два года.

– А что вы делаете в Канморе?

– У меня здесь школа спортивных танцев. Я закончила физкультурный институт в Будапеште, – объяснила она.

Мария поставила сумку на колени и стала что-то искать в ней.

– Что-нибудь потеряли? – спросил Макс.

– Не могу найти косметичку. Наверное, оставила в машине.

– Хотите вернуться?

– Ну, что вы. Такая мелочь.

Подъехали к её дому.

– На каком этаже вы живёте? – спросил Макс.

– На третьем.

– Я донесу чемодан.

– Спасибо, вы очень любезны. Но я справлюсь сама.

– Нет-нет. Он слишком тяжёлый.

Они поднялись на третий этаж.

– Большое спасибо, – сказала Мария. – Я бы с удовольствием пригласила вас на чашку кофе, но у меня не очень убрано.

– Не беспокойтесь, – ответил Макс. – Я спешу. Как-нибудь в другой раз. Доброй ночи.

– Доброй ночи, мистер Адлер.

Он сбежал по лестнице, сел в машину и продолжил путь в Банф. Уже дома, въехав в гараж, Макс случайно бросил взгляд на пол перед соседним сиденьем и увидел маленькую жёлтую сумочку. Это была та самая косметичка, которую искала его пассажирка. Он открыл её. Содержимое было обычное – губная помада, пудреница, разная косметика. В маленьком внутреннем карманчике лежали сто долларов и несколько визитных карточек. Он вынул одну и прочитал: «Мария Фаркаш. Школа спортивных танцев. Адрес, телефон».

Макс задумчиво вертел в руках косметичку. Потом поднял глаза, посмотрел на портреты напротив и спросил вслух: «Что вы думаете об этом, ребята?» Алекс и Андрей молча смотрели на него. Не дождавшись ответа, снял телефонную трубку и набрал номер.

– Доброе утро, Морис. Зайди ко мне. И захвати свой отчёт по расследованию австралийских событий.

За минувшие три года Макс заметно изменился. Если раньше конфликты, в которых ему приходилось участвовать, касались только его самого, то теперь ставки были другие. По мере погружения в мир большого бизнеса он всё яснее понимал, что великодушие, мягкость и склонность к прощению – наказуемы и угрожают существованию компании. Да и в личном плане ситуация отныне была не такая, как прежде. Теперь удар по нему означал удар по Джулии и маленькому Лео, который стал смыслом его жизни, продолжателем рода. Это сделало Макса жёстким, готовым решительно и без промедления реагировать на угрозу. В минуту опасности он теперь становился всё больше похожим на Шмуэля – холодный взгляд, собранность, чёткие распоряжения...

Морис вошёл в кабинет через несколько минут. В руках у него была толстая папка. Он вынул из неё отчёт и положил на стол.

– Садись, Морис. А я пока посмотрю кое-что, – сказал Макс.

Он прочитал несколько страниц и поднял голову.

– Как же всё-таки решился вопрос с Рональдом Кларком? Вы нашли его?

– Мы узнали, что он в Бразилии. Но когда наши люди прибыли туда, его уже не было. В Лондон он не вернулся.

– Понятно.

Макс вынул из карманчика на внутренней стороне обложки газету «Лонгрич Ньюс». В ней было интервью с Юдит Добос и фотография. Большие чёрные глаза, короткая стрижка...

– Ещё вопрос. Напомни, пожалуйста, почему эта Мата Хари привлекла твоё внимание?

– Нашёлся человек, который видел её в машине доктора Франка незадолго до похищения. Кроме того, клерк из «Козерога» рассказал, что она ночевала в гостинице накануне вылета группы в Перт. Это было подтверждено записью в книге регистрации. Но мы не смогли найти её. Исчезла бесследно.

– Она не исчезла, – задумчиво произнёс Макс.

Он подробно рассказал о вчерашней встрече на дороге и заключил: «Судя по фотографии, Фаркаш и Добос – одно лицо». Затем протянул Морису косметичку и визитную карточку.

– Займись этим, Морис, – голос Макса был жёстким, и глава службы безопасности уловил это.

– «Школа спортивных танцев», – прочитал он. – В Лонгриче была школа аэробики. Как говорил мой инструктор, шаблон врага – твой лучший друг... Если это действительно она, то напрашиваются три вывода. Во-первых, ваш маршрут, мистер Адлер, и время поездки отслеживались, а неисправность машины инсценирована. Во-вторых, тяжёлый чемодан потребовался для того, чтобы вы, как джентльмен, донесли его до двери. Если бы проявили настойчивость, то могли получить приглашение на чашку кофе. И в-третьих, если бы чашка кофе не состоялась, то должны сработать сто долларов. Они обязывают вас приехать и вернуть косметичку. План хитроумный, но дилетантский. Как бы то ни было, мистер Адлер, с сегодняшнего дня вы и ваша семья будете находиться под постоянной охраной. Это приказ. А со школой спортивных танцев мы разберёмся...

– Ну, что ж. Приказ есть приказ, – Макс улыбнулся.

«Судя по австралийским событиям, эти спортивные танцы не столь забавны и безобидны, как церемонные восточные телодвижения Салмана Асада, размахивающего чековой книжкой», – подумал он и вспомнил слова Шмуэля: «У нас нет права на ещё одну ошибку».

20

...До наступления третьего тысячелетия оставалось около полугода. В небольшом городке Котал у подножья Гималаев на пакистано-афганской границе съехались несколько десятков человек. Они прибыли со всех концов мусульманского мира. И хотя одни из них были богатыми бизнесменами, а другие занимали высокое положение в своих странах, на пыльной площади перед неприметным зданием медресе, в котором они собрались, не было ни лимузинов, ни дорогих машин. Здесь стояли только старые обшарпанные джипы и такие же выдавшие виды легковые автомобили. Подстать машинам была и одежда прибывших. Посторонний наблюдатель мог бы принять их за торговцев средней руки или контрабандистов, переправляющих через границу наркотики и оружие.

Когда все поднялись в зал на верхнем этаже, наступило время второго салата⁹. В этот момент через незаметную боковую дверь рядом с михрабом¹⁰ вошёл худощавый высокого роста человек лет пятидесяти. Одет он был в длинную светлосерую галабию, под которой виднелась рубашка цвета хаки. На узком лице с усами и аккуратной длинной бородкой выделялись большие печальные глаза и крупные чувственные губы. На голове его был белый тюрбан. Облик и одежда выдавали в нём уроженца Аравийского полуострова. Взгляды присутствующих сразу же обратились к нему. Вошедший застенчиво улыбнулся и жестом пригласил собравшихся приступить к салату. Он расстелил маленький коврик, опустился на него и провёл ладонями по лицу. Все сделали то же самое.

По окончании молитвы охранники убрали коврики и расставили рядами стулья, стоявшие до этого вдоль стен. Затем они вышли и плотно закрыли за собой двери. Помещение превратилось в небольшой зал заседаний. На возвышении около михраба установили простой стол, и три человека, включая «аравийца», сели за него. Один из них взял микрофон, поблагодарил собравшихся за то, что они проделали такой далёкий трудный путь, и предоставил слово главе Аль-Каэды Усаме Бин-Ладену. «Аравиец» подошёл к трибуне.

– Уважаемые братья, – начал он тихим ровным голосом, – вы все знаете, с какой целью руководство нашей организации пригласило вас в это место, удалённое от глаз тех, кто не должен знать о наших планах. Наступает третье тысячелетие

⁹ Пятикратная ежедневная молитва, арабск.; на фарси – намаз.

¹⁰ Специальная ниша для молитвы.

христианской эры. Для нас, мусульман, эта дата не имеет никакого значения – ни исторического, ни календарного, ни символического. Мы живём в 1378 году хиджры¹¹. И это единственное истинное летоисчисление, установленное пророком Мухаммедом по воле Аллаха. Поэтому если третье тысячелетие что-то и символизирует, то только прогрессирующее одряхление так называемой западной цивилизации, по сравнению с которой наша религия и культура моложе почти в два раза. И, соответственно, у нас во много раз больше жизненных сил и веры в то, что будущее принадлежит исламу, а не прозябшему в пороках альянсу Запада с сионизмом. Но посмотрим правде в глаза, братья. Это будущее может оказаться очень далёким, если мы не приблизим его с помощью джихада, завещанного нам пророком. Уклонение от джихада под разными предлогами – это самый большой грех перед Аллахом, особенно в свете следующего важного обстоятельства. Если для нас, как я уже сказал, первый год нового тысячелетия – это всего лишь еще один год хиджры, то подверженный нелепым страхам и суевериям Запад готовится чуть ли не к концу света. Бесчисленные предсказатели и аналитики запугивают природными и техногенными катастрофами, эпидемиями, новыми, неизвестными ранее, болезнями. Нашлись даже специалисты, заявляющие о предстоящем коллапсе глобальной сети Интернета. Всё это делает ближайший год, с точки зрения психологического эффекта, исключительно благоприятным для крупномасштабной операции. Таковы общие положения. Теперь о конкретных планах. Некоторое время назад Аль-Каэда ознакомила вас со своей стратегической концепцией. Она заключается в нанесении внезапных сокрушительных ударов по наиболее важным и уязвимым объектам экономической, социальной и военной инфраструктуры Запада. Руководство организации приняло принципиальное решение, что первый удар будет нанесён 11 сентября, когда пророк Мухаммед прибыл в Медину и возвестил начало эры хиджра. Аллаху угодно, чтобы сентябрь 2001 года стал началом эры глобального джихада. Какова ваша роль, братья, в этих планах? Не секрет, что мы не смогли прийти к единому мнению относительно главного объекта для удара. Поэтому год назад мы обратились к вам, уважаемые спонсоры, с просьбой помочь в выборе такого объекта. Наша аналитическая группа рассмотрела все поступившие предложения. Одно из них признано наиболее серьёзным и перспективным, поднимающим планку борьбы с Западом на новый уровень. Отныне все наши усилия сосредоточены на его детальной разработке. Автор этого замечательного предложения находится в зале (Усама едва заметно кивнул кому-то во втором ряду), и я хочу особо поблагодарить его. Считаю долгом выразить признательность и другим авторам, чьи рекомендации мы получили. К сожалению, не все поняли наше обращение правильно. Например, алжирские братья предлагают разрушить Эйфелеву башню. Они не учитывают, что совсем скоро этот символ Франции станет высочайшим в мире минаретом и укажет Европе путь к исламу. Некоторые другие братья решили, что с нашей помощью они могут устранить своих западных конкурентов и внесли весьма курьёзные, чтобы не сказать смехотворные, предложения. Так, некая уважаемая фирма по производству ковров, оказывающая нам посильную финансовую поддержку, предлагает взорвать несколько ковровых фабрик в Европе (в зале раздался общий смех). Недалеко ушла от неё и одна уважаемая нефтяная компания, которая желает разделаться с какой-то еврейской нефтяной фирмой (при этих словах Салман Асад, сидевший в первом ряду, бросил на Бин-Ладена презрительный взгляд. «Усама остался таким же надутым болваном, каким был всегда», – мысленно отметил он). Но некоторые предложения нас заинтересовали как возможные объекты второй и третьей

¹¹ 11 сентября 622 года Мухаммед прибыл в Медину из враждебной Мекки. Эта дата считается началом мусульманской эры хиджра.

очереди. В ближайшее время мы обсудим их в рабочем порядке. Что касается других рекомендаций, то авторы приглашаются ещё раз разъяснить свою позицию. Мы их внимательно слушаем. Нельзя исключить, что мы чего-то не поняли. Ведь мы всего лишь скромные воины Аллаха, а не мудрецы или учёные, – Усама печально улыбнулся.

Когда Бин-Ладен покинул трибуну, Салман Асад подошёл к нему.

– Усама, ты в самом деле не мудрец. Как у тебя хватило ума поставить наше предложение в один ряд с просьбой этого ковровщика? Как ты можешь сравнивать нефть, наше главное оружие, с коврами? Я хочу серьёзно поговорить с тобой и с членами этой твоей аналитической группы.

– Хорошо, уважаемый Салман. Мы можем ещё раз обсудить твоё предложение. И прошу тебя – не обижайся. Меня завалили этими так называемыми проектами. Если бы верблюд моего дедушки увидел некоторые из них, он бы умер от смеха.

После обеда человек Бин-Ладена приехал за Асадом и отвёз его в маленький ничем не примечательный домик на окраине городка, у въезда в Хиберское ущелье. Там уже собралась вся аналитическая группа из семи человек. Среди них были специалисты по строительству и эксплуатации высотных зданий, эксперты по городской инфраструктуре, экономисты, психологи. Один из аналитиков, представленный Асаду как эксперт по баллистике и направленным взрывам, оказался, к его удивлению, голубоглазым блондином лет сорока, с внешностью профессора. Асад обратил внимание на едва заметную ироническую улыбку, которая появилась на его лице, когда кто-то произнёс слова «по воле Аллаха». Тем не менее было очевидно, что Бин-Ладен относится к нему с большим уважением и доверяет не меньше, чем остальным членам группы.

Асад начал с того, что объяснил собравшимся значение нефти в мировой экономике и политике. Он приводил цифры, ссылаясь на исторические примеры, когда Германия и Япония проиграли войну из-за отсутствия этого стратегического сырья, напомнил недавние события, связанные с Кувейтом и Ираком.

– В мире нет ничего важнее нефти, – продолжал он. – По воле Аллаха мы владеем огромными запасами её и можем диктовать цены на мировом рынке. Но с годами поиски новых месторождений становятся всё труднее и дороже. И вот появляется какая-то ранее не известная фирма, принадлежащая двум евреям, которые изобрели новый исключительно дешёвый метод обнаружения нефти. Пока они используют его только для себя. Но история учит, что такие фундаментальные изобретения не могут долго оставаться тайной. Недалеко время, когда этот метод станет достоянием всех нефтяных компаний, и тогда цена на нефть резко упадёт. Это отразится не только на наших доходах, но и на финансовой помощи, которую получает Аль-Каэда. В современном мире, братья, всё взаимосвязано, и ваши интересы неотделимы от наших. Мы попытались купить изобретение, предложили хорошую цену. Но натолкнулись на решительный отказ. Владельцы фирмы даже не пожелали обсуждать сделку. Поэтому руководство компании возлагает решение проблемы на тебя, Усама, и на твою организацию.

– Мы с большим вниманием выслушали тебя, уважаемый Салман. И не можем не согласиться, что нефть, дарованная нам Аллахом, имеет важное значение для джихада. Запад платит нам за нее мизерную цену. Это величайший грабёж за всю историю человечества. Придет время – и мы сокрушим Америку и Европу с ее помощью. Но цель нашей первой крупномасштабной акции не только военная или экономическая. Прежде всего она психологическая. И если мы направим её против этой малоизвестной фирмы, о которой ты говоришь, то о психологическом эффекте можно забыть. Сожалею, уважаемый Салман, но мы не можем не учитывать это. Почему бы тебе не обратиться к палестинским братьям? Они с радостью сделают эту работу. И вам она обойдётся дешевле. Но если ты всё-таки настаива-

ешь, чтобы её выполнила Аль-Каэда, то мы можем включить эту еврейскую фирму в наш общий список объектов и заняться ею в порядке очерёдности.

– Мы платим тебе, Усама, а не палестинцам. И требуем выполнения обязательств, взятых на себя Аль-Каэдой. Очерёдность объектов меня не интересует. Это ваши внутренние бюрократические игры. Работа должна быть сделана.

– Хорошо, уважаемый Салман. Мы снова обсудим твоё предложение. Время ещё есть. Аллах акбар!

– Аллах акбар! – ответил Асад. – А сейчас меня ждёт вертолёт. Распорядись, Усама, насчёт машины.

После ухода Асада раздалась негодующие возгласы. Присутствующие были задеты и даже оскорблены не только его требованием, но и тоном, которым он разговаривал с Усамой. Наконец Бин-Ладен призвал к тишине.

– Этот еврей считает, что за деньги можно купить всё – нефть, кровь шахидов и даже акции джихада, – сказал он раздражённо. – Он думает, что если даёт деньги, то может приказывать тем, чьи деды водили верблюжьи караваны по священной Аравийской пустыне. Но он ошибается. Омар, как проходит подготовка операции «Хиджра» в Нью-Йорке и Вашингтоне?

– Всё идёт по плану, уважаемый Усама. Шахиды уже закончили курсы пилотов и заняты изучением маршрутов и расписания полётов на внутренних авиалиниях.

– Если Аллаху будет угодно... – смиренно произнёс Бин-Ладен и молитвенно сложил ладони.

– Да будет Аллаху угодно! – уверенно воскликнул шейх Омар. – Аллах акбар!

– Аллах акбар! – ответили аналитики.

В этот момент голубоглазый блондин многозначительно кашлянул. Бин-Ладен это заметил.

– Вы хотите что-то сказать, уважаемый профессор? – спросил он.

– Да, если позволите, уважаемый Усама. Я не ставлю под сомнение необходимость операции «Хиджра», но вместе с тем полагаю, что к предложению мистера Асада также следует отнестись со всей серьёзностью. В будущем именно оно может способствовать превращению нефти в ваше главное стратегическое оружие, о чем вы сами упомянули в разговоре с ним. Поэтому было бы разумным помочь ему овладеть методом, о котором он говорил.

Бин-Ладен посмотрел на профессора с неожиданным интересом.

– Вы так думаете? В таком случае не могли бы вы изложить свою мысль более подробно в письменном виде?

– С удовольствием, уважаемый Усама. Но для этого мне необходимо встретиться с мистером Асадом.

– Хорошо. У меня нет возражений.

Август, 2003 г. Иерусалим

СТЕНОГРАФИЯ НАЧАЛА ВЕКА

Фрагменты дневниковой эссеистики. См. «Зарубежные записки» 4, 2005.

Возвращение здравого смысла

В недавнем «Огоньке» кинорежиссер С. рассуждает о том, что свобода не благоприятна для большого искусства. «Свобода – это отсутствие координат». «Рынок сделал своё дело – появились обслуживающие литература, кино, живопись... но вряд ли они породят какой-то шедевр». «В наше общество вернулся здравый смысл». Но «здравый смысл и искусство, в общем – полярные вещи». Определённого успеха можно добиться «на уровне энтэртэймента». Это слово пишется по-русски, как и слово трэш. Одно издательство выпускает даже серию книг «Коллекция трэш». Я решил уточнить набор синонимов по словарю: trash – отбросы, хлам, мусор, макулатура, плохая литература, ерунда, вздор, халтура...

Всё это в порядке вещей, так и должно быть. Когда-то, глядя на благополучных западных людей, и сейчас, читая самодовольные рассказы наших успешных деятелей, я пытался понять одно: насколько счастливы эти люди, насколько по-настоящему ощущают они свою жизнь? В. рассказывает о своих банковских сотрудниках: им не о чем говорить, только о вещах, кто-то чувствует себя несчастным оттого, что у сослуживца часы лучшей марки, чем у него. Е. Т. рассказывает, как, приехав в очередную страну, очередной город, люди не успевают там ничего увидеть, занимаются шопингом, увозят не впечатления – сумки с покупками.

(Сколько, между прочим, английских слов приводится без перевода.)

Купив в эти же дни новый картридж (вот ещё одно слово, и не заменить его русским), я стал приводить в порядок распечатку стихов – и вспомнил один давний:

Скучно думать, приятней расслабиться
Без усилий, без испытаний,
Под ритмичный переплеск
Равномерных посильных занятий,
Наплывающих впечатлений,
Где на очереди конец.

Читая «Беседы с А. Шнитке»

Для Шнитке шлягерность – наиболее прямое проявление зла в искусстве. Шлягерность – символ стереотипизации мыслей, ощущений. «Это и есть самое большое зло: паралич индивидуальности, уподобление всех всем».

«Естественно, что зло должно проявляться. Оно должно быть приятным, соблазнительным... Я не вижу другого способа выражения зла в музыке, чем шлягерность...»

Выражение негативных эмоций – разорванная фактура, разорванные мелодические линии... – это тоже, конечно, изображение некоего зла, но зла не абсолютного. Это – зло сломанного добра... Выражение истеричности, нервозности, злобы – есть выражение болезни, а не причины. А вот шлягерность – ближе к причине».

Одно его высказывание меня озадачило. «Я себя ловлю на том, что сейчас – в отличие от того, что было раньше, – мне человек сразу ясен. Сразу, окончательно ясен. И мне стало страшно скучно. И вообще мне ужасно скучно».

Вспомнилось, как я подошёл к нему однажды, неловко попробовал заговорить, он (после инсульта) пытался приподняться со стула, Элем Климов его удерживал, укоризненно давая мне понять: вы же видите, человеку трудно. Стал ли я ему сразу ясен? (Я сказал ему, что недавно слушал его альтовый концерт, но не мог сразу назвать, какой.)

Но ведь так не бывает, не может быть. «Он, наверно, конструировал человека и думал, что всё о нем знает, – предположила Г., когда я заговорил с ней об этом. Никто не может быть окончательно ясен, каждый так сложен. Ты сам себе ясен?»

Возможно, он не совсем точно выразился. Но замечательно продолжение: «У меня такое ощущение, как будто голову мою вырвали из этого мира, а меня оставили в нём. И я делаю то, что уже знаю».

Это похоже на самочувствие моего нынешнего героя.

На удивление болезненной оказалась для Шнитке национальная проблема. Полуеврей, полунемец, еврейского языка и культуры не знает, но с детства чувствовал себя евреем, когда его обзывали «жид». Внешность еврейская. «Во мне нет ни капли русской крови», – не раз повторяет он. И при этом чувствовал себя принадлежащим русской культуре (даже русской музыке, что для меня не совсем понятно). На Западе, даже в Германии, на языке которой стал говорить раньше, чем по-русски, чувствует себя не совсем дома. «Я хочу жить здесь и там».

Для меня многое определённой. Пишущий человек особенно принадлежит стране своего языка, своей культуры. Что значит кровь? Мне кажется более существенным то, что этологи называют, кажется, импринтингом – запечатлением. Конрад Лоренц сделал потрясающее открытие: для утят матерью оказывается первый движущий предмет, который они увидят, вылупившись из яйца. Он отсадил в последний момент с яиц утку, задвигался перед утятами сам – и деревянная изумлённо наблюдала, как свеженький утиный выводок шествует за человеком в шортах к пруду и входит вслед за ним в воду. Для человека решающими оказываются первые «запечатлённости»: лицо матери, голос, запах, слово, язык, пейзаж, первые колыбельные, первые сказки, «Колобок», «Репка» – до понимания. Потом будут другие сказки, может быть, другие страны, другие люди, другой язык – но это запечатлется неизгладимо, неосознанно, необъяснимо.

Возможно, есть память ещё глубже – память до рождения, память крови, но об этом я судить не готов.

Salon du livre

Париж, книжная ярмарка. Утром – встреча с детьми, читателями моей сказки «Учитель вранья». Они ехали из пригорода, задержались – была забастовка железнодорожников. Переводчик, имени которого я при знакомстве сначала не расслышал, сказал: «Это шантаж. Только во Франции государственные служащие имеют право на забастовку. Работники частных предприятий должны вставать в 5-6 часов утра, чтобы пешком дойти на работу. И ничего с этим невозможно поделать. Меньшинство диктует свои условия большинству. В России большевики захватили власть, хотя тоже были меньшинством». Когда французы стали меня представлять, он услышал, что я переводил с немецкого, спросил, знал ли я Богатырёва, Копелева. Это оказался Никита Кривошеин, сын соллагерника Копелева. Я попросил у него электронный адрес, сказал, что пришлю свой текст о Копелеве. Среди школьников были темнокожие и арабы, они держались особняком. «Вы обратили внимание на этнический состав?» – спросил меня Кривошеин. Когда я повторил свой вопрос, который задавал здесь многим: падает ли уровень образования из-за притока в школы людей, которые плохо знают язык, культуру? – он ответил мрачно: «Это катастрофа». Среди вопросов, которые мне задали школьники (с подачи учителей, я думаю), был такой: почему у меня кот в шлёпанцах? Я ответил: «Помните, у Шарля Перро он был в сапогах?» Оказалось, дети не знали «Кота в сапогах», вообще Шарля Перро. У нас, мне кажется, его знают все. Встре-

ча прошла неплохо, дети читали свои сочинения для школы вранья (написанные, скорей всего, с помощью учителей).

Вечером посидели в ресторане с моей переводчицей Л.Т.. Я заговорил о парижской атмосфере, которая отличает этот город от Москвы: спокойствие, доброжелательность, улыбочивые лица, нет пьяных. Она покачала головой: здесь тоже проблемы. И рассказала, как на демонстрацию школьников, которые протестовали против какого-то нового закона, напали парни, в том числе темнокожие, стали избивать. Причины, по её словам, не расовые, не идейные – просто проявление агрессивности, которая ищет выхода. Надо, конечно, сознавать, что наши впечатления – впечатления экскурсантов.

Кривошеин откликнулся на присланный мной текст о Копелеве («позднем Копелеве», как написал он). Сам он познакомился с ним ещё в 54-м году, у него другие воспоминания. «В Марфино он подарил моему отцу к 50-летию 2 тома Ленина по-французски и сам написал предлинную поэму во славу т. Сталина – наподобие Моисея, он вёл жестоковыйный русский народ к светлому будущему».

Счастье концлагеря

В «Иерусалимском журнале» тягостно было читать роман нобелевского лауреата Имре Кертеса «Обездоленность». Два года (1944-45) из жизни еврейского мальчика, сначала в Венгрии, мобилизация в рабочий батальон, работа на заводе, потом концлагерь, Освенцим, Бухенвальд, наконец освобождение, возвращение в Будапешт. Через всё это автор прошёл сам. Тщательно выписанные подробности невыносимой повседневности – и стремление к ней приспособиться, даже примириться с ней. Невыносимо. Некоторые страницы я, признаться, пропускал, бегло пролистывал.

Но самые последние страницы меня просто ошеломили. В Будапеште люди сочувственно расспрашивают подростка о пережитом. «Тебе надо забыть эти ужасы», – говорит один. Его ответ слушателей изумляет: «Я не замечал, чтобы были ужасы». – «Что это значит, – хотели они знать, – “не замечал”?» «Тогда я, в свою очередь, у них спросил: а они что делали в эти всем известные “тяжёлые времена”? “Как сказать... жили”, – задумался один».

Тут я, чтобы перепроверить память, открыл свой роман «Возвращение ниоткуда»: буквально то же производит в своем «последнем слове» перед абсурдным судом отец рассказчика: «Мы жили». Потом продолжил чтение.

«Старались выжить», – прибавил другой. Стало быть, они тоже всё время делали шаг за шагом, – установил я. Как это понимать: делали шаг за шагом? – не поняли они, и тогда я им тоже рассказал, как это происходило, например, в Аушвице... Десять-двадцать минут на ожидание, пока дойдёшь до той точки, где решится: сразу ли в газ или ещё один шанс. Между тем очередь всё движется, всё подвигается, и каждый делает шаг, то поменьше, то побольше... Мы никогда не можем начать новую жизнь, всегда только продолжаем старую. Шаг за шагом делал я, и никто другой, и, я объявил, в заданной мне доле я всегда хранил порядочность... Того ли они хотят, чтобы вся эта порядочность и все мои предыдущие шаги, все до одного, потеряли всякий смысл?.. Нельзя, пусть попробуют понять, нельзя отобрать у меня всё».

Как это нам знакомо, какое тут обобщение! Это не только о концлагере. «Когда я прошёл диктатуру Ракоши 50-х годов, восстание 1956 года, его давление и особенно последующий длинный процесс приспособления кадровых времён, когда приманили к себе людей – вот тогда я понял, что же такое произошло в Освенциме», – говорит Кертес. Приводя эти слова в предисловии к публикации, Жужа Хетенъи (которая перевела роман вместе с Шимоном Маркишем) пишет «о негативной инициации человечества, вступившего после Катастрофы в новую эпоху».

А может, ещё до Катастрофы – у нас через схожий опыт прошли раньше.

«Хотелось бы ещё немного пожить в этом славном концентрационном лагере», – ностальгирует на свободе герой. «В известном смысле жизнь там была чище и проще... Ведь ещё там, даже рядом с дымовыми трубами, было в перерывах между муками что-то, походившее на счастье. Все спрашивают только про тяготы, про “ужасы”: а между тем, что до меня, может быть, это пе-

реживание останется самым памятным. Да, о нём, о счастье концентрационных лагерей надо было бы им рассказать в следующий раз, когда спросят.

Если вообще спросят. И если только и сам не забуду». Как нам это знакомо!

Позвонил в дверь сосед-алкоголик, попросил одолжить денег «на нитроглицерин». Вдруг сказал: «Я вам принесу статью о моём отце. Знаете, кто был мой отец? Круглов, министр внутренних дел в 1945-55». Галя ахнула: «Нет, про него статью не надо». — «Он ничем не замаран», — понял её реакцию сосед. «Как же не замаран? — сказала Галя. — А Ленинградское дело, дело врачей?» (О Ленинградском деле как раз недавно была впечатляющая передача по ТВ, да ещё вчера на ночь она зачиталась книгой о цензуре). «Это КГБ», — откликнулся он. «А лагеря — это МВД?» — «Лагеря — это строительство, восстановление после войны». Дальше не о чем было говорить. У меня где-то есть запись об этом совершенно опустившемся больном человеке, нашем ровеснике. Соединяется: сын министра внутренних дел, алкоголик, просит денег на выпивку.

Симонов и Пригов

Вспомнилось, как в 93-м году мы гуляли с женой по Лондону, и я вдруг стал читать ей стихи:

Бывает так: большевику вдруг надо съездить в Лондон,
Увидеть двухпалатную британскую систему
И выслушать бесплатно там сто пять речей на тему...

Цитирую по памяти, наверно, с ошибками. Не буду сейчас воспроизводить всё:

...И стали до того свободными,
Какими видим их сегодня мы,
Свободными до умиления
И их самих, и населения.

— Знаешь, чьи это стихи? — спросил я.

Она подумала и сказала:

— Пригов.

Это был Симонов. Удивительно, чуть ли не 50 лет помню наизусть. Пушкина не всегда помню, а это застряло в мозгу.

С Приговым я был знаком шапочно. Когда незадолго перед тем мне вручали Букеровскую премию, он подошёл поздравить и, подняв указательный палец, сказал наставительно: «Не зазнавайтесь».

Я долго не мог себе простить, что не нашёл сразу достаточно остроумного ответа. Это потом мне стало приходиться на ум разное, а тогда я был всё-таки возбужден, раздёрган. Стал бормотать что-то вроде: где уж мне зазнаваться, когда я вижу перед собой таких классиков.

Но время спустя я получил полное удовлетворение. Я выступал в Лондонском университете и возле аудитории на стене рядом с объявлением о встрече со мной увидел другое: о встрече со всемирно известным поэтом-абсурдистом Д.А.Приговым.

Вернувшись, я довольно скоро получил возможность рассказать Пригову об этом объявлении. Он пожал плечами:

— Здесь всё верно, кроме одного: поэт-абсурдист. Я не абсурдист.

И тогда я, предчувствуя торжество, поднял указательный палец и сказал Дмитрию Александровичу наставительно:

— Не зазнавайтесь.

Боже, какой беспомощный лепет услышал я в ответ! Этот признанный остроумец стал бормотать: как я могу зазнаваться, если знаю, в какой великой литературе я работаю... — что-то в таком же духе.

Я от своих комплексов мгновенно избавился.

Манифест европейских тружеников

Брюссель. Hotel «Royal crown». Я приехал сюда по приглашению фестиваля «Европалия», который периодически проводится здесь под эгидой бельгийского короля – своего рода демонстрация культурной общности европейских народов. В этом году страной-гостем оказалась Россия.

Спустившись впервые к завтраку в ресторан, я не без удивления отметил, как изменился за последнее время тип деловых людей. Отель четырехзвёздочный, здесь останавливались обычно солидные бизнесмены, преимущественно это были мужчины в строгих костюмах, при стильных галстуках. Теперь в роскошном интерьере преобладали дамы, одетые разнообразно и уж никак не солидно – я очередной раз почувствовал, как успел отстать от европейской моды. Внешность многих я бы назвал нестандартной: за столик напротив уселась мужеподобная, гренадёрского роста женщина, её соседка сияла пышной лиловой причёской, да и вся была – как бы это сказать? – ну да, пышная, внушительных габаритов. Представительские карточки на бюстах издали я прочесть не мог. Современные *businesswomen*. Мужчины среди них просто терялись, да и выглядели как-то совсем уж непрестижно: вертявые, мелковатые, в ношенных джинсах, курточках...

Лишь выйдя из ресторана в холл, я обратил внимание на небольшую табличку: «Sex work, human rights. European conference». В отеле «Royal crown» проходила общеевропейская конференция проституток. Точней сказать, именно «сексуальных работников». Можно даже сказать, пролетариев. Создавалась международная профессиональная организация: «International union of sex workers».

Писательское любопытство заставило меня спуститься на нижний этаж, в зал, где они собирались. Над входом висел большой бумажный плакат: «Sex workers of the world united». На столиках разложены документы, на стенах цветные фотографии, где свои достоинства в боевой готовности демонстрировали почему-то одни лишь мужчины. Они здесь тоже были, естественно, при деле: *sex workers*. Фотографии женщин были на удивление скромными, зато сопровождались текстами и даже стихами, где сексуальные труженицы делились своими чувствами и мыслями, обсуждали волнующие коллег проблемы. На мужчин мне смотреть было неинтересно, вообще человек в моём возрасте выглядел здесь, наверное, не совсем уместным (хотя дамы встречали и провожали меня взглядами спокойными, безразличными). Я лишь взял со столика документы конференции на английском и немецком языках, чтобы потом, вечером, почитать.

Сразу показалось немного странным, что тексты манифеста “Sex workers in Europe” на обоих языках были не вполне идентичны. Английский манифест не делал различия между полами, в немецком варианте говорилось только о женщинах: “Sexarbeiterinnen in Europa”. Порой вообще возникало впечатление, что речь для немцев идёт преимущественно о правах лесбиянок и их партнёрш – “unserer Partnerinnen”, которых несправедливо считают сутенёршами и эксплуататоршами: “Zuhälterinnen und Ausbeuterinnen”. Формы женского рода в таком контексте как-то всё же сбивали с толку. Понятней, да и демократичней звучал манифест английский – там выражался протест против нарушения человеческих прав любых работников этой самой “sex industry”, как их ни называй: “the labeling of our partners as pimps and exploiters”. Но, впрочем, и по-английски, и по-немецки говорилось о том же: о праве на труд, на социальное обеспечение, на участие в политической деятельности, о свободе передвижения, отмене обязательной регистрации и медицинского обследования, требовалось право на убежище независимо «от пола и сексуальной ориентации»... Тут я, впрочем, опять подумал, что в русском переводе это тоже оказывается не вполне понятно, ясней, пожалуй, звучит по-английски: “We demand the right to asylum for anyone denied human rights of the basis of a “crime of status,” be it sex work, gender or sexual orientation”.

Гент. Множество велосипедов на улицах, множество студентов. После моего выступления в университете мы шли по улице, в одном из прохожих мой спутник узнал бельгийского министра “Зарубежные записки” №11/2007

труда: он шёл с женой и с детьми, возможно, из магазина. Как это замечательно! Я, заглядевшись на башни, чуть не столкнулся с велосипедистом, сказал: «Не хватало мне в Генте попасть под велосипед». — «Да еще под полицейский велосипед», — уточнил мой спутник. Полицейских здесь почти не видно, у них незаметная форма. Тем более никого с автоматами. Рассказывали, что премьер-министр ехал по улице на велосипеде, попал в аварию. Был большой шум в прессе: на тему о безопасности велосипедистов. Нужно все-таки попасть в нормальную жизнь, чтобы почувствовать: наша страна больна.

Самолёт Брюссель-Москва. На телевизионном экране стрелка показывает по географической карте: мы уже пересекли границу России. Вспомнилось, как я впервые летел в ФРГ в 88-м году и не по экрану — глядя в иллюминатор, определял: мы уже не в Советском Союзе, уже не в Польше, уже не в ГДР. Всё! Теперь меня в случае чего не вернут, я на свободе! Я не собирался оставаться в ФРГ, знал, что вернусь, но всё равно это чувство: после всех хлопот и разрешения выехать, после контроля — я хоть на время в свободной стране.

И обратное чувство, когда я за год до того возвращался из Чехословакии через Польшу, пересекал советскую границу. Пограничники с овчарками на вспаханной полосе между рядами колючей проволоки, таможенник спрашивает, нет ли у меня «литературки». Лозунг: «Добро пожаловать в социалистический лагерь!»

Москва, в метро. Первое впечатление в аэропорту: встречающая девушка с плакатом: VIP-зал. В Брюсселе такого, кажется, нет и, наверное, быть не может.

Современное состояние

В недавней переписке с Хазановым-Файбусовичем мы обсуждали интервью его знакомого, социолога Б.Дубина в «Новой газете». Я процитировал пассаж, где Дубин пишет о двух тенденциях в современной творческой среде России: Или ты делаешь свой продукт, который хорошо продаётся, или ты выгораживаешь свой мир вне массовой политики и массовой литературы... Это не порождает ни нового словаря, ни новых принципов, ни системы мысли». Эту уничижительную оценку можно отнести и к нам. Действительно ли мы совсем не способны «производить новые смыслы»? Дубин, правда, оговаривается: «Культурный прорыв не может быть героизмом горстки людей. Он должен сопровождаться структурными устройствами, которые будут держать и передавать этот импульс». Файбусович ответил, что это социологический подход, для него важнее общественные измерения, а не индивидуальные, и процитировал высказывание Адорно: «И все же самая одинокая речь художника парадоксальным образом жива тем, что она замкнута в своей одинокости. Именно потому, что она отказывается от истёртой коммуникации, она обращена к людям».

Не берусь судить, как у нас насчет культурных, интеллектуальных структур, способных обсуждать и рождать смыслы (институт моего знакомого Левады, у которого я много лет назад выступал на философском семинаре и в котором Дубин работает — это одна из таких структур? Кое-что хотелось бы с ним обсудить). Но что парализована, причём сознательно, общественно-политическая жизнь, это очевидно. Обсуждают заявление одного из банковских руководителей, который считает единственным гарантом стабильности в России нынешнего президента и призывает сохранить его во главе государства и дальше, иначе будет катастрофа. Я подумал, что если сейчас нельзя назвать ни одной авторитетной, известной обществу фигуры, которая могла бы оппонировать Путину — а это действительно так — можно говорить о катастрофе уже сейчас. Целенаправленно вычищено, как говорят, всё политическое поле, потенциальные лидеры не имеют реальной возможности заявить о себе, потому что средства массовой информации унифицированы, созданная государством партия и её молодёжное движение, которое называют сменой, — всё так же искусственно, как созданная когда-то фигура самого Путина, до этого ничем не проявившего себя, человека заурядных способностей. Впрочем, что я перечисляю? Катастрофа может развиваться замедленно, высокие цены на нефть до поры позволяют держаться. Ладно. Об этом кто-то ска-

жет и без меня, наверно, уже говорят. Мне остается только «выгораживать свой мир вне массовой политики и массовой литературы». Увы. Но неужели одинокий художник не может породить ничего ценного?

«Почему вы не пишете о политике?» – спросили меня в Генте. «Я о политике пишу, – ответил я, – но не в прозе, а в эссеистике». Пропустив неделю российских новостей, я по возвращении постарался наверстать упущенное. Удручающее ощущение нарастающей фальши, лжи, демагогии. Политический телеобозреватель, имени которого писать не хочу, поминает покойного Александра Яковлева: вначале у него были добрые намерения, но он не заметил, как демократия стала разрушать Россию. (Пересказываю своими словами.) И связывает имя Яковлева с делишками ельцинской «семьи», коррупцией, дефолтом. Но Яковлев после 91-го года от реальной политики отошёл, к ельцинским делам он отношения не имел. Проглатывают эту фальшь среди множества прочих. Неужели никто не откликнется, не возразит? Я пишу об этом – но опять для себя. Претензии прежде всего могу предъявить к себе самому, ссылаться на возраст, профессию, просто личные черты, делающие меня неспособным к публичной деятельности. Моя работа – уединённая.

В сегодняшней «Новой газете» приводятся мнения известных деятелей, которые сводятся к тому, что для людей демократических убеждений сейчас не время заниматься политикой. Надо вернуться на кухни, обсуждать, как когда-то, «исторический процесс и своё место в нём». «Плетью обуха не перешибёшь, народ своей властью, в общем, вполне доволен». И т.п.

Чувство бессилия не добавляет уважения к себе. А ведь ничего не делать нельзя, это только худшает ситуацию...

Один из политических комментаторов, умный циничный технолог, заявил, что в России теперь надо работать над предотвращением революций. Я про себя заметил: предотвратит революцию всегда умели в Англии – и ещё умеют в Северной Корее. Слово это всегда имело эмоциональную окраску, положительную или отрицательную. Полезно вспомнить его смысл, перевести на русский язык. Революция – это переворот. Попыткой переворота был в 91-м году ГКЧП; протест против переворота перерос в другую революцию, к счастью, бескровную.

Я годами обсуждаю всё не публично, а на таких вот страничках, записываю стенографическими закорючками. Вчера попал на передачу, где обсуждалась тема «Бизнес и культура». В меру правильные общие места. Я мысленно вставлял реплики: сам бизнес – часть культуры, как спорт или мода. Можно бы рассказать, как я оказался в Германии, где огромным успехом пользовалась выставка из собраний Шукина и Морозова (в Эссене). Я тогда оказался в Дюссельдорфе у скульптора Юккера. Мы обедали в ресторане с японским искусствоведом, автором книги о дадаизме в Японии (кажется, так; мы разговаривали на двух языках, он хуже владел немецким, я английским). Мне запомнилась его мысль: экономический подъем послевоенной Японии объясняется, среди прочего, проникновением европейской культуры, в том числе живописи. Влияние тут не прямое, но его можно косвенно проследить. Потом (или в другой мой приезд) мы с Юккером оказались на вечеринке, где собралась городская финансовая элита; угощение называлось почему-то русским, там были блины с икрой. И за столом заговорили о выставке в Эссене; все восхищались Щукиным и Морозовым: выходцы из простых крестьянских семейств стали процветающими промышленниками – и проявили несравненный художественный вкус. Я спросил (вспомнив разговор с японцем): связан ли был их финансовый успех с интересом к искусству? Мне ответили утвердительно. А потом я спросил, есть ли сейчас в Германии меценаты такого же уровня, т.е. люди, которые не просто делают бизнес на искусстве, но для которых это личное дело. Мне ответили сначала отрицательно, потом кто-то вспомнил Мюллера, основателя Insel Hombroich. И на другой день меня в Hombroich отвезли, там в кафе я случайно познакомился с Мюллером – но это особое чудо, особый разговор. Об этом, думаю, остались более подробные записи в нерасшифрованной «Стенографии» 93-го года. Не уверен, что я вернусь к ним; решил хотя бы вкратце, «мемуарно» записать этот эпизод здесь. «Стенографию начала века» я понемногу все-таки ввожу в компьютер.

Николай I после разговора с Пушкиным сказал, что беседовал с умнейшим человеком в России. Извлёк ли он что-то из этой беседы? Впечатления Пушкина, кажется, неизвестны. Смешно, «Зарубежные записки» №11/2007

я много лет, еще с советских времен, пробовал вообразить разговор с руководителем страны. Я обсуждал положение страны с умнейшими людьми – сказать бы Горбачёву, Ельцину, что нам кажется очевидным, может, они что-то лучше бы поняли, что-то правильной сделали. Сейчас мне такие наивные до смешного фантазии в голову уже не приходят. Не так давно в Германии социал-демократические канцлеры Брандт и Шмидт по-человечески дружили с Генрихом Бёллем и Гюнтером Грассом (тогда еще не нобелевскими лауреатами), беседовали не без пользы для себя, да и книги читали. Сейчас политики вряд ли читают книги, мнение писателей перестало быть авторитетным, да и кто эти писатели?

Когда слушаешь, как разные люди, во Франции и у нас, обсуждают нынешние события во Франции, поджоги, погромы, ищут причины, пытаются оправдать поджигателей, объявляют попытки противостоять погромам нарушением гражданских свобод – чувствуешь, что говорящие это интеллигентные люди как-то смущены, словно стесняются, боятся признаться в этом себе, но в душе ждут, что несимпатичные им деятели всё-таки предпримут решительные, неприятные действия, положат конец безобразиям – и можно будет с чувством законного, почти брезгливого превосходства разоблачать этих врагов демократических свобод, нарушителей прав человека.

У нас это поневоле проецируется на российскую реальность, гораздо более безрадостную, чреватую не просто опасностями – кровью. Обсуждения остаются сотрясанием воздуха – нет политической воли, конструктивных решений.

Открыл книгу Л. Гумилёва «Этногенез и биосфера земли», посмотрел наугад страничку, другую – захотелось заново вникнуть. Увы, чтение то и дело вызывало внутреннее сопротивление, порождало сомнения, требовало постоянной перепроверки, на которую моей эрудиции не всегда хватало. А он своей эрудицией откровенно упивается, сыпет не всегда обязательными именами, фактами, объединяя и трактуя их иногда поверхностно, иногда просто неверно. В каких-то частных областях (история гуннов, хазар) он несомненный специалист, вызывающий доверие. Грандиозная, отчасти поэтическая концепция требует особого осмысления. Но варьируется, например, в разных местах мысль о том, что смешанные браки ведут к вырождению и гибели этноса. «Потомство от экзогенных браков... гибнет в третьем-четвертом поколении». Османскую империю, сам турецкий этнос погубили инородцы, которых веками брали на службу, прежде всего военную. (Таких людей, перешедших в мусульманство, называли ренегатами, причем слово это первоначально не имело оскорбительного оттенка). «Эту этническую целостность развалили в XIX веке многочисленные европейские ренегаты и обучавшиеся в Париже младотурки». Поневоле примериваешь: а немцы и прочие европейцы на русской службе со времён Петра I, а грузины, татары и прочие жители Российской империи, получавшие русское дворянство (не говоря об одиозных евреях)? А правнук эфиопа, внук немки Пушкин – продукт вырождения? Там, где происходит «наложение этнических полей разного ритма, возникают антисистемы», – утверждает Гумилев.

Но сама заострённая постановка вопроса заставляет задуматься. «А так как за время существования человека на Земле все этносы давным-давно вступили между собой в контакты, то, казалось бы, антисистемы должны были вытеснить этносы, заменить их собой, уничтожить всё живое в своих ареалах... А ведь подобного почему-то не произошло. Значит, в мире есть какой-то могучий импульс, противодействующий распространению антисистем и, возможно, очищающий от них лик земли». Дальше говорится о явно неземном происхождении «пассионарных», как он их называет, толчков. «Близкий Космос принимает участие в охране природы».

Это написано около четверти века назад. Я, помнится, тогда начал сознать, что недооценивал национальный фактор в современном, казалось бы, всё более глобализованном мире.

А сейчас я поневоле примериваю его концепцию к судьбам России – страны и русского «этноса». Одно неотделимо от другого. Страницы, где Гумилёв описывает периоды упадка, «сумерки» этноса, читаются, как злободневная статья: «В искусстве идёт снижение стиля, в науке оригинальные работы вытесняются компиляциями, в общественной жизни узаконивается коррупция». Можно цитировать много: потребительская психология, расслабленность, гедонизм, наркотики, сексуальная распущенность, пассивность общества, уничтожение природы. Можно добавить подробности новейшей этнической жизни. На Дальнем Востоке женщины всё охотней выходят

замуж за китайцев: они не пьют; китайское правительство целенаправленно поощряет браки своих граждан с русскими. Это происходит незаметно, но разрастается всё быстрее. Как разрастается исламское проникновение — оно и в Европе стало уже ощущаться болезненно, там отчасти пробуют сопротивляться, отчасти призывают к терпимости. Гумилёв не считает причиной отставания мусульманского мира в новое время неспособность к модернизации. Может, без неё и лучше: природа будет сохранней, девственные леса возродятся.

Но в России этнический кризис настолько связан с политическим, что не зря возникают разговоры об агонии страны (с этносом разбираться трудней). Я то и дело возвращаюсь к этой теме. Не помню, записал ли я, как много лет назад (кажется, ещё до Горбачева) спросил своего товарища: а как он себе представляет возможную катастрофу. Так она уже происходит, ответил он. Пустые магазины, поезда не ходят по расписанию, ежегодный неурожай, развал экономики. Это не мгновенный, вялотекущий процесс. С тех пор мы прошли через период надежд — кажется, упускаем последние возможности.

Недавно Явлинский по радио опять бодро провозгласил: у нашей партии есть программа, что и как нужно сейчас сделать, подробная, с экономическими выкладками. Он всё ещё думает, что достаточно людям прочесть правильную программу, проголосовать за правильную партию — и всё будет хорошо? Что мешают только происки сил, которые не допускают его до ТВ, манипулируют общественным мнением и т.п.? У других партий программы ещё правильной, обещания ещё круче. Почему голосуют за очевидных жуликов? Я тоже не сразу сумел понять. Вот, считаю себя вроде бы хорошим писателем — почему издают и читают не меня, а поставщиков пошлой макулатуры? Всё правильно, так и должно быть. Но я, писатель, могу надеяться на что-то в будущем. Правильную политическую программу не станут даже перечитывать, не состоявшийся политик окажется не существующим.

В «Лехаиме» замечательное интервью Алика Городницкого. Среди прочего, он говорит о «катастрофе» российской науки. «Фундаментальная наука в России — в трагическом состоянии. Мы потеряли целый ряд научных направлений и школ. Мы молодежь потеряли. А значит, мы потеряли будущее... Я, профессор и заведующий лабораторией академического элитарного института, получаю 110 долларов в месяц, а кандидаты мои получают в полтора раза меньше... И одни уезжают за рубеж, а другие уходят в бизнес... Физическая гибель науки — это гибель русской интеллигенции со всеми вытекающими последствиями: с созданием социальной основы для фашизма, с зарождением поколения жлобов и лавочников».

Более десяти лет назад, в статье 1991 года «Между безнадёжностью и надеждой» я цитировал письма академика Вернадского (1923–24). «Мне представляется положение в России мрачным». «Труд настоящим образом не оплачивается. Может быть, я отсюда скоро уеду». «Логически я благоприятного исхода не вижу». И в тех же письмах: «Научная работа в России не погибла, а наоборот, развивается. Несомненно, этого не должно было бы быть по логике, это иррационально, но это факт... В разговорах скажу, как это достигнуто и сколько погибло. Людей погибло». И дальше: «Я уверен, что всё решает человеческая личность, а не коллектив, elite страны, а не ее демос».

Я писал в своём эссе, что не совсем объяснимым образом, в условиях более страшных, чем нынешние, надежды Вернадского в какой-то мере оправдались. Сохранившаяся инерция, преемственность ещё порождала новых людей, сохранялась тонкая, уязвимая плёнка (я её сравнивал с грибницей), на которой могло ещё что-то вырастать. Сейчас, боюсь, под угрозой уже эта плёнка, грибница.

Ведь примечательно: словом элита сейчас обозначаются не учёные, не философы, о которых пишет Вернадский, а больше политики, бизнесмены, нувориши, те же жлобы и лавочники, о которых говорит Городницкий. Перемены, так сказать, в генофонде могут оказаться необратимыми, если исчезнет преемственность, вырождаются школы.

Мне вспомнился один эпизод. В 1949 году я заболел туберкулёзным менингитом — болезнью, которая до изобретения стрептомицина считалась смертельной. Диагноз был не очевиден. Приглашенный врач посоветовал немедленно положить меня в детскую Морозовскую больницу, и там был проведён консилиум. Три врача, собравшиеся у моей постели, обсуждали болезнь на

латыни (как было принято, чтобы больной их не понимал). Когда я рассказал об этом Жоржу Нива, он удивился. Не уверен, что и во Франции сейчас врачи смогли бы беседовать на латыни, скорей по-английски; не говорю о наших нынешних. Но в 49-м году этим врачам было около 50, они могли быть выпускниками ещё старого университета, учениками еще старых профессоров.

Одного из них я потом узнал ближе, это был профессор Фурер, один из изобретателей вакцины от детского полиомиелита (которой Советский Союз потом благодетельствовал весь мир). Он собственноручно делал мне ответственные пункции – между шейных позвонков. Более простые пункции, между поясничных позвонков, делала, кажется, старшая сестра. Пункции эти делались регулярно, брали для анализа спинномозговую жидкость и через тот же шприц вводили только что дошедший до нас стрептомицин, который родители сумели где-то раздобыть, не знаю уж, за какие деньги. Эта ещё не опробованная методика сделала меня в 12 лет глухим на одно ухо. А мальчик помладше, в соседнем боксе, оглох совсем.

Мать этого мальчика, художница-мультипликатор, была немка. Помню разговоры в палате, каким образом ей удалось избежать высылки, остаться в Москве. Отсидел срок её муж, туберкулёзный грузин, который в войну попал в плен. Он бывал в палате; приезжал из Грузии и его отец, дед мальчика, старый тихий грузин. И о высылке немцев, и о лагерном сроке для военнопленного говорили, как о чём-то естественном, я понимал, что так было положено. Необъяснимым можно было считать только благополучный исход.

Эта немка-художница приносила в палату папку репродукций русской живописи, напечатанных, вероятно, за границей: каждая прикрыта папиросной бумагой, необычайно высокого полиграфического качества. Там, кажется, не было передвижников, но были Рокотов, Боровиковский, Левицкий, Венецианов. Оценил их я лишь потом.

Дневниковая эссеистика опять стала незаметно переходить в мемуары. Но даже записанные события более близких лет я вряд ли удосужусь расшифровать – разве что вот так вспомню иногда эпизоды.

«Don't be blue»

На асфальте у набережной Яузы кто-то написал мелом: «Скоро конец лета». И продолжил по кругу (со стрелкой): «Скоро начало осени». И дальше: «Будет зима». А потом, по кругу: «И снова будет тепло». Мне симпатично это подростковое философствование. И рядом тем же мелом по-английски: «Don't be blue / tomorrow is another day». Наверно, какая-то неизвестная мне песенка. И еще одна: «You don't need to open your eyes to see that / just close them & you will see some thing nobody can see». Как это хорошо!

НЕМЕЦКОЕ РУСОФИЛЬСТВО, ИЛИ ПРЕДЧУВСТВИЕ НАЦИЗМА

(Еврейская тема в повести И.С. Тургенева «Несчастливая»)

В своих мемуарах «За полвека» писатель Пётр Боборыкин, общавшийся с Тургеневым на протяжении восемнадцати лет, мимоходом замечает, что у скитальца Тургенева «в Бадене и произошёл... выбор оседлости... Не случись войны Германии с Францией, Тургенев не переехал бы на конец своей жизни в Париж. Его *перевезла* Виардо, возмущившаяся тем, как немцы обошлись с её вторым отечеством – Францией»¹. А не переехал бы, тем более не вернулся бы в Россию, потому что «Тургенева *всегда* держал в своих тисках культурный Запад, особенно Германия»².

В специально посвящённых российскому гению воспоминаниях «Тургенев дома и за границей» Боборыкин подчёркивал его «несомненную своеобразность как русского писателя и человека»: «Немца или человека, удержавшего в себе какие-нибудь, хотя бы внешние, влияния немецкого быта, манер, тона, я в нём решительно ни в чём не замечал...»³. При этом он фиксирует тургеневскую «платоническую любовь к немецкой умственной культуре... Он был необыкновенно хорошо знаком со всем, что составляет духовное достояние Германии, прекрасно говорил по-немецки, и из всех мне известных писателей он только овладел всесторонне знакомством с немецкой образованностью... В Тургеневе искреннее признание всех достоинств немецкой нации делало его не только беспристрастным, но и безусловным сторонником немцев во всём, чем они выше нас. Каких-нибудь выходов в русском вкусе насчёт “немчуры”, вероятно, никто от него не слышал»⁴.

Но именно потому, что Германия была для писателя «второй родиной», он не стеснялся высказывать ей помимо любви и признательности жестокие истины, рисовал шаржированные портреты немцев, не в меньшей степени, чем русских. Тургенев, как и вся русская классическая литература, следовал формуле, которую с твёрдостью и непреклонностью выразил в одном из своих ранних рассказов («Севастополь в мае») Лев Толстой: «Герой... которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен – правда».

Конечно же, было немало и отрицательных персонажей-немцев у русских писателей, к которым относились то иронически, как к чужакам, не понимающим российской жизни, то резко негативно, но это скорее в публицистике славянофильского толка. Однако каждый писатель имел свои зоны, рисуя те или иные раздражавшие или смешившие его немецкие черты. Что же неприемлемо было в немцах для Тургенева? В чём видел писатель «немецкие» недостатки, а то и мерзости? Как правило, все они являются оборотной стороной достоинств.

1. Любовь к уюту и организованности жизни переходит в раздражающее писателя филистерство, мещанство, желание любой ценой обустроить свою жизнь. В «Накануне» это «Зоя Никитишна

¹ Боборыкин П.Д. Воспоминания в 2-х томах. Т. 2. [М.], 1965. С. 8.

² Там же. С. 15.

³ Там же. С. 393.

⁴ Там же. С. 394.

Миюллер... миленькая, немного косенькая русская немочка с раздвоенным на конце носиком и красными крошечными губками, белокурая, пухленькая». Ирония автора очевидна, и весь этот образ строится как параллель и антитеза Елене Стаховой, вырвавшейся из косности застойной русской жизни, несущей в себе высокое духовное горение и жертвенность. В «Дворянском гнезде» мать Варвары Павловны, неверной жены Лаврецкого, – Каллиопа Карловна, которая «сама считала себя за чувствительную женщину... и носила узкие бархатные платья, ток и тусклые дутые браслеты», а когда её дочь оторвала богатого жениха, «подумала: "Meine Tochter macht eine schöne Partie", – и купила себе новый ток». Таков же лавочник Ключер из «Вешних вод». Впрочем, ненависть к филистерству свойственна была и великой немецкой литературе: не говоря уж о Гейне и Гофмане, вспомним саркастический образ филистера от науки Вагнера в «Фаусте» Гёте.

2. Как противопоставление высокому духовному горению немецких гениев, высочайшим взлётам мысли и поэзии немецкая культура породила не только благополучных и пошлых мещан, но и самодовольно-грубую, чванливую и заносчивую солдафонскую массу, в пьяном кураже способную пока ещё не на преступление, но на оскорбление и попытки насилия. Таковы сцены с пьяными немцами в «Накануне» и в «Вешних водах». В «Накануне» русские герои после разговоров о Шеллинге наталкиваются на толпу подгулявших офицеров, требующих один «поцалуйшик» от Зои или Елены. Тургенев отчётливо прописывает этот культурный перепад внутри одной нации: от разговоров о немецкой философии, о том, что немцы учат жертвенной любви, до хамского приставания к женщинам, что со стороны немцев выглядит особенно омерзительно. Но если в «Накануне» Инсарову достаточно бросить пьяного немца в воду, чтоб остудить его пыл и привести в норму житейского поведения, то в «Вешних водах» герою приходится уже стреляться с немецким офицером, чтобы напомнить ему о поведении, достойном цивилизованного человека. И во втором случае этим учителем цивилизации выступает русский. Для Тургенева безусловно ясна разница, которая везде разделяет людей цивилизации и остающихся на её обочине, только внешне подражающих её нормам, ибо, считал Тургенев, вхождение в цивилизацию предполагает этап образовательно-литературный⁵, не только для страны, но и для отдельного человека, поскольку завоевания цивилизации даются личным, индивидуальным усилием, а не принадлежностью к определённой компании, кружку, тем более – определённой нации.

3. Пожалуй, более всего в русской литературе досталось «русским немцам», то есть представителям высших ветвей российской бюрократической власти. Есть такие персонажи и у Тургенева. Наиболее рельефно выписанный – Родион Карлович фон Фонк из пьесы «Холостяк» (1849). Он сух и правилен, но желает помочь своему молодому подчинённому Вилицкому успокоить совесть, когда тот убегает от невесты, а затем показно казнится, как всякий малодушный человек. И начальник-немец утешает его: «...искреннее участие, которое я в вас принимаю... Вы совсем не так виноваты, как вы думаете... Вы возбудили в ней надежды – несбыточные; вы её обманули, положим, но вы сами обманулись... Ведь вы, повторяю, не притворялись влюблённым, не обманывали её с намерением?» Вилицкий с жаром кричит, что, конечно же, он никогда не имел намерения обмануть бедную девушку. Так что немец-бюрократ в конечном счёте не ломает русскую жизнь, а, напротив, делает то, что угодно его подопечному, – причём находя нравственные оправдания его поступку. Хотя опекун девушки и кричит про бывшего жениха: «Вишь, у него немец приятель, так вот он и зазнался!» – но и он винит не немца, а раболепную натуру своего русского друга. Несмотря на отчасти водевильный характер пьесы, мысль Тургенева глубока и серьёзна: нельзя в искривлениях своей жизни, в своих плохих и скверных поступках винить другую нацию. В холуйстве перед «русскими немцами» виноваты сами русские люди, к тому же каждый выбирает себе «своего немца». Тургеневу были нужны Гегель и Гёте, российскому самодержавию – немец-бюрократ и т.п.

⁵ В статье о «Фаусте» Тургенев пишет: «У каждого народа есть своя чисто литературная эпоха, которая мало-помалу приуготовляет другие, более обширные развития человеческого духа...» (Соч., т. 1. С. 200).

Однако самое глубокое и серьёзное художественное открытие-предупреждение, стоящее пророчеств Достоевского по поводу грядущей «бесовщины», – это у Тургенева образ Ивана Демьяновича Ратча. В не понятой и не оценённой соотечественниками при его жизни повести «Несчастная»⁶ (1869) писатель изобразил немца – русского националиста, ставшего более ярким националистом, чем любые славянофилы русского происхождения, и показал, как этот национализм замешивается на материально выгодном антисемитизме. Можно сказать, здесь угадан прообраз российско-немецкого нациста за полстолетия до того, как этот тип человека стал массовым явлением и угрозой историческому бытию человечества. Впрочем, и это стоит тут отметить, еврейская проблематика (причём весьма позитивно) уже звучала в немецкой классической литературе. Я имею в виду пьесу Э. Лессинга «Натан Мудрый». Но у Тургенева, разумеется, свой поворот темы, своё открытие.

Чтобы прояснить ситуацию этого открытия, стоит немного отступить в прошлое, к русофильскому перевороту Николая Первого. Кончился период русского европеизма, начатый Петром, поднялась контрреакция. Не буду сейчас вдаваться в причины антиевропеизма, скорее всего на этом пути казалось легче укрепить власть. А далее последовало и изменение общественного сознания. Но любопытно, что ослепление собственной значительностью поддерживалось прежде всего выходцами из Германии, которые были, быть может, наиболее активные русификаторы (начиная с Николая I, желавшего стать вполне русским, и кончая разнообразными чиновниками и славянофилами-учеными немецкого происхождения – Даль, Гильфердинг, О. Миллер и т. д.).

Позиция «любви к отечеству» всегда выглядит для массового сознания привлекательнее критики. Не случайно на западников, по свидетельству критика-демократа, «смотрели чуть ли не как на злодеев, губителей России; в них видели ненавистников своего родного – слышите! ненавистники – они, которые любили свою страну до фанатизма, до самозабвения»⁷. Но западники любили в России её скрытые силы и способность к цивилизованному развитию. И, быть может, не случайно именно западник Тургенев так язвительно и зло-проницательно изобразил грозную опасность, исходившую от немецкого русофильства.

Появление монстра Ивана Демьяновича Ратча (повесть «Несчастная») обставлено поначалу юмористически, почти шутовски и вроде бы без особой неприязни. «Когда г. Ратч смеялся, белые глаза его как-то странно и беспокоило бегали из стороны в сторону». И восклицания его слишком громогласно и навязчиво апеллируют к русскому духу, и сам себя этот персонаж аттестует следующим образом: «...старик Ратч – простяк, русак, хоть и не по происхождению, а по духу, ха-ха! При крещении наречён Иоганн Дитрих, а кличка моя – Иван Демьянов! Что на уме, то и на языке; сердце, как говорится, на ладошке, церемониев этих разных не знаю и знать не хочу! Ну их!»

Поначалу это классический комедийный немец, не раз выводившийся в русской литературе, злоупотребляющий русскими пословицами и поговорками к месту и не к месту (от генерала Андрея Карловича Р. из «Капитанской дочки» до негоцианта Фридриха Фридриховича Шульца из «Островитян» Лескова; всё это люди благородные и высокопорядочные, порой лучше окружающих их русских персонажей). И жена его поначалу выглядит вышедшей из водевильного, комедийного ряда, она тоже «здешняя немка, дочь колбасника... мясника...». Зовут её Элеонора Карповна, и напоминает она «взору добрый кусок говядины, только что выложенный мясником на опрятный мраморный стол». Но г. Ратч настойчиво подчеркивает русскость своей супруги, так преувеличивая эту добродетель, что у читателя появляется чувство неясной тревоги. Г. Ратч восклицает:

⁶ «Его “Несчастная” – гадость чертовская», – писал в том же году Б.М. Маркевичу А.К. Толстой (А. К. Толстой о литературе и искусстве. М., 1986. С. 156). «Ничтожной» ее назвал и Достоевский. Надо сказать, что в отличие от соотечественников, классики французской литературы (Флобер, Мопассан, Мериме) называли эту повесть шедевром. Флобер о повести «Несчастная» написал Ж. Санд: «Я нахожу эту вещь просто возвышенной. “Скиф” – настоящий колосс» (Флобер Г. Собр. соч. Т. 8, М.; Л., 1938. С. 407). Кстати, повесть в том же году перевели и немцы.

⁷ Шелгунов Н.В. Литературная критика. Л., 1974. С. 67.

«— Славянка она у меня, чёрт меня совсем возьми, хоть и германской крови! Элеонора Карповна, вы славянка?

Элеонора Карповна рассердилась.

— Я надворная советница, вот кто я! И, стало быть, я русская дама, и всё, что вы теперь будете говорить...

— То есть как она Россию любит, просто беда! — перебил Иван Демьяныч. — Вроде землетрясения, ха-ха!»

Любовь, которая грозит землетрясением, то есть глобальной катастрофой, настораживает. Заметим также, что в важные минуты супруги переговариваются друг с другом по-немецки. Но всё бы прозвучало лишь в духе более или менее критического осуждения комического немецкого русофобства, если бы на сцену не выступила несколько неожиданная для Тургенева героиня: глубоко страдающая девушка, падчерица Ратча с библейским именем Сусанна. «Все члены семейства г. Ратча смотрели самодовольными и добродушными здоровяками; её красивое, но уже отцветающее лицо носило отпечаток уныния, гордости и болезненности. *Те*, явные плебеи, держали себя непринужденно, пожалуй, грубо, но просто; тоскливая тревога сказывалась во всем её несомненно аристократическом существе. В самой её наружности не замечалось склада, свойственного германской породе; она скорее напоминала уроженцев юга. Чрезвычайно густые чёрные волосы без всякого блеска, впалые, тоже чёрные и тусклые, но прекрасные глаза, низкий выпуклый лоб, орлиный нос, зеленоватая бледность гладкой кожи, какая-то трагическая черта около тонких губ и в слегка углубленных щеках, что-то резкое и в то же время беспомощное в движениях, изящество без грации...»

Кто же она? Это стоит пояснения.

«Разве она... еврейка?» — спрашивает рассказчик. Собеседник отвечает, слегка смущаясь: «Её мать была, кажется, еврейского происхождения».

Введение в русскую прозу еврейки как героини было весьма необычно. Как правило, до Тургенева евреи — маргинальные персонажи (у Гоголя, Пушкина, Лермонтова, самого Тургенева в раннем рассказе «Жид», причём данные скорее безоценочно, если не считать стихийного юдофобства гоголевских козаков). В этой повести еврейка — не только героиня повествования, но *положительная героиня, трагическая героиня*. Сила многих её высказываний напоминает Ревекку из «Айвенго» Вальтера Скотта, этот роман она читает вслух своему любимому (литературная параллель, сознательно акцентируемая Тургеневым). Да и Ратч понимает, что перед ним представительница высокой культуры, проявившей себя не только в древности (Библия!), но и в современной жизни Европы.

* * *

Здесь позволю себе небольшое отступление. Тургенев нашёл ключевые темы, фигуры и коллизии русской жизни, которые во многом определили направление и проблематику следовавшей за ним русской литературы. Его тексты сделали внятными своеобразие этой проблематики. Скажем, от «Дневника лишнего человека» Тургенева прямой путь к «Запискам из подполья» Достоевского и «Крейцеровой сонате» Толстого. Здесь впервые разыграна тема «лирического антигероя», получившая своё развитие в западной литературе XX века (Сартр, Камю, Гессе, Онетти и др.). Стали событием «Записки охотника», и дело было не только в изобличении крепостнического рабства. Писатель увидел в крестьянах людей, которых можно было мерить европейской меркой: в рассказе «Хорь и Калиныч» он, шокировав тем публику, одного из мужиков сравнил с Гёте, а другого — с Шиллером. Об этом точное наблюдение Ю. Манна: «В первоначальном тексте рассказа (напечатанном в «Современнике») не случайно упоминалось о Гёте и Шиллере («словом, Хорь походил на Гёте, Калиныч более на Шиллера...»). Легко и свободно приложил Тургенев к явлениям крестьянского мира те масштабы, которые по традиции прилагались к более «высоким» сферам жизни... Русская народная жизнь в своем нравственном содержании поднималась Тургеневым

до уровня жизни общечеловеческой»⁸. От Тургенева идёт сюжет разрушающихся «дворянских гнезд», завершённый Чеховым и Буниным. Он создал – первым! – символический образ русского народа – Герасима (из рассказа «Муму»): могучего и глухонемого. Потом уже, отталкиваясь от этого образа и с учётом тургеневского опыта, был написан Толстым Платон Каратаев, а Достоевским – мужик Марей. Наконец, Тургенев ввёл в русскую литературу тему, которая стала едва ли не основной, во всяком случае, самой значимой в нашей отечественной судьбе – тему нигилизма (в «Отцах и детях»), показав не только её политическую и культурную злободневность, но и её философскую и духовную глубину: Базаров у него не шут, а мыслитель, трагическая фигура. И пожалуй, именно Тургеневу принадлежит честь вполне сознательного использования определённого эстетического принципа для анализа явленной российской действительности – в контексте символов мировой культуры, в сравнении с великими образами европейской литературы, как в прямом соотношении («Гамлет Щигровского уезда», «Фауст», «Степной король Лир»), так и в косвенных параллелях, внутренней рифмовке, становящихся средством характеристики героев (Рудин рифмуется с Вечным Жидом, Ася – с Гретхен и Миньоной, Инсаров – с Дон Кихотом, Базаров – с Фаустом и Мефистофелем одновременно: как человек познания и дух отрицания в одном лице и т.п.). Этот принцип стал характерным для русской классики (от Л. Толстого и Ф. Достоевского до А. Платонова и М. Булгакова).

Поэтому любопытен культурный контекст, в который помещает Тургенев свою Сусанну. *Первое сравнение* явное – это еврейка Ревекка из вальтерскоттовского «Айвенго», девушка гордая, самоотверженная, истинная героиня этого романа из рыцарской эпохи. Кстати, Айвенго связывает свою жизнь не с Ревеккой, а с пустой и холодной леди Ровеной. Заметим, что и Фустов, любимый Сусанной, по сути дела отказывается от нее. *Второе сравнение* дорогого стоит! Тургенев сравнивает еврейку Сусанну с пушкинской Татьяной, по общему мнению, идеалом русской женщины, российской «вечной женственности»: «Она бросила на меня быстрый неровный взгляд и, опустив свои чёрные ресницы, села близ окна, “как Татьяна” (пушкинский “Онегин” был тогда у каждого из нас в свежей памяти)». Разумеется, для почвенно-ориентированных российских литераторов постановка рядом с Татьяной Лариной героини-еврейки была шокирующей. И, наконец, *третье сравнение* – смыслообразующее: это, конечно, библейская тема «Сусанны и старцев». Два старца одержимы похотью к благородной и богобоязненной Сусанне, которая ещё в доме родителей была научена «закону Моисееву» (Дан. 13, 3). Старцы подглядывают за ней, когда она стала мыться в саду, отослав служанок, и тут же начинают склонять её к блуду: «Вот, двери сада заперты и никто нас не видит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобою был юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок твоих» (Дан. 13, 20-21). Они и вправду оклеветали её, и спасает несчастную женщину от смерти лишь пророк Даниил. Сюжет этот весьма известен в культуре; скажем, его использовал Рембрандт в своей знаменитой картине. В истории Сусанны тоже два старца – отец, богатый помещик Колтовский, не узаконивший свою дочь, и его брат, пытающийся соблазнить племянницу. Помогает ему Ратч, он же распускает и клевету о Сусанне. Только вот пророка Даниила Тургенев среди своих персонажей не увидел.

* * *

Во время визита рассказчика в дом г. Ратча заходит речь о музыке: «Что такое? “Роберт-Дьявол” Мейербера! – возопил подошедший к нам Иван Демьяныч, – пари держу, что вещь отличная! Он жид, а все жида, так же как и чехи, урождённые музыканты! особенно жида. Не правда ли, Сусанна Ивановна? Ась? Ха-ха-ха-ха!» Употребляя слово «жида» вместо «еврей», слово в русском языке бранное, он сознательно оскорбляет свою падчерицу – причём оскорбление

⁸ Манн Ю. Диалектика художественного образа. М., 1987. С. 107

идёт не на уровне невежественного непонимания, кто такие евреи, а на расово-зоологическом уровне. Тургенев описывает до сих пор работающую модель, много проясняющую в антисемитизме, которым столь отличалась Германия и которому не чужда была и Россия. Увидеть его истоки помогает Тургенев.

Название повести «Несчастливая», звучащее немного странно, становится понятным, когда мы осознаём, что девушка чувствует себя неотрывной частицей «вечно гонимого племени» («О, бедное, бедное моё племя, племя вечных странников, проклятие лежит на тебе!» – горестно восклицает девушка). Но именно гонимых в русском народе зовут «несчастливыми». Кто же виноват в несчастной судьбе Сусанны? Её мать была дочерью еврейского живописца, выписанного из зарубежья богатым русским баринном Иваном Матвеевичем Колотовским. Проживший всю жизнь холостяком, он соблазнил дочь живописца, но родившегося ребенка, Сусанну, не удочерил, хотя приблизил к себе «как лектрису» (она ему читала) и дал европейское образование. Чтобы, однако, «устроить судьбу» соблазненной, выдал мать Сусанны замуж за г. Ратча, который был чем-то вроде управляющего. Началась несчастная жизнь, появился на свет сын от г. Ратча, и мать вскоре скончалась. Сусанну отчим ненавидел. Думая через эту женитьбу «войти в силу», иметь возможность воровать без наказания, он как-то просил Сусанну заступиться за него перед баринном, её настоящим отцом, но девушка из гордости отказалась. С тех пор – ненависть, поначалу скрываема. Потом отец Сусанны умер. Имение наследовал его брат, ещё больший сластолюбец, предтеча старика Карамазова. Игравший в национализм, он «сам называл себя русаком, смеялся над немецкой одеждой, которую, однако, носил». Подлаживаясь к новому хозяину, и г. Ратч «с того же времени... стал русским патриотом». Новый барин воспытал постыдной страстью к своей племяннице, Ратч всячески содействовал барскому капризу. Но со стороны девушки последовал ещё более резкий отказ. Тем временем г. Ратч женился на московской немке. Дядя Сусанны перед смертью раскаялся и наградил племянницу увеличенной пенсией в своём завещании, добавив, что она прекращается в случае её замужества, а в случае её «смерти она должна перейти к г. Ратчу». Вот тут-то и завязывается социально-психологический, почти детективный узел, развязку которого довелось увидеть рассказчику.

Г. Ратч пользовался пенсией Сусанны, но распускал всякие чернящие девушку слухи, чтоб помешать любому её возможному браку; он ненавидел её, но не решался разорвать отношения и просто позволить ей уйти жить самостоятельно – невыгодно! Когда дело доходило до решительных объяснений, пасовал, имитируя добродушие и шутливость, хотя, видимо, не случайно сын от первого брака называет своего отца (г. Ратча) «жидомор». И вот рассказчик наблюдает, как на решительный отпор девушки в споре этот «жидомор» отступает, похохатывая по своему обыкновению:

«– Вот, подите вы, ха-ха-ха! Кажется, не первый десяток живём мы с этою барышней, а никогда она не может понять, когда я шутку шучу и когда говорю в шуриозе! Да и вы, почтеннейший, кажется, недоумевае... Ха-ха-ха! Значит, вы ещё старика Ратча не знаете!

«– Нет... Я теперь тебя знаю», – думал я не без некоторого страха и омерзения».

Сусанна *мешает* «нормальной жизни» г. Ратча самим своим присутствием, строгим взглядом, высокой духовностью. Затаённое желание уничтожить падчерицу и страх перед возможным наказанием, боязнь потерять её пенсию раньше времени – вот что угадывает рассказчик в словах и мимике г. Ратча, к которому отныне испытывает «страх и омерзение». И случайно ли, что как только возникает ситуация, которая определённо чревата браком Сусанны, она умирает?.. Глядя на нее, лежащую в гробу, рассказчик приходит к твёрдому выводу: «Эта девушка умерла насильственной смертью... это несомненно». А перед этим визитом он убеждал Фустова, обманутого жёниха оклеветанной девушки, что она *убита*: «Ты должен узнать, как это случилось; тут, может быть, преступление скрывается. От этих людей всего ожидать следует... Это всё на чистую воду вывести следует. Вспомни, что стоит в её тетрадке: пенсия прекращается в случае замужества, а в случае смерти *переходит* к Ратчу». Об этом же на поминках кричит и подгулявший гость: «Уморил девку, немчура треклятая... полицию подкупил...»

Хотя не исключено и самоубийство, ибо девушка потрясена тем, что любящий её человек поверил клевете. Тургенев ироничен и прозорлив. Фустов вскорости забывает свою бывшую

любовь, ибо не в состоянии жить в непрестанном духовном напряжении («природа его была так устроена, что не могла долго выносить печальные ощущения... Уж больно нормальная была природа!»). Но и г. Ратчу смерть Сусанны приносит не много выгоды, дела его «приняли оборот неблагоприятный», хотя двоих новых своих сыновей «он, “коренной русак”, окрестил Брючеславом и Вячеславом, но дом его сгорел, он принуждён был подать в отставку» и т. п. Как и в прошлой, так и в будущей истории Германии и России от уничтожения или изгнания евреев мало выгадывали их гонители, ибо собственное разрушение нелюди носили в самих себе: внутреннюю неполноценность, глупость и нерасторопность не преодолеть внешними средствами. Но преступление г. Ратча подтверждается рассказчиком косвенно, он сообщает о продолжающемся распространении клеветы об умершей девушке, а клевета — это самооправдание подлецов и преступников.

* * *

Еврейская проблема для русской литературы, именно как проблема, была в конце 1860-х новостью. Конечно, были подписанные русскими писателями и критиками в начале десятилетия письма против антисемитских выходок газеты «Голос», но это — коллективная публицистика. Как художественную ощутил эту проблему именно Тургенев. Ранее было только не продуманное ни публикой, ни критикой двусмысленное изображение евреев в гоголевском «Тарасе Бульбе», где запорожцы топят несчастных жидов, насмехаясь над ними. Но только, что самое интересное, именно жид Янкель оказывается настолько храбр, что помогает Тарасу проникнуть на казнь сына. Это любопытно, но любопытно и другое: что сами запорожцы изображены Гоголем тоже вполне двусмысленно: с одной стороны, герои, с другой — жуткие варвары и изверги.

Гоголь рисует своего рода пугачёвщину средневековья: «Тарас гулял по всей Польше с своим полком, *выжег восемнадцать местечек* (т.е. евреев. — В. К.), близ сорока костёлов и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие и лучшие замки. <...> «Ничего не жалейте!» — повторял только Тарас». И вот отношение козаков к женщинам: «Не уважили козаки чернобровых панянок, белогрудых светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись они: *зажигал их Тарас вместе с алтарями*. Не одни белоснежные руки поднимались из огнистого пламени к небесам, *сопровождаемые жалкими криками, от которых подвинулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы от жалости к долу. Но не внимали ничему жестокие козаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя*» (курсив мой. — В.К.). Степень описанного зверства соизмерима разве что со зверствами, описанными Достоевским в «Бунте» Ивана Карамазова («Братья Карамазовы»), где генерал гончими травит до смерти мальчика на глазах его матери или турки стреляют в голову младенцу, сидящему на руках у матери. Впоследствии такие же турецкие зверства описал Вл. Соловьёв в «Трёх разговорах», и рассказывавший об этих зверствах генерал самым богоугодным своим делом называл уничтожение этих кровожадных зверей.

Впрочем, Достоевский и Вл. Соловьёв — это уже 1880-е годы, когда еврейская проблематика уже в полную силу зазвучала в русской литературе. И именно в эти годы, вопрекор мессианскому юдофобству Достоевского, актуализировалась повесть Тургенева. В 1884 г. будущий великий историк еврейства С. М. Дубнов прочитал тургеневский текст, и вот как он вспоминает своё впечатление: «Однажды, дочитав “Несчастную” Тургенева, я уткнулся лицом в подушку и заплакал. В комнате никого не было, но я стыдился своих слёз, низводящих меня на уровень толпы и сентиментальных барышень. И все же это было для меня уроком: я понял, что нельзя так резко разграничивать области Разума и Эмоции, что истинно художественное произведение, даже без определённой идейной подкладки, может служить таким же источником глубоких размышлений, как хороший философский трактат»⁹.

⁹ Дубнов С.М. Книга жизни. Воспоминания и размышления. Материалы для истории моего времени. СПб., 1998. С. 112.

Тургенев, ярко и сильно изобразивший благотворность взаимовлияния российской и немецкой культур, с не меньшей зоркостью провидел возможный трагический результат контакта негативных сторон России и Германии. Это ответ Герцену и славянофилам, куда их может завести немецкое русофильство. Возникшая в результате смесь может оказаться смертельно опасной. Так оно и случилось. Да и жертву будущих нацистов он указал точно – евреи. Подлаживаясь к принявшей их стране, «русские немцы» разбудили русский национализм, всячески поддерживали его, пока не доработались до черносотенцев и русских фашистов, которые издавали в Мюнхене в начале 20-х антисемитские газеты, в свою очередь помогая Гитлеру строить его юдофобскую идеологию. Круг негативного взаимовлияния замкнулся. Но не будем здесь вдаваться в вопрос, что сильнее в мире – Зло или Добро. Исторический путь человечества идёт через провалы и бездны, которые разум осознать не в состоянии. Ясно одно, что любое действие Добра имеет, несёт в самом себе отрицающую его силу. Скорее можно испугаться человека, не отбрасывающего тени. Тень свойственна всему живому и жизненному.

А Тургенев верил в силу самого животворящего чувства – Любви, которая способна перешагнуть преграду смерти («Клара Милич»). В этой последней повести, герой которой Яков Аратов представлялся И.Анненскому «чем-то вроде Фауста, только забывшего помолодеть»¹⁰, снова появляются темы и мотивы 40-х годов. И там снова спутником и компаньоном героя становится добродушный русский немец Купфер, который сводит героя с героиней, тем самым предлагая герою высшее духовное испытание. На что он способен во имя любви? Способен ли он не испугаться смерти? И герой выдерживает – едва ли не впервые в творчестве писателя – это испытание. Эта грустная и самая светлая вещь Тургенева связана с той философской, *фаустовской верой* в силу добра, жизни и вечной женственности, которую он вывез «из Германии туманной». Как сказал другой выученик немецких философов – Борис Пастернак:

Но и так, почти у гроба,
Верю я, придёт пора –
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.

(“Нобелевская премия”)

¹⁰ Анненский *Иннокентий*. Книги отражений. М., 1979. С. 39.

СТАНЬТЕ, ДЕТИ, В КРУГ

Сергей Чупринин. Большой путеводитель. Русская литература сегодня. «Время». М. 2007. 575 с.

Сергей Чупринин. Жизнь по понятиям. Русская литература сегодня. «Время». М. 2007. 767 с.

Двухтомный компендиум современной русской литературы, точнее, той её части, которая существует в России, построен следующим образом. Первый том открывают «памятные даты» – календарь событий литературной жизни в России последних десяти лет (1996–2006). Далее следуют сведения о 184 прозаиках, поэтах и литературных критиках, «чьё присутствие в современной литературе и на нынешнем книжном рынке несомненно». Затем информация о литературных премиях, писательских объединениях, литературных журналах и в заключение «Русский Гиннес» – избранные рекорды и рекордсмены: кто больше всех написал, чаще всех был премирован, кому из писателей достались самые крупные денежные подарки, заграничные ордена и ордена православной церкви и т.п.

Второй том почти на двести страниц толще первого и состоит из «понятий»: 273 статьи на актуальные литературные и околотитулярные темы.

Хочу сразу сказать, что я высоко ценю труд Сергея Чупринина. Не будь этот труд выдающимся явлением литературы, о нём не стоило бы говорить. Из чего, конечно, не следует, что книга, итог многолетних исследований, неуязвима для критики.

Об этом пишет и сам автор.

Предисловие ко второму тому начинается несколько кокетливой фразой: «Этой книгой будут недовольны многие». Одни читатели найдут её слишком легковесной, другие, напротив, недостаточно популярной. Одни будут недовольны терпимостью составителя к литературной пошлятине, другим покажется, что он слишком привержен к серьёзной литературе. Одних возмутит, что в книге уделено мало внимания патриотической и земляной словесности, других – что недооценена литература либерального толка. И так далее.

Особо деликатный сюжет – персоналии. Каждый лексикограф, когда он занимается современностью, рискует вызвать недовольство у живых свидетелей и участников. Почему Икс удостоился трёх страниц, а Игрек – лишь нескольких строк? Шаткость сиюминутных критериев очевидна; никто не знает, как будет выглядеть этот парад литературы завтра. Не будем ли мы начисто забыты уже через несколько лет? *Denke daran, dass morgen heute gestern ist!* Труднопереводимый афоризм Петера Вейса звучит примерно так: «Помни, что завтра сегодняшний день станет вчерашним».

Сквозной мотив путеводителя: единство русской литературы. Ключевое слово – «консенсус». Это отвечает, насколько мы в состоянии судить издали, общему настроению умов в сегодняшней России. Долой споры и склоки! Забудем старые распри. Что было, то было; простим прихлебателям рухнувшего режима, тем, кто ещё вчера весело отплясывал с рогатым чёртом. Мы все – дети одной матери-родины, в данном случае – представители единой литературы. Будем терпимы и в том, что касается «политики», и по части эстетики. Автор путеводителя предупреждает: беря в руки книгу, которую, по-вашему, невозможно читать, не спешите вычёркивать её из литературы. Не пренебрегайте авторами, которых Бог обделил талантом и культурой: ведь они тоже «присутствуют» в литературе и на рынке.

Благой совет, которому трудно следовать.

Руководствуясь правилом всеобщего согласия и желая раздать всем сестрам по серьгам, Сергей Чупринин сознательно включил в книгу писателей всех калибров. Не станем обсуждать (или осуждать) его выбор, хотя, например, ясно, что творчество таких авторов, как Баян Шириянов, Шиш Брянский и т.п., находится попросту за пределами литературы.

К сожалению, персональный отдел оказался малоудачным. Не потому, что добрая треть авторов, если не больше, принадлежит к тривиальной литературе, включая писателей предельно низкого уровня. Если придерживаться благородного принципа всеядности – то почему бы и нет? Независимо от критериев отбора статьи о писателях страдают двумя общими недостатками. Первый: отсутствует компетентная оценка творчества писателя. После кратких биографических данных ожидается, что нам сообщат, как и о чём он пишет. Каковы его сильные и слабые стороны. Какое место он занял в литературе. Вместо этого вам в изобилии предлагают цветистые, по большей части хвалебные и бессодержательные цитаты из статей критиков. От собственного суждения составитель словаря, к сожалению, воздерживается.

Второй пункт может вызвать улыбку. Речь идёт о каком-то непонятном пристрастии к чинам, креслам и наградам. Подробно и со вкусом перечисляются почётные звания и должности писателя: председательство, президентство, директорство, членство в различных комиссиях, правлениях, академиях, заведывание редакциями, пребывание в конкурсных жюри. Не обойдены вниманием самые мелкие литературные премии, не забыты и такие, которых не удалось получить («был номинирован», «входил в шорт-лист»). Спрашиваешь себя: кого всё это интересует?

Значительно интересней статьи второго тома – «Жизнь по понятиям» – и заслуживают более подробного обсуждения, чем это допускает краткая рецензия. Я считаю большим преимуществом то, о чём С.Чупринин пишет в предисловии ко второму тому: это «...система, свод не только знаний, накопленных мною за сорок лет участия в литературном процессе, но и моих представлений, взглядов, даже, если угодно, эстетических императивов».

Именно этого – собственной, нелицеприятной *profession de foi* – мы и ожидали.

Перечитывая алфавитный указатель статей, восхищаясь их разнообразием, широтой горизонта, изобретательностью в отыскивании и отборе тем, замечаешь некоторый общий крен. Литературный социум, взаимоотношения писателей и критиков, групповые пристрастия и «тусовки» – то, что называется литературной жизнью, – по-видимому, занимают автора книги больше, чем собственно литературная проблематика. Писатель как независимая личность, писатель-отшельник, по самой сути своего ремесла противостоящий обществу и начальству, интересует его гораздо меньше, чем писатель – общественная фигура, деятельный участник литературного процесса, писатель-представитель: пассажир, а не пешеход. Здесь особенно ощутима установка (повторим цитату) на «присутствие в современной литературе и на книжном рынке». Рабство у времени, актуальность, понимаемая не как современность, а как своевременность.

Сугубое внимание – что, в частности, выгодно отличает путеводитель Чупринина от других справочников литературы – уделено литературной критике. Разъяснено множество терминов, полужаргонных речений и неологизмов, появившихся недавно, чуть ли не вчера (и, очевидно, обречённых исчезнуть завтра).

Всё это предопределило удачу «общественных» статей и слабость «теоретических». Характерный пример – статья «Автор».

Сперва говорится о сложности проблемы, бегло упоминаются авторитетные имена литературоведов. Далее сделана попытка показать, в чём состоит сложность. Не всегда легко решить, кто подлинный автор того или иного произведения. Книгу могут писать несколько человек («негры» Дюма-отца). Книги начальственных персон часто вовсе создаются не ими («Малая земля» и другие сочинения лауреата Ленинской премии по литературе Л. И. Брежнева; тут можно было бы вспомнить и сфабрикованных «переводчиками» фантомных национальных поэтов советского времени). Кроме официальных авторов, существуют официальные и неофициальные соавторы. И так далее.

Ясно, что это уход от темы: статья трактует не об авторе, а об авторстве. Никакой особой сложности тут нет. Между тем стоило бы поразмыслить, проследить на конкретных примерах – здесь литература XX века могла бы предоставить богатый материал, – как в действительности

может быть расщеплён автор. Как соотносятся между собой, в какую прихотливую игру вступают литературные роли: реальный автор, сидящий за рабочим столом; флюберовский всевидящий и незримый, как Бог в природе, автор внутри своего произведения; автор, надевший маску редактора или публикатора; эксплицитный автор – свидетель и повествователь; комментатор собственного труда, аналитик и скептик, предлагающий альтернативные версии; писатель – игрок над шахматной доской и писатель, который сам становится шахматной фигурой, действующим лицом... Каждая роль разыгрывается в собственном, романном или внероманном времени, и, таким образом, концепция автора оказывается тесно связанной с философией литературного времени.

Другой вопрос, столь же необходимый для уяснения, что такое «автор», – вопрос о субъекте литературного высказывания: кто говорит? От чьего имени ведётся повествование? Насколько «аутентичен» его рассказ? Одним словом, тут есть о чём потолковать – и о чём в статье составителя нет ни слова.

Можно было бы привести ещё несколько подобных примеров, когда автор путеводителя, на мой взгляд, не справился с темой (таковы статьи «Постмодернизм», «Поток сознания») либо трактует предмет слишком уж поверхностно, отделяется общими местами («Космополитизм в литературе», «Критика литературная», «Новый реализм», «Техника литературная», «Эмигрантская литература», «Эссе»).

Весьма неглубокой выглядит, на фоне тотальной коммерциализации литературы, статья «Рынок литературный». Отметим, кстати, что в разделе персоналий, где, как уже сказано, оказалось множество незначительных фигур, отсутствуют крупнейшие социологи современной российской литературы – Б. Дубин и Л. Гудков. Ни слова – в путеводителе, где упор сделан на литературную жизнь, – об экономическом положении русских писателей, о новых, подчас беззащитных формах эксплуатации литературного труда.

Есть и курьёзные тексты – о «приколах», о «либеральном терроре», о «литературе больших идей» (здесь, например, можно узнать, что писателем больших идей является славный Эдичка Лимонов).

Конечно, корректная критика стремится уяснить, какую задачу ставил перед собой писатель и насколько он с ней совладал. Упрекать автора, зачем он опустил то-то, не коснулся того-то, рискованно, – не лучший метод критики. Всё же я полагаю, что и в этом смысле мы вправе предъявить некоторые претензии к автору. В труде, который так или иначе притягивает на то, чтобы дать всестороннюю картину сегодняшней русской литературы (хотя бы и ограничив её литературой метрополии), непозволительно обойти стороной первостепенное и жгучее.

Cum tacent, clamant, – говорил древний оратор. «Их безмолвие кричит». Вот в чём несчастье – глухое молчание о том, что болит. Повторяю, остаётся спорным, считать ли это недостатком компендиума, коль скоро известные темы заведомо не предусматривались программой книги. По мне, они должны были входить в задание.

Литература сегодняшней России есть прямой наследник советской литературы, и от этого никуда не уйдёшь. За плечами у нас гнусное и мучительное прошлое. Реликты этого прошлого продолжают жить в настоящем. В доме повешенного не говорят о верёвке. Но до тех пор, пока не произведён решительный расчёт с советским строем и советским мировоззрением, нельзя говорить ни о демократии, ни о моральном исцелении народа.

И ещё одно: известная стеснительность, – впрочем, понятная, ведь речь идёт о постыдных явлениях и непристойных именах, да и атмосфера в стране не слишком этому способствует, – помешала составителю упомянуть о расцвете национализма, расизма и откровенного фашизма в сегодняшней российской литературе и журналистике, о том, что представляют собой такие издания, как «Наш современник» или «Молодая гвардия», о произведениях таких авторов, как Михаил Назаров, Сергей Кара-Мурза, Ксения Мяло, Александр Дугин, Игорь Шафаревич, Станислав Говорухин, Владимир Бушин и *tutti quanti*.

Но, быть может, ещё важнее то, что новая литература так или иначе противостоит старой парадигме, не мытьем, так катаньем старается освободиться от советского образа мыслей, сбросить путы архаической советской эстетики, выбраться из провинциальной затхлости. И об этом тоже стоило бы сказать в книге.

В заключение – несколько мелких неточностей или опечаток. Женщину – литературного критика и редактора выходящего в Берлине журнала «Литературы» («Literaturen») Зигрид Лёфлер автор дважды называет мужским именем Зигфрид. Вместо «доппельгангер» надо было бы сказать: доппельгенгер (Doppelgänger, двойник). Французское слово meilleur пишется с двумя «эль». И, наконец, на случай очень желательного переиздания, покорнейшая просьба: в книге, написанной в общем-то вполне нормальным русским языком, воздержаться от таких речений, как «позиционировать», «легендировать», «отформатировать субжанр», «ментальный самоотчёт», «вот именно что», «полный отстой», «эффективные маркетинговые стратегии», «самым взаимоисключающим образом», «принципиально космополитичный», «продактплейсментингный»...

Книга прекрасно издана. Жаль, что так мал тираж: 3 тысячи.

ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

На свои первые, еще не заработанные, а полученные в подарок ко дню рождения деньги, я купил книжку – ею оказался сборник повестей и рассказов кабардинского писателя Хачима Теунова.

В четырнадцать лет купил первую поэтическую книжку – ею, до сих пор храню, стала «Нежность» Евгения Евтушенко, тут же заученная наизусть.

В шестнадцать – первую литературно-критическую, как помнится, про современную поэму, и годы прошли, прежде чем я подружился с автором этой книжки (а вернее, брошюры) Геннадием Красухиным.

Таким образом – если учесть, что лет с двенадцати я в районной библиотеке прилежно конспектировал черные тома «Большой советской энциклопедии», выбирая те статьи, что про литературу, – участь моя была решена.

Конечно, литература. Конечно, русская. И – в ней – критика. Критика поэзии, по преимуществу. Хачим Теунов при этом, понятное дело, как-то провисает, свидетельствуя скорее о том, что рядовому необученному покупателю могло предложить местное сельпо, но тем не менее...

Я до сих пор уверен, что перечень первых самостоятельно добытых книг не меньше говорит о литераторе, чем перечень книг, им самим впоследствии написанных.

У меня, во всяком случае, так. И, взяв исповедальную ноту, тут же признаюсь, что участи на жизнь не хватило.

Стихи до сих помню километрами – но, как правило, те, что вошли в сознание лет до тридцати, и в этом смысле межировская фраза «До тридцати поэтом быть почетно...» имеет отношение, видимо, не только к производителям, но и к читателям стихов. Всё, что прочел потом, могу оценить, принять, но... без прежней уже воспламененности и прежних сосредоточенных поисков избирательного сродства, так что не прочтенный вовремя Георгий Иванов так и не потеснил во мне Владислава Ходасевича, а написанное Юнной Мориц или Андреем Вознесенским в последние десятилетия не отменило сладостных воспоминаний о том, как читались, немедленно врезаюсь в память, «Лоза» и «Дубовый лист виолончельный». Так что о поэзии я сейчас почти не пишу. И читаю, чтобы для души, из современных, появившихся (для меня) в последние двадцать лет поэтов, очень уж немногое – разумеется, Геннадия Русакова, конечно, Кибирова и Гандлевского, естественно, Льва Лосева, Елену Фанайлову, может быть, еще трех-четырех, вряд ли больше, поэтов.

То же и с критикой. Когда-то занятия ею принимались мною как в точности под меня «заточенные», и изумление вызывали старшие товарищи из тех, что, потрудившись-потрудившись над рецензиями, обзорами, полемическими заметками, потихонечку переключивались в литературоведение, в преподавание, в редактуру, к иному делу.

Теперь не изумляют. Сам такой, сам перешел к редактуре, а чуть позже еще и к иному делу, уже словарному.

С редактурой, впрочем, оно само собою как-то получилось. Придя еще в 1989 году в редакцию журнала «Знамя», я довольно быстро понял, что редакторские обязанности налагают слишком сильные ограничения на свободное изъяснение литературно-критических мнений. Хвалить то, что сам отправил в набор, мне неловко. Бранить то, что сам же и «зарубил», неэтично. Одобрять

то, что напечатали конкуренты, с какой бы это стати?.. А порицать – тоже вроде бы поперек корпоративной морали.

Что делать, если осталась привычка водить перышком по бумаге?

Уходить к Баратынскому и Мерзлякову?

Может, и ушел бы, кабы утрата привычной профессии произошла не в девяностые годы, когда всё в русской литературе перевернулось и еще даже не начинало укладываться по-новому. И когда из моих коллег мало кто понимал, с чем мы имеем дело, кто что пишет и почему замолчал (уехал, занялся бизнесом, умер?..), какие издания по-прежнему выходят или почили в бозе. Прежние источники информации перестали эту самую информацию источать, писательские союзы – ну и слава богу! – рассыпались в прах, и о том, что происходит в литературной Пензе, все мы так же не знали, как и о том, что происходит в русском Мюнхене.

Вот я – сначала исключительно для редакторских надобностей – и стал делать свои библиографические записи и выписки. Сперва в блокнотах, потом на обороте каталожных карточек и наконец – спасибо техническому прогрессу – в компьютере. Постепенно выяснилось, что я тем самым инвентаризирую современную русскую литературу, собираю ее имена, как Владимир Иванович Даль некогда собирал слова для живого великорусского. И постепенно же стало нарастать некоторое раздражение по отношению к попутной мне критике.

Прежде всего потому, что критики – говорю сейчас о критиках статусных, отвечающих за свои оценки и создающих свой образ литературы, – имеют дело в самом лучшем случае с десятками имен. Частью они у каждого критика – свои (например, Владимир Рецептер у Станислава Рассадина, Марина Вишневецкая у Андрея Немзера), но большей частью перекрещиваются, совпадают, и выходит, что на авансцене, освещенной критикой, действуют всего несколько десятков, ну от силы сотня писателей. Тогда как книжки пишут и издают тысячи, десятки тысяч авторов, и остается тайной, все ли из них графоманы и действительно ли не надо следить за «Сибирскими огнями», «Аполлинарием» и «Новым Берегом», действительно ли не надо читать, скажем, романы в стихах Алексея Бердникова, стихи Юрия Каплана или прозу Бориса Фалькова. Никто ведь из – повторяю, именитых, создающих свой образ литературы – критиков об этих авторах словечка не проронил и, подозреваю, в их книги не заглядывал.

Отчасти, разумеется, из лени или – скажу корректнее – из экономии усилий: всех не переберешь. Отчасти из стадного чувства, знакомого даже сильным умам: если все вокруг пишут о Пелевине и Проханове, то как же и самому не взглянуть, самому не отметить?.. Но есть тут и мировоззренческая подоплека – взгляд на литературу как на поприще для заведомо немногих, избранных, когда ко всем остальным можно относиться (и относиться), как к гумусу.

Мне такой – назовем его аристократическим – подход никогда не был близок. Я – переберу в памяти – если и писал когда о писателях былого, то не о Достоевском, например, а о Боборыкине, Николае Успенском, Куприне или Владе Дорошевиче, не о Блоке, а о Гумилеве или Леониде Мартынове. То есть писателях, с аристократической точки зрения, безусловно второго, а то и третьего, четвертого ряда. Уделить им внимание и, соответственно, привлечь к ним интерес мне всегда казалось важнее, чем прибавить собственное тысячеровое мнение к тысяче уже высказанных мнений о «Братьях Карамазовых» или о «Двенадцати».

Так вот, о мнениях. Тут второй пункт моего охлаждения к профессии, которой я намеревался служить всю жизнь, но так и не дослужил.

Ведь что, собственно говоря, делает критик? Читает книгу (или книги), формирует свое мнение о прочитанном и адресует это мнение всем, кому оно интересно, то есть до востребования. Чем дальше, тем чаще востребованными становятся почти исключительно такие же, как и он сам, критики, которые либо вступают с ним в полемику, либо – это теперь как правило – соплагают в параллель с его мнением свое собственное, от него отличное.

Если Майя Кучерская утверждает, что Михаил Шишкин – «мастер уровня Михаила Булгакова и Владимира Набокова», то Андрей Немзер, работающий вместе с нею на той же кафедре Высшей школы экономики, совсем наоборот, этого вашего Шишкина в грош не ставит. Если Глеб Морев видит в стихах Олеси Николаевой воплощенную посредственность, то это отнюдь не мешает Ирине Роднянской считать эти стихи выдающимся явлением русской поэзии.

Ну и так далее.

Мое слово против твоего слова. Вот и вся критическая реальность.

Естественно, что народ безмолвствует. И как ему (пусть не всему народу, а хотя бы читающему сословию) не безмолвствовать, если авторы самых ярких статей и рецензий говорят на собственном, не вдруг и понятном жаргоне, входят в тонкости, ничуть не интересные для ни в чем не повинного читателя, и – нарушая святой принцип Оккама – плодят и плодят мнения явно сверх необходимого. Искусство, словом, для искусства, и мне, как бы ни любил я сам игру в бисер, это не кажется правильным.

Как не кажется мне правильной и практика гламурных СМИ, стремящихся навязать читающему сословию отобранное (еще меньшее, чем у толстожурнальных критиков) число книжек и авторов – понятно, что не обязательно самых необходимых.

Я отнюдь не Дон-Кихот и знаю, что в одиночку перебороть господствующие сегодня тенденции – не в моих силах.

Хотя... Отчего бы и не попробовать?

Вот я и пробую, предлагая коллегам-критикам обмениваться не мнениями (или не только мнениями), но еще и (прежде всего) знаниями – о писателях, о книгах, о литературе, где, по моему глубокому убеждению, нет лишних, и старушка, на вдовью пенсию выпустившая сборничек своих стихов, тоже прадеду товарка в той же мастерской.

И двухтомник «Новая Россия: мир литературы» (М.: Вагриус, 2003), вобравший в себя сведения почти о 15 тысячах современных русских писателей, о десятках литературных ассоциаций, сотнях литературных премий, журналов и альманахов, и двухтомник «Русская литература сегодня» (М.: Время, 2007) – прежде всего предложение. И моя личная, чупрининская, версия русской словесности последнего двадцатилетия.

Не устраивает? – предложите свою. Или поспорьте со мною – но так, чтобы запустился переговорный процесс, и хотя бы мы, литературные работники, наконец-то услышали друг друга и смогли хотя бы друг с другом о чем-то договориться.

Вот почему я благодарен не столько тем, кто мои книжки похвалил, сколько тем, кто вступил со мною в предметную дискуссию.

Алле Латыниной («Новый мир», 2007, № 6), Самуилу Лурье («Звезда», 2007, № 6), Александру Мелихову («Октябрь», № 6), Борису Хазанову, чью развернутую рецензию вы только что прочли.

Именно эти блестящие, глубокие, аргументированные отклики (хоть были и другие, не менее умные и выразительные) я сближаю по двум причинам.

Во-первых, все они написаны с позиций художественного консерватизма (см. соответствующую статью в «Жизни по понятиям»), страстно разочарованного тем, как и куда движется современная нам литература.

Во-вторых, дав моим книжкам лестную оценку, и А. Латынина, и С. Лурье, и А. Мелихов, и Б. Хазанов тут же обнаруживают в их содержании, в их смысловом посыле кричащие противоречия.

И не ошибаются: моя литературная позиция (и тут см. соответствующую статью) действительно противоречива. И кричаще, и принципиально. То есть вполне намеренно.

Как читатель, как критик и, в особенности, как редактор литературного журнала я ведь, позвольте признаться, тоже консерватор, и мне тоже роднее то представление о литературе, с каким почти сорок лет назад я вышел в свой профессиональный путь, и мне тоже А. Проханова, И. Денежкину, И. Стогоффа хоть сахаром облепи...

Хочется плюнуть и выматериться.

Но я – по крайней мере, в рамках этого проекта – не буду ни плевать, ни материться.

Потому что мне кажется важным увидеть (и представить) родную литературу такой, какой она на моем веку стала.

Дело в том, уж простите, но литература мне дороже, чем мои собственные представления о ней.

Заканчивая свой сборник статей «Перемена участи» (М.: НЛО, 2003), я написал, что временами выпадаю в бессильное отчаяние. Составляя «Большой путеводитель», готова «Жизнь по понятиям», я временами тоже приходил в отчаяние: была вся кровь, а стала, мол...

Но другой литературы у нас сегодня нет. И, значит, должен же ее кто-то описать – пусть даже наступая на горло собственному вкусу. С точки зрения стороннего, но заинтересованного наблюдателя. Держась принципов ложного и, безусловно, насквозь фальшивого объективизма, но втайне надеясь, впрочем, на то, что интонация автора, то есть меня, вывезет, а читателя выведет на понимание того, как на самом деле я отношусь к тем или иным фигурам, явлениям, событиям литературной жизни.

Именно литературной жизни, а не собственно литературы, поэтому в моих книгах так мало сказано о (достойных и не достойных внимания) текстах и так подробно рассказано о премиях, союзах, журналах, тенденциях и понятиях – словом, о том, как и чем живут сегодня писатели, стремящиеся быть услышанными современными им читателями.

Для кого мои книги?

Монструозный, несуразно огромный двухтомник «Новая Россия: мир литературы», естественно, для специалистов. И для библиотек, для памяти, то есть для потомков – чтобы им было откуда узнать, какой жизнью жила русская литература на переломе двух тысячелетий.

А двухтомник «Русская литература сегодня» – для нынешних читателей. Пока обе книжки находились в моем компьютере, я в одном из интервью сострил, что пишу-де для медсестрички, которая хочет закадрить аспиранта-филолога и должна, следственно, где-то набраться премудрости, чтобы поддерживать с ним разговор на достойном уровне.

Увидев сначала в распечатке, а затем в верстке, что в каждой книжке более чем по шестьсот страниц, я ужаснулся и больше так не шучу. Столько прочесть, столько фамилий запомнить, столько терминов усвоить, чтобы всего-навсего прослыть человеком, хорошо разбирающимся в современной русской литературе, – бедная медсестричка, да есть ли ты на белом свете!

Впрочем...

Ведь жил же когда-то мальчик, который в поселковой библиотеке переписывал в общие тетрадки «Большую советскую энциклопедию», выбирая те статьи, что про литературу.

Не сомневаюсь, что и сейчас где-нибудь живет такой же мальчик.

Именно для него я пишу свои книги.

Ему хочу быть интересным. Ему понятным. И им понятным.

МАМУРА, КРОКОДИЛ, ИЛИ СКОЛЬКО ЛЕТ РОССИИ?

(к годовщине Великого посольства)

Европа – не только страна святых чудес, она еще страна революций, человеческих катаклизмов, геополитических переворотов. Иные катаклизмы назревают; люди их ждут, предчувствуют, хоть и не верят в них до конца, – таков был самый страшный из них: крушение Римской империи; иные – являются как гром среди ясного неба. Именно такой нечаемый переворот начался 310 лет назад. Европу он изменил больше, чем испанская реконкиста, голландская или французская революции.

Весной 1697 года из Москвы в Западную Европу отправился большой обоз. До Риги (это уже была Швеция, граница проходила по реке Плюссе) доехало около тысячи подвод. Дальше число людей и лошадей сильно сокращается, но все равно народу едет много, человек этак 250-300 (всего же Москву в связи с этим делом покинуло около четырехсот человек). И денег везут много: десятую часть государственного бюджета большой страны с не вполне устоявшимся именем. Если векселя учесть, то и больше.

Это было посольство, ехавшее будто бы для укрепления союза христианских народов (Австрии, Польши, Венеции и одной не совсем ясно поименованной страны со столицей в Москве) против Турции. На самом деле цель у посольства была совершенно иная. Несколько заострив характеристики, можно признать чинное, степенное и бородатое это посольство – набегом. Ехали грабить – хоть и не убивать; грабить в рамках закона и чуть-чуть за пределами этих рамок, шпионить; вывезти собирались – и вывезли – нечто дороже золота. Остроумец и любитель парадоксов Герцен – хоть и не совсем этими словами – сказал: не будь этого посольства, не было бы Пушкина. Мы добавим: значит – и России (потому что какая же Россия без Пушкина?). И еще добавим, собравшись с духом: не было бы большевизма, гражданской войны 1918-21 годов, Гулага, Второй мировой войны, Освенцима и Хиросимы... Конечно, в этом месте нас одернут, скажут: мы хватанули, через край взяли, заострили характеристики до абсурда. Но абсурд иной раз полезен. Тут он к тому же не совсем абсурд, а только поэтический оксиморон. Вместо перечисленных ужасов, можно не сомневаться, случились бы другие, но этих – и в самом деле могло не произойти. Ход истории был бы другим.

За чем ехали?

Ехали за знанием. За книгами, чертежами и английской подошвенной кожей. За наукой и ее материальными носителями. За пилами (сто продольных, тридцать поперечных) и компасами. За оружием холодным (шпаги) и огнестрельным (тысячи фузей, 30 пушек, 24 мортиры, 12 гаубиц), за мумией крокодила для кунсткамеры (в отличие от пил и мортир, мумия и кунсткамера не планировались), за арапчатами (они тоже не планировались; в посольстве были карлы, а в Западной Европе уже вошли в моду арапы). Ехали за китовым усом для *флюгелей* (от ста до трехсот фунтов) и за гарусом для знамен: белым, голубым и красным гарусом для первого русского

триколора (если цвета читать сверху вниз, получается БГК, а если снизу вверх – КГБ). В Европе в ту пору было только одно трехцветное знамя: голландское, революционное; Петр еще-не-Великий видел его в Архангельске. Русскому знамени предстояло стать вторым и тоже революционным: *ознаменовать* петровскую революцию. А революция подразумевает расправы. По сравнению с Петром, если говорить о жестокости, Робеспьер и Ленин ягнятками кажутся. Первой его покупкой в Европе стала мамура (палаческий топор).

Ехали за языками. Номинальный глава посольства, Франсуа (Франц Яковлевич) Лефорт, родом был швейцарец, европеец, и языки знал. Фактический глава посольства, волонтер Петр Михайлов, он же царь Петр, ехавший инкогнито (о чем знала вся Европа), мог объясняться по-голландски, но преимущественно о делах корабельных, как это в 1698 году отметил его собеседник, английский король Вильгельм III (владевший девятью языками). Еще Петр изъяснялся на нижне-саксонском наречии – благодаря своей подруге из Немецкой слободы Анне Монс. Будущий первый русский академик (он же светлейший князь, генералиссимус и т.п.), корреспондент Ньютона Александр Меншиков бойко говорил по-немецки (давно при Петре состоял) и, кажется, читал по-русски, но писать ни на одном языке не умел и так никогда и не научился, даже подписать свою рисовал. Большинство же членов посольства нуждалось в переводчиках. В Москве западных языков практически не знали. Восточным веяниям страна была веками настезь открыта, оттуда шло родное, своё; даже слова *книга, язык, хоругвь* – тюркские. Запад же нужно было осваивать вопреки этому родному. В Амстердаме Петр основательно подучил голландский на верфи и в тавернах, в Гааге брал уроки немецкого у «иноземца» Ильи Федоровича Копиевского (1651-1714), книжника-белоруса (по другому счету – поляка), осевшего на Западе. Первые русские светские книги тоже были отпечатаны в Голландии, но уже после возвращения посольства. Почему в Голландии? Потому что в Москве тиснению подлежало только слово божие. Петру приходилось преодолевать сопротивление церкви.

Еще ехали специалистов нанимать. Главным образом моряков: капитанов («которые бы сами в мотрозах бывали»), боцманов, штурманов, лекарей, коков. Наняли около тысячи человек, больше всего – шведов, датчан, голландцев и немцев. Почему не голландцы на первом месте? Петра видим с топором в руках на верфи голландской Ост-Индской компании. В Амстердаме была главная остановка посольства. По сей день все русские морские термины – голландского происхождения. Голландия была на волосок от того, чтобы стать Англией – и править над волнами от Канады до Австралии. Но волосок уже превратился в трос (слово, естественно, голландское); шанс, а с ним и весь мир, был упущен, инициатива перешла к Англии. Петр, отправляясь в путь, не знал этого. Для него первыми морскими державами были Голландия и Венеция (в ту пору – средиземноморская империя). Голландию он заочно любил в Москве (а потом в Петербурге), не разлюбил и в Амстердаме в ходе посольства, но – горько разочаровался в голландских кораблестроителях. Когда фрегат «Св. апостолы Петр и Павел», заложенный компанией специально для Петра-плотника, был спущен на воду, Петр-царь, отработав свое и набравшись живого опыта, захотел прикоснуться к теории, и тут выяснилось, что теории у голландцев нет: «на чертеже показать не умеют», строят «с долговременной практики». Петр так рассвирепел, что специальным указом в Воронеж сместил всех тамошних голландцев, строивших Азовский флот, с руководящих должностей: отдал эти должности венецианцам, шведам, датчанам. А за чертежами поехал в Англию, где нашел их в изобилии.

Ехали, иначе говоря, за наукой во всех ее формах, но еще – и за развлечениями. С них, собственно, и началось: с мечты двадцатилетнего царя увидеть страну святых чудес. Идею ему Лефорт подсказал. Сейчас это имя только с тюрьмой связано, а тогда для России оно обернулось выходом из векового заточения. Сам-то Франц Яковлевич очень хотел с родственниками повидаться, потому и подталкивал Петра. Чувствовал, что долго не протянет. Он же придумал этот трюк: царь, путешествующий инкогнито. Будь царь официальным главой посольства, развлечения бы не состоялись.

Московия (уже иногда именуемая Россией, но в иных сочинениях – еще и Северо-Восточной Татарией) возвращалась в Европу. В Европе ее знали и понимали куда меньше, чем Османскую империю. Нанимаемые специалисты не догадывались об одной ее особенности: это была черная дыра; путь из нее домой был практически закрыт. Специалистов не отпускали. Бежать удавалось

немногим. Ловить беглецов было необычайно просто; человек в иностранном платье, с нерусским выговором был на виду в любом городе или селе. Страна веками стояла спиной к Западу, ненавидела латинскую ересь – и каждый москвитин, видя чужого, норовил донести.

Почему ехали?

Ехали сперва по суше, но где только можно было – водой. Петр, случалось, сам стоял у штурвала. Ехали – за морем, за выходом к морю. Английская шлюпка, найденная мальчишкой-царевичем в Преображенском, во многом определила судьбы Европы. Царевич в ходе своих детских потех любил воду, и вышло так, что эта потеха, эта детская любовь совпала с первостепенным государственным интересом. Армия (гвардия) тоже, как мы знаем, выросла из потешных полков, но шлюпка оказалась важнее.

Еще царевна-регентша Софья обязалась перед Священной лигой (Австрией, Польшей и Венецией) выступить против крымских татар, вассалов Турции, с которой лига воевала. Софья, тоже западница не хуже Петра, о море не думала, хотела от набегов заслониться.

Петр, едва начав править, нашел выход своей (говоря современным языком) гиперактивности: в 1695 году осадил Азов. Осада не удалась. В 1696 году он повторил попытку. Опять всё пошло плохо. Крепость казалась неприступной. Не удавалось разрушить угловой бастион. Не помог весь опыт генерала Патрика Гордона, шотландца. Не помогли бранденбургские специалисты. Но вот на театр военных действий прибыли приглашенные Петром австрийские минеры, инженеры и канониры, числом тринадцать. Прибыли 11 июля; 16-го бастион был разрушен; 18-го начались переговоры о сдаче крепости. Можно себе вообразить впечатление, которое это произвело на Петра. Что не удавалось полтора года, удалось за неделю. Скорей, скорей в страну святых чудес!

Азов потом пришлось отдать – после катастрофы на Пруте в 1711 году. (Почему турки не уничтожили тогда окруженную русскую армию? не взяли в плен Петра?) Но Азов так или иначе не открывал Москве выхода в международные воды. Мешали Крым, Керчь и Константинополь. Отправляясь в Европу в ореоле покорителя Азова, царь мог уже понимать, что этот путь – слишком длинный, если небезнадежный. В ходе посольства, сперва в Пруссии, затем в Англии, у него созревает мысль перенаправить свою избыточную энергию с юга на север, с Турции на Швецию.

Дипломатия: провал и успех

Официальная миссия московского посольства с треском провалилась. Европа как раз спешила помириться с исламом. Разгромив турок под Зентой в 1697 году, Австрия заключила с Османской империей мир на Карловицком конгрессе. Другие страны лиги, включая Россию, – тоже. В качестве наблюдателя, на правах союзников, под Зентой присутствовали русские представители. Победа эта – на счету Евгения Савойского, единственного полководца нового времени, которого почитал Наполеон.

Россией Московия стала как раз в этот момент: после возвращения посольства в Москву в 1698 году. Заметим, что слово *Россия* было новым не только для Европы, но и для самих москвитов: впервые оно было написано кириллицей в 1517 году. До этого употреблялось только в Византии, но не по отношению к Московии, а по отношению к днепровской Руси (и еще поселок в византийском Крыму назывался почему-то Ρωσία).

Успехом же было то, что в ходе посольства стал складываться союз Москвы с Бранденбургом (Пруссией) и Польшей, составлявшей тогда, под Августом II, одно государство с Саксонией. Союз против Швеции. Последовала Северная война, поражение под Нарвой, победа под Полтавой, основание Петербурга и долгожданный выход к морю. На западе Северную войну называют иначе: Великая северная война. Еще бы! Со Швецией как с великой державой (ужасом Германии

в Тридцатилетнюю войну) было покончено в одночасье, навсегда. Вместо нее на востоке начала вырисовываться новая великая держава.

Вся тяжесть Северной войны легла на Петра и его подданных (которых царь не щадил). Ему же досталась и вся слава, и прозвище Великий, и титул императора. Август II Сильный (он подковы гнул) в войне этой оказался слабым, Карл XII справился с ним быстро, а Петр после первых поражений не отступился, реорганизовал армию, захватил и удержал значительную часть шведской Прибалтики. Правда, в ходе *этой же* Северной войны, после вмешательства Турции, был потерян Азов (и срыт Таганрог), но нельзя приобретать, не теряя.

Главный успех... Успех?

Любое посольство, ехавшее заключать государственные договоры, называлось в Московии великим; до Петра великих посольств было с полдюжины; но только это стало Великим с прописной буквы. В ходе посольства возникла Россия. Идея России (зародившаяся еще при Иване III) начала материализоваться. И мамура, и чучело крокодила, и микроскоп Левенгука, не говоря о книгах, капитанах и мортирах, – всё, что вывезено посольством, – уже Россия. России, стране с этим именем, – в точном смысле слова – всего 310 лет. К Древней Руси она имеет примерно такое же отношение, как Болгария – к Казани: болгары ведь оттуда, но разве они те же? Преемственность Москвы с государством Владимира и Ярослава была разорвана на долгие века; язык и нравы изменились; этнос переродился. Возводить одно к другому – историческая спекуляция.

Не то что при Хмельницком, а и при Петре – у Московии на имя *Россия* было меньше прав, чем у Речи Посполитой, владевшей собственно русскими землями. Московия была наследницей Орды, не Киевской Руси. Так это понимал Запад до начала XIX века. «Поскоблите русского – найдете татарина» – эти слова звучат, как курьез, как шутка, которую приписывают Наполеону. Но в каждой шутке есть доля шутки. Байронов «Дон Жуан» писан после Наполеона; в седьмой песне, где речь идет о взятии Суворовым Измаила, русские опять названы татарами (строфа XIX), и едва ли для рифмы. (В той же песне – занятный и поучительный перечень европейцев, сражавшихся на стороне «татар»; их было много, очень много; в 1790 году новая Россия уже стала европейской империей.)

Успех Великого посольства был ошеломляющий, непредставимый. На реформы Петра, повторим слова Герцена, Россия ответила Пушкиным. Но Пушкин (самый европейский поэт Европы, по справедливому наблюдению Владимира Вейдле) Европе невнятен; его значение, неотрывное от его звучания, ей недоступно, никогда не откроется в той мере, как нам, русским. Зато нет европейской культуры без Толстого и Достоевского, Чайковского и Шостаковича; они пребудут в ее сердцевине до ее конца, если таковой наступит. В культурном отношении молодое государство за двести лет совершило нечто небывалое.

Однако ж на реформы Петра Россия ответила еще и большевизмом. Марксизм тут служил всего лишь маской, личиной. Не в нем, как теперь ясно, состояло главное, сколь бы искренне первые большевики ни верили, что строят рабоче-крестьянское государство, свободное от эксплуатации. Не случайно большевизм слинял за одну ночь. Сущностью большевистского переворота был изоляционизм: московитский, ордынский, *китайский* изоляционизм. (Не забудем, что хоть только на словах, не на деле, а всё же в бытность свою автономной областью Орды – Московия номинально управлялась из Пекина.) Изоляционизм и антиевропеизм. Окно в Европу было замуровано так, что и щелочки не осталось. Эмиграцию приравняли к измене родине. Это была антипетровская революция.

Нацизм, натянув логические вожжи до предела, тоже можно косвенно связать с итогами Великого посольства. Нацизм не от большевизма произошел, но ожесточение свое черпал на востоке. Сто раз сказано – и сказано верно: нацизм и большевизм – близнецы-братья, они от одного корня. Это было умопомрачение рабов свободы, людей, испугавшихся демократии. Но и взаимодействовали эти режимы по-братски: сперва любили друг друга (военная мощь Третьего рейха, тут уже нельзя спорить, готовилась в сталинском СССР – *против Запада*), учились друг у друга (уже сквозь взаимную ненависть), союз о ненападении заключили, а затем возненавидели

друг друга открыто и тоже чисто по-братски. Именно братские народы и режимы воюют на полное уничтожение.

А что сейчас? Окна и двери размурованы. Стенка снесена. Езжай куда хочешь. Миллионы разъехались, чего никогда не бывало. При слове *ностальгия* только усмеваются. Что же, Петр вернулся? На первый взгляд, да. Но что-то очень ордынское продолжает присутствовать в теперешнем московском режиме. На внешнеполитической арене Россия ведет себя скорее как большевистский СССР, чем как Россия петербургского периода. Главной отличительной чертой политики внутренней является полное презрение и к достоинству, и самой жизни рядовых граждан – как в худшие времена Московии. Опричнина и Гулаг приняли другие формы: невозможно не видеть их и в чеченской бойне, в убийствах Политковской и Литвиненко.

Конечно, *второй взгляд* на то, что происходит сегодня, бросим не мы. Тут наши правнуки разберутся. Может, в этом странном гибриде Европы и Азии борются сейчас петербургское и московское начало, а что на поверхности – кроме полуоткрытой границы – присутствует только московское (Путин, конечно, до мозга костей москвич), так это абберрация зрения, неизбежная у современников. Может быть. Отложим это. Мы ведь, собственно, другим заняты. Берем общую картину европейской цивилизации, страны святых чудес, – и видим: 310 лет назад начался в ней колоссальный переворот. Не знаем только, к добру или ко злу. Не знаем и знать не будем.

ВРАЩАЯ РАЗНОЦВЕТНЫЙ ГЛОБУС

Окончание¹

Долго мы были в Европе, и вот перед нами – Атлантический океан, Атлантика. Само слово и его производные занимают довольно высокое место в статистическом анализе словоупотребления в мировой прессе; Атлантическое сообщество, атлантическое партнерство и так далее, много всяких вариаций. Вдруг всплывает в памяти песня Городницкого: «И жить еще надежде / До той поры, пока / Атланты небо держат / На каменных руках». Оглянулся на восток – там небо никто не держит, может и рухнуть. Если бы не атланты, о которых Восток и не подозревает.

Атлантическое сообщество действительно поддерживает небо над нашей беспокойной планетой, как бы это ни отрицали те, кто живет далеко от Атлантики. Сколько в той же России авторитетных и влиятельных идеологов, утверждающих, что именно Запад, то есть Европа и Америка, представляют собой главную угрозу миру! На Ближнем Востоке и во многих других странах мусульманского мира этот тезис входит даже в школьные учебники, для Китая и других стран дальневосточного мира Атлантика – это слишком далеко, и трудно представить, что небо держится именно там.

И все-таки оно держится. У каждой цивилизации, у каждого народа, даже бесконечно удаленно от европейской цивилизации, есть свое предание о сотворении мира. Например, полинезийцев – герой Мауи вылавливал острова из глубин Тихого океана, а верховный бог Тане лепил из глины людей и населял ими новые земли. Как жаль, не помню имени приятеля молодых лет из Гвинеи, который совершенно убежденно утверждал, что его предки спустились с неба по цепи, которая находится глубоко в джунглях; сам он ее не видел, но родной дядя – видел! А европейцы, возможно, произошли от обезьян, но не мы, не мы!

Повсюду есть мифы, предположения, заключения мудрецов о конце света. Во всех мировых религиях, во всех народных, племенных, деревенских поверьях есть и предположения или даже рецепты, как можно от этого спастись. Но нигде – о вечности мира, пока не упадет небо. А его – держат могучие атланты. Кто же они?

Скудные сведения об Атлантиде (в «Диалогах» Платона) породили десятки легенд, теорий и даже научных изысканий недавнего времени. Кто-то искал ее близ острова Санторини, возле Крита, кто-то – в Атлантическом океане, за Геркулесовыми столбами, то есть Гибралтаром, согласно указаниям Платона. И постоянно подчеркивается мысль: цивилизация Европы, а то и Америки (инков, майя, ацтеков и их предшественников), воспринята от гораздо более высокой цивилизации атлантов. Путешественник Эрнст Мулдашев находит во всех трудно объясняемых современной наукой явлениях следы атлантов – наших гипотетических предков – и приписывает им необыкновенные, сверхчеловеческие способности.

Увы, никаких подобных способностей ни один из европейцев не унаследовал. В тяжком труде, крови и лишениях открыли они и берега Африки, и Индию, и, наконец, Америку. Пересекши Атлантику, они, наверное, поняли, что такое – держать небо на своих плечах.

Утверждают, и вполне обоснованно, что первым берегов Америки достиг отважный Лейф Эрикссон (в исландской традиции – Лейв Эйрикссон), сын конунга Эйрика Рыжего. И оставил там лишь скудные следы, постоянных поселений так и не возникло. Арабы, кстати, пытаются доказать, что и они еще задолго до викингов пересекали Атлантику. Что ж, и это вполне возможно – прибрежные воды они освоили отлично, плавали и вокруг Африки, и в Китай, могли и в Аме-

¹ См. №№ 6, 7, 8, 9, 10.

рику. Но – не оставили никаких следов. И до сих пор классическим для арабско-африканского мира является **дхоу** – небольшое и достаточно быстроходное одномачтовое или двухмачтовое судно с косым (латинским) парусным вооружением. Оно годится для каботажного торгового плавания, но в дальних рейсах для товаров места не найдется. В этом случае о торговле и речи не идет – только о пиратстве.

Все-таки Америка для всего остального мира начинается именно с 1492 года – года взятия Гранады, последнего бастиона мусульманского владычества в Испании, и великого путешествия Христофора Колумба. Впрочем, все это описано в десятках, если не сотнях книг, отображено во многих знаменитых фильмах. Попробуем взглянуть на это событие с нынешней точки зрения, когда Земля стала такой маленькой, а грозный Атлантический океан – не слишком широкой речкой.

В колумбовы времена главным и самым трудным было не преодоление тягот длительного морского путешествия. Главным было – преодоление неизвестности. Действительно ли Земля круглая? Действительно ли путь на запад ведет в Индию? Открытие нового континента (даже двух) вовсе не входило в планы людей, отважившихся на плавание в бесконечность океана. И очень скоро оказалось, что он вовсе не бесконечен, что плавание по уже проложенным путям вовсе не такое опасное, что завоевание новых земель оказалось проще, чем это казалось искусственным в науке войны испанским конкистадорам. Испания была первой, за ней – Португалия, потом Англия, Франция, Голландия... Путешествие через Атлантику стало привычным делом, таким оно остается и сейчас. Только люди предпочитают самолеты, а грузы, торговля – по-прежнему по воде.

Когда возникли Соединенные Штаты Америки, исключительно важным для них было поддержание и развитие торговых отношений с Европой. Связи с Англией, бывшей метрополией, были после войны за независимость безнадежно испорчены; соответственно, главным партнером стала Франция, за ней – другие страны континентальной Европы. Торговые корабли США в последние десятилетия XVIII века стали частыми гостями в Средиземном море. По известной причине они были лишены поддержки мощного английского флота, и им приходилось плавать на свой страх и риск. А риск был велик – берберо-арабские государства Магриба (Северо-Западной Африки), лишь формально входившие в состав Османской империи, уже давно превратились в базу морского пиратства, которое к тому же проходило под флагом джихада, то есть объектом нападений были практически исключительно торговые корабли христианских государств. Полунезависимые владетели Ливии, Туниса, Алжира, Марокко имели свою, и немалую, долю в доходах от грабежей и сопутствовавшей им работоторговли. Кроме того, они получали официальную регулярную дань от европейских правительств, взамен обещая избегать захватывать корабли заплативших стран. Нельзя сказать, чтобы это существенно сокращало масштабы пиратства – ведь джихад допускает обман и вероломство по отношению к «неверным». Плененных моряков иногда отпускали из рабства на волю – захваченные грузы не возвращались никогда. В наилучшем положении оказывалась Англия, располагавшая сильнейшим по тем временам военно-морским флотом, но не имевшая серьезных торговых интересов в Средиземноморье. Она тоже предпочитала платить магрибским правителям щедрую дань, более щедрую, чем другие; это перенацеливало пиратов на корабли других стран, ослабляя соперников – Францию, Испанию и США, переживавших издержки недавнего завоевания независимости. Причем США оказались в наихудшем положении – у них не было во всем средиземноморском регионе ни одного боевого корабля.

Томас Джефферсон, один из отцов-основателей США и фактический автор американской конституции, еще до французской революции стал послом США в Париже, сменив на этом посту другого великого американца, Бенджамина Франклина. Он представлял себе размеры ущерба, который средиземноморское пиратство наносило экономике Соединенных Штатов. Известно, что ежегодная дань и выкуп пленников еще в 1800 году отнимали не менее 20 процентов федерального бюджета! Джефферсон обратился к послу Ливии с запросом о причинах участившихся нападений на американские суда. И вот что он написал в своих мемуарах: «Посол ответил нам, что обоснование этому может быть найдено в законах, установленных Пророком, и что в их Коране записано, что все нации, которые не признают власть ислама, – грешники и что право и долг мусульман воевать с ними, где бы они ни находились, и делать рабами всех, кого удастся захватить...» Отец американской нации перечитал Коран для проверки этих слов посла. Не собствен-

но Коран, разумеется, а английский перевод «смыслов Корана», изданный в 1734 году. Современные исламские источники утверждают, что Джефферсон находил в Коране много мудрых мыслей, особенно касающихся «естественного права». По его трудам этого не скажешь; так или иначе, перечитав «священную книгу», он, как явствуют из его мемуаров, обратился к конгрессу с предложением собрать флот и разбить пиратов. Увы, конгресс, которому представили смету операции в два миллиона долларов, отказался. Вместо этого был заплачен выкуп в 70 тысяч долларов за захваченных бизнесменов. Но их не освободили... Цена возросла до 100 тысяч, а позже до полумиллиона.

Положение резко изменилось в 1801 году, когда Томас Джефферсон стал третьим по счету президентом Соединенных Штатов. Он настаивал на своей позиции и в конце концов убедил конгрессменов. Повод был чрезвычайный – правитель Триполи (нынешней Ливии) всё увеличивал размер выкупа за плененных американцев, а встретившись с отказом, сорвал флаг с американского консульства и захватил еще одно американское судно. Это было фактическим объявлением войны. Джефферсон отреагировал лозунгом «Миллионы на оборону, и ни цента дани». Найдя понимание в обществе, президент направил в Средиземное море военно-морскую экспедицию из четырех боевых кораблей. Быстрые пиратские дхоу легко уходили от преследования, а фрегат «Филадельфия» при попытке блокировать порт Триполи сел на мель и был захвачен арабами. Снова надо было платить... Не стали. Пришли новые военные корабли из-за океана, Триполи был блокирован. Лейтенант Стивен Декейтер с командой добровольцев на захваченном до этого пиратском дхоу проник в гавань, пришвартовался к «Филадельфии» и взорвал ее, положив конец надеждам пиратов использовать этот корабль в боевых действиях. Экспедиция благополучно вернулась к эскадре, не потеряв ни одного человека. Известие об этом разнеслось быстро по всей Европе, адмирал Нельсон назвал действия Декейтера «самым дерзким и отважным поступком, когда-либо совершенным на море».

Летом того же (1804-го) года произведенный в капитаны Декейтер во главе флотилии из шести кораблей вновь оказался у Триполи, совершенно неожиданно для противника, и полностью разгромил пиратский флот, втрое превышавший американский по численности и огневой мощи. Тем самым он надолго лишил ливийских правителей возможности действовать на море. Слава была громкой – именем Декейтера (Decatur) были названы пять кораблей и целых десять городов в США, его портрет украсил 20-долларовые банкноты, пивные кружки и даже мебель. Тем не менее пленных американцев так и не удалось освободить.

На следующий год бывший американский консул в Тунисе Уильям Итон привел три корабля в Египет, правитель которого, хедив, обещал помощь в борьбе с пиратами и разрешил набор наемников с этой целью. С частью экипажа и четырьмя сотнями наемников (многие из которых разбились по дороге) Итон на верблюдах двинулся на запад и вскоре достиг крепости Дерна, недалеко от Триполи. Атака была успешной, при взятии особо отличился лейтенант Пресли О'Бэннон; его имя носил эсминец Тихоокеанского флота, прославившийся в боях против японцев.

Правитель Триполи вынужден был уступить – пленный экипаж «Филадельфии» был отпущен на свободу за символическую плату, а сам правитель обязался больше не нападать на американские торговые суда. Тем и закончилась «Первая берберийская война, англ. First Barbary War», о которой очень редко вспоминают и сведения о которой отсутствуют даже во многих энциклопедиях... Не «варварская» это война была (даже в старом издании Брэма я нашел гравюру с надписью: «Варварийский лев»). Хищник был, безусловно, грозным, но уже давно в районах, опустошенных берберо-арабским нашествием, его не встретишь. Всю возможную еду бездумно уничтожили завоеватели, и сами бедствуют по этой причине не меньше, чем изгнанные ими львы.

«Barbary coast» означает вовсе не «варварский берег», а совокупность населенных преимущественно берберами государств или полугосударственных образований, то есть Ливии (или Триполитании), Туниса, Алжира и Марокко. Ни одно из этих государств в ходе Первой войны не было убедительно разгромлено, и пиратство быстро нарастило мускулы. Почему бы и нет? Средиземное море стало ареной борьбы между английским и французским флотами, о Трафальгарской битве будут помнить еще долго, пока стоит в Лондоне Колонна Нельсона. Вся Европа была в огне, военные флоты, все без исключения, были задействованы в военных действиях, им было не до пиратов (которые, кстати, всеми силами помогали французам). Нейтральная Америка продолжала торговать, и все чаще ее беззащитные суда становились добычей вновь обнаглевших пиратов

– на этот раз преимущественно алжирских. В мае 1815 года Стивен Декейтер, произведенный в коммодоры (адмиралы), вновь повел флотилию в Средиземное море. «Вторая берберийская война» была недолгой – за 48 часов был принужден к возврату всех плененных американцев Алжир, немного позже то же сделали Тунис и Ливия. Совместная англо-голландская экспедиция последовала американскому примеру, освободив оставшихся христианских заложников. Правда, окончательно средиземноморское пиратство было искоренено уже в 30-е годы, когда Франция превратила Алжир и Тунис в свои колонии, а османские турки восстановили контроль над Триполитанией.

Странно, что исламистские идеологи никогда не вменяют в вину «большому сатане» нападение на мусульманские государства, действовавшие под флагом джихада. Кстати, это были первые военные действия американцев в Старом Свете – и действия успешные, впоследствии европейцы лишь следовали американскому примеру.

Но американцы и не пытались образовать там свои колонии: европейцы же действовали в соответствии с устоявшимся стереотипом.

Что же дали «берберийские войны» Соединенным Штатам? Да и всему миру, который о них упорно не помнит и не желает вспоминать?

Установим: это была первая война Нового Света на территории Старого Света, и в этой войне Новый Свет одержал победу. Рейд на Дерну остался в памяти и стал первой строкой в гимне американской морской пехоты, самого элитного военного подразделения в мире: «От Залов Монтесумы до берегов Триполи...» Но что за Залы Монтесумы? Вроде бы еще великий Эрнан Кортес покорил империю ацтеков, последний их правитель, Монтесума, умер в 1520 году? Оказывается, «Залами Монтесумы» называли замок Чапультепек, воздвигнутый на окраине Мехико в XVIII веке и штурмом взятый морской пехотой в 1847 году, во время победоносной американо-мексиканской войны. Русские переводчики этих подробностей не знали и Halls (Залы) прочитали как Hills (Холмы). Так появились «холмы Монтесумы», которые неизменно упоминают русскоязычные авторы, считающие себя знатоками истории Америки. Хотя они есть и на самом деле – это плодородный район Montezuma Hills в Калифорнии.

Берега Триполи были все-таки на четыре десятилетия раньше, чем Залы Монтесумы; видимо, стихотворцу не удалось соблюсти хронологию. Тем не менее, это был первый в истории США военный гимн, отличающийся от национального. Автор стихов неизвестен, да еще не один раз они переделывались. А музыка, ничтоже сумняшеся, содрали с комической оперы «Женевьева Брабантская» Жака Оффенбаха.

Итак, первая война Соединенных Штатов Америки против подонков, выступающих под флагом джихада, началась практически сразу после завоевания этой страной независимости, и война эта была успешной. В битве при Дерне над иностранной территорией впервые был водружен звездно-полосатый флаг. Стоит еще раз подчеркнуть, что, в отличие от многих других войн этого периода, эта не была колониальной, хотя американцы, конечно же, могли захватить какую-то страну Магриба и устроить там форпост. Другой вопрос – смогли ли бы они его долго удерживать; впрочем, американское общество того времени было решительно настроено против колониализма как такового, ведь еще недавно и сами США были колонией. Первоначально антиколониальный пафос пронизывал и знаменитую «Доктрину Монро» (1823 г.), провозгласившую, что европейские державы не могут более производить колониальные захваты в какой-либо части Северной или Южной Америки или вмешиваться в дела стран, там расположенных. Продолжением была обнародованная в 1845 г. концепция «Явного предназначения» (Manifest Destiny), имевшая целью распространить американский тип демократии, самый эффективный до сих пор, и то, что названо позже «американским образом жизни», не только на всю Америку, но и на ставший чуждым Старый Свет. Мы знаем и положительные примеры применения этой концепции, и не слишком успешные. Последние касаются попыток демократизации арабо-мусульманского мира, который еще не так давно казался податливым, готовым к переменам и вовсе не готовым к серьезному сопротивлению. Это явление сегодняшнего дня; я не убежден, что оно будет такой же закономерностью дня завтрашнего.

Мы же пока рассматриваем вчерашний день Америки, оставивший последствия в сегодняшнем ее облике.

Рабство. Последняя христианская страна, освободившая своих рабов, да и то в результате кровопролитной гражданской войны между Севером и Югом (1861 – 1865 гг.). С одной стороны, это была война, в центре которой стояли моральные принципы, нашедшие отражение в убедительных речах Авраама Линкольна. С другой стороны – неизбежное противостояние между феодально-патриархальными южными штатами, с использованием рабского труда производившими (и в немалых масштабах) хлопок, сахарный тростник и табак, и индустриально-торговыми северными штатами, где рождалось новое общество, требовавшее простора для развития. Конечно же, южане проиграли, рабство было отменено навсегда. Но операции их армии под командованием генерала Ли являются такими же обязательными к изучению в военных академиях США, как и операции северян под командованием генерала Гранта. Заметьте – идеологические вопросы при этом никогда не встают, и вовсе неважно, что автором блестящего рейда был убежденный рабовладелец. Собственно, танковые операции Гудериана или Роммеля изучают во всем мире, и никого не интересуют их идеологические предпочтения. Вспомнил удивительный случай: в Дакке, в 1976 году, в иммиграционном отделе Республики Бангладеш, начальник (я запомнил его имя: Нурул Худа) задал мне совершенно неожиданный вопрос: «Вы помните блестящую операцию генерала Родимцева под Сталинградом? Я-то понял тогда, что немцам конец». Я сослался на Курскую битву, на Белорусскую операцию – рейда Родимцева я, к стыду своему, не помнил. Вид на жительство (residence permit) получил, тем не менее, через минуту. Мистер Худа не был ни армейским офицером, ни специалистом по военной стратегии – он просто интересовался недавней историей. Будучи, кстати, вполне правоверным мусульманином, он активно разделял цели антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, а пронацистские сантименты арабских лидеров той поры объяснял их «крайне скудной образованностью».

Да простит их Аллах, арабских лидеров военных и послевоенных лет. Америка с ними никак не соприкасалась до того момента, пока на мировой карте не возник независимый Израиль и американская дипломатия, да и вообще американское влияние, пересилили всех остальных в регионе и стали доминирующей силой. В Америке, в Кэмп-Дэвиде, была заключена договоренность о мире и взаимном признании между Египтом и Израилем. Мир практически не заметил, что после этого, выступая в израильском кнессете, египетский президент Анвар Садат, лауреат Нобелевской премии мира, предстал перед публикой в галстук, украшенном свастиками. Опомнились потом – сейчас, уже после 11 сентября, американское общество охотно воспринимает определение наиболее оголтелой версии исламистского экстремизма как исламо-фашизм.

Но это сейчас, почти через полтора столетия после освобождения американских негров. Кто-то из них исповедовал ислам – и это был единственный вариант соприкосновения белых американцев с религией Мухаммеда. Сколько было мусульман среди негров – сказать трудно, статистики никакой не велось. Известно, однако, что очень много было (и остается сейчас) сторонников религии вуду, возникшей в Америке из странной смеси христианства и племенных культизов западно-африканского народа йоруба. Наиболее популярна эта религия в карибском ареале, в штатах американского Юга и особенно в районе Нового Орлеана. Ею окрашен даже ежегодный нью-орлеанский карнавал «Марди гра».

Можно снисходительно говорить об этой религии, насчитывающей не менее 50 миллионов поклонников – дикари, дескать, шаманы. Но даже Ватикан в 1860 году признал вуду местной разновидностью католицизма. Наверное, поторопился, хотя многие божества вуду имеют прямые параллели с христианскими – Девой Марией, Святым Петром или даже Святым Патриком. Но есть другие божества – дух смерти и повелитель загробного мира Барон Суббота, его грозная супруга Мама Брижит, покровительница девушек Мадемуазель Шарлот, дагомейского происхождения бог войны Огун или бог соблазна Симби. В современный словарь прочно вошло одно слово из обихода этой религии – «зомби».

Это – оживший мертвец, лишенный души, не способный мыслить, чувствовать и принимать самостоятельные решения. Его предназначение – исполнять приказы колдуна, который его оживил. Самое удивительное – что эти «ожившие мертвецы» существуют в реальности, еще в относительно недавнем прошлом они даже работали на плантациях сахарного тростника. Ученые полагают, что дело здесь не в колдовстве, а в применении так называемого «порошка зомби», существующего в реальности, который создает видимость смерти и последующего воскрешения (примерно через сутки) и при этом блокирует некоторые мозговые центры, лишая жертву воли, памяти и

способности мыслить. Установлено, что главным действующим компонентом является тетродотоксин, сильнейший яд (в 500 раз смертельнее цианистого калия), содержащийся в тканях некоторых тропических рыб, в частности, иглобрюха, или фугу. Я впервые встретился с этим ядом в Дананге, в Центральном Вьетнаме. Группа российских биологов в небольшой лаборатории выделяла тетродотоксин из ядовитых рыб, которые попадались в сети местных рыбаков, и те даром отдавали их биологам. Очищенный яд покупала (и по очень дорогой цене) американская фармацевтическая фирма – тетродотоксин в микродозах используется для лечения сердечных аритмий и как сильнейшее обезболивающее средство. Впрочем, как сказали мне в лаборатории, свойства этого яда изучены далеко не до конца.

Вернемся, однако, к зомби. Еще в 60-е годы XX века были отмечены случаи, когда людей, официально умерших и похороненных, встречали и узнавали их родственники – через несколько лет после их «смерти»! В последние годы ни о чем подобном я не слышал, и о зомбировании в Америке говорят практически лишь в переносном смысле – о «зомбировании» с помощью рекламы, политехнологий по формированию общественного мнения, религиозного (или патриотического) воспитания. Впрочем, это явление характерно не только и не столько для Америки. Скорее с таким «зомбированием» можно встретиться в России или в мусульманских странах Ближнего и Среднего Востока, где общественное мнение формируется с помощью немудреной, но часто повторяемой лжи. Конечно же, есть нечто подобное и в Америке, но направлено не на всю страну, а лишь на чернокожую часть ее населения. Я имею в виду сказки, которыми кормит негритянское меньшинство страны известная еще с 20-х годов организация «Нация ислама» – именно с ней связано появление так называемого «черного национализма». Со времен ее харизматического лидера Малколма Экса (Malcolm X) сказки превратились в твердые убеждения; и хоть они никак не подтверждены наукой, этого никто и не требует. Слово лидера – высшая правда и в огромных тоталитарных обществах, и в маленьких, маргинальных или криминальных (иногда и то и другое вместе) анклавах, отделяющих себя от других по расовому или этническому принципу. Вот, например, миф о Якубе, объясняющий происхождение человечества и противоречащий, кстати, и Библии, и Корану. В нем говорится, что 66 триллионов лет назад произошел мощный взрыв, вследствие которого из Луны выделилась Земля. Немного спустя появился первый человек, он был, конечно же, чернокожим. Белые люди, созданные в результате злого эксперимента мифического чернокожего ученого по имени Якуб, населяют Землю только 6 тысяч лет. Якуб ненавидел Аллаха и поэтому создал белую расу по образу и подобию дьявола, очевидно, имевшего «англосаксонский» расовый тип. Творению ученого не только не хватало «кожной пигментации», но и человечности. Кроме того, заявлялось, что белому человеку отведено господствовать в мире лишь определенный период времени, после которого милостивый и милосердный Аллах возвратит черным их законное право царствовать. Не сразу, конечно, – ведь «подлинное знание» об историческом прошлом, язык, культура, традиции – все было уничтожено дьявольским белым человеком. Спасение черной нации, по мнению Малколма Икса, заключалось в возвращении обратно «подлинного» знания. В принципе, конечно, все это – достаточно вольное толкование ислама, но ведь и откровенно языческий культ вуду, как мы помним, был признан «вариантом католицизма»!

Как вы помните, мы с вами пытаемся оценить степень угрозы безопасности в странах, по которым мы путешествуем. Преимущественно – исламистской угрозы. Соединенные Штаты, как мы знаем из исламистской пропаганды, являются главной, если не единственной настоящей целью. «Черный вторник» 11 сентября 2001 года это показал с апокалиптической убедительностью. Можно ли с допустимой степенью достоверности утверждать, что Америке угрожает с не меньшей силой и внутренний враг, выпестованный самой Америкой, ее демократией, ее изначальной мультикультурностью? Является ли «черная Америка» действительной альтернативой «белой Америке»? Что же такое «американский ислам»?

Статистика, как всегда, путается в понятиях и позволяет по-разному ангажированным аналитикам делать иногда совершенно противоположные выводы. Одни арабских эмигрантов, миллионы которых хлынули в Америку после Второй мировой войны, автоматически причисляют к мусульманам; другие смотрят данные более подробно и устанавливают, что большинство-то их оказывается ливанскими или палестинскими христианами. Чернокожих рабов в массовом порядке перевозили в Америку с начала XVII века; минимальная численность мусульман – 30 процентов. Ясно, что взято с потолка – особенно если заглянуть в историю Западной Африки. Работоторговцами, по-

ставщиками «живого товара» были как раз исключительно мусульмане, которым было легче договариваться со своими единоверцами – правителями прибрежных областей. Набеги же с целью захвата рабов совершали они на глубинные, языческие районы. Иначе откуда в Америке вуду?

Утверждают также, что плантаторы силой заставляли африканских мусульман переходить в христианство. Как это могло быть? Ведь по истории той же Испании мы знаем, что даже не слишком твердые в законах Пророка берберы, будучи насильственно обращенными в христианство, поднимали безнадежные восстания. Да и по законам Пророка человек, отказавшийся от ислама, подлежит смерти. Зафиксирован лишь один случай, когда в Америку был насильственно увезен мусульманский авторитет – и за него тут же вступились и султан Марокко, и другие деятели того периода, и тот был освобожден.

Я бы мог предложить еще одно доказательство – культурологическое, хотя кто-то может интерпретировать его иначе. Это – джаз. Синтез африканских синкопированных ритмов с европейской мелодикой породил удивительное, увлекательное в силу возможностей импровизации и, можно сказать, бессмертное направление музыкальной культуры. Ни для кого не секрет, что началом ему послужили протестантские духовные песнопения, преобразившиеся со временем в негритянские «спиричуэлс» (spiritual – рус. «духовный»). Нужно быть убежденным, даже экзальтированным христианином, чтобы сочинять такую музыку! Традиция продолжается до сих пор, и в джазовой вселенной чисто негритянские по происхождению и христианские по содержанию направления «госпел» или «соул» занимают почетное место.

Еще раз о статистике. Сколько же мусульман в Америке и сколько их среди афроамериканцев? Есть самые разные данные, самые разные измерения и принципы этих измерений. Соответственно, и разительно отличающиеся друг от друга цифры. Кто-то утверждает – 15 миллионов. А кто-то – не более двух. Так или иначе, мы должны учитывать, что «черный ислам», во всяком случае в том виде, как он предстает сейчас, не является ни суннитским, ни шиитским, ни принадлежащим к какому-либо иному признанному толку ислама. За исключением немногих лидеров, читавших Коран, большинство принимающих новую религию делают это из чувства протеста или солидарности со своими соседями по негритянским гетто. Очень многие принимают ислам в тюрьмах; там наиболее широко транслируются воззрения нынешнего лидера «Исламской нации» Луиса Фаррахана: во всем виноваты евреи, они даже ответственны за рабовладение в Соединенных Штатах. Он назвал Гитлера «величайшим гением всех времен», поскольку он понял «демонизм» евреев и истребил миллионы этих «слуг Сатаны». У него есть и подконтрольная пресса, и целый сонм опытных адвокатов, позволяющих ему уйти от уголовного преследования за явный криминал и за высказывания, оскорбляющие Конституцию США. Случись такой казус с белым гражданином США – он давно был бы наказан; таковы уж издержки американской политкорректности. Тем не менее, влияние «американского ислама» не следует переоценивать: при всем показном радикализме он никогда не призывал к уничтожению США, наоборот, ставил ультимативной целью возвращение всех «афроамериканцев» обратно в Африку.

Подобный эксперимент уже был в истории. Еще в 20-е годы XIX века началось переселение освобожденных рабов обратно в Африку. В 1847 году была провозглашена Республика Либерия, существующая до сих пор, но ставшая на протяжении последних двух десятилетий ареной многочисленных и весьма кровопролитных конфликтов. Коренные африканцы в конце концов взбунтовались против своих высокомерных родственников, явившихся из-за океана, и отобрали у них власть. Во главе государства встал младший вождь племени кран Сэмюэл Доу, который целое десятилетие правил страной, – пока в 1989 году повстанцы не заманили его в миссию ООН, а там кастрировали, отрезали ему ухо и заставили его съесть, и лишь потом убили. Сейчас ничем – живет страна, и даже первая в истории Африки президент-женщина со своими обязанностями справляется нормально. Пока...

Конечно же, лозунг возвращения в Африку в наше время не является ни искренним, ни действенным. Более того – он никак не касается более новых мусульманских иммигрантов, не имеющих к Африке никакого отношения. Их, кстати, значительно больше, чем мусульман – потомков бывших рабов. «Придешь к врачу – он обязательно из Пакистана или Бангладеш», сетовал мой американский приятель. Благодаря этим людям, настойчиво ищущим свою нишу в новом для них обществе, выросло и общее благосостояние мусульманской общины Америки. По данным

исследования, проведенного Pew Research Center for the People and the Press, только 10% американских мусульман имеют низкий уровень дохода. 52% относятся к среднему классу, 28% могут назвать себя богатыми людьми. Заметьте – эти цифры относятся к американским мусульманам вообще, а вовсе не к мусульманам афроамериканским.

Мы знаем о наличии в Америке ислама экстремистского толка, ислама Луиса Фаррахана и его организации. Но и среди афроамериканцев сильны умеренные трактовки ислама. Их сторонники настаивают, что обращение к учению Пророка учит молодое поколение самодисциплине, борьбе с алкоголизмом, наркоманией, преступностью. Не знаю; что-то реальной тенденции к снижению преступности среди афроамериканского населения пока не видно. Но это, конечно же, не угроза безопасности страны, хотя мы можем предполагать, что среди мусульманского населения США, как среди потомков африканских рабов, так и среди недавних иммигрантов из стран Ближнего Востока, есть и «спящие агенты», и откровенные противники существующего в Америке государственного и общественного строя. Является ли экстремистское толкование ислама одной из причин этого? Боюсь, и этого нельзя отрицать. Напомню лишь несколько случаев. В 2003 году, через две недели после вторжения в Ирак, обращенный ранее в ислам американский военнотружущий Хасан Акбар (урожденный Марк Кулс) открыл стрельбу и начал бросать гранаты в своих однополчан (его часть была расквартирована в Кувейте). Акбар убил двоих и ранил 14 военнотружущих. В 2005 году он был приговорен к смертной казни, став первым американским солдатом со времен вьетнамской войны, осужденным за нападение на другого солдата. На суде, по сообщению агентства АР, были зачитаны отрывки из его дневника: как оказалось, в 1997 году Акбар записал следующее: «Моя жизнь не будет полной, пока Америка не будет разрушена». Что же касается «спящих агентов» или потенциальных шахидов, успешно затерявшихся в мусульманской диаспоре США, то можно сослаться на теракт 26 декабря 1993 года, когда группа пакистанца Рамзи Юсуфа подорвала автофугас в гараже одного из зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Диверсия, как известно, удалась не полностью, небоскреб устоял, погибло 6 человек, более тысячи получили ранения. Основная часть террористической группы была арестована вместе со своим духовным лидером шейхом Омаром Рахманом и осуждена. Вполне возможно, что американские органы безопасности не сделали из этого случая достаточных выводов; во всяком случае, после катастрофы 11 сентября 2001 года, виновниками которой были убежденные исламисты, их обвиняли в недостаточной бдительности. Сейчас нет, пожалуй, никаких оснований для подобных обвинений. И органы безопасности мобилизовались (никто не публикует точного числа предотвращенных терактов, но речь идет о многих десятках, скорее сотнях), и само общество, в котором мусульмане составляют крошечное меньшинство, меняет свои предпочтения недавнего времени, уходит от безудержной «политкорректности» и становится более бдительным. Может быть, начинает работать инстинкт самосохранения, действующий не только для отдельной особи (животного или человека), но и для совокупности многих особей (стаи, этноса). Парадоксальным образом этот закон не влияет на политическое и используемое им интеллектуальное поле. Иными словами, общество само по себе инертно до тех пор, пока не столкнется с реальной опасностью, «открытой и явной угрозой». Но потенциал противодействия этой угрозе, инструменты ее отражения уже находятся внутри общества, и тогда общество выживает и развивается дальше. Нет – общество погибает, примеров этому история знает множество.

Попробуем с обратной стороны. Велик ли потенциал уничтожения Америки, в чем причины ненависти к ней не только в исламском ареале, но и в России, более того – в благополучной Западной Европе? Что для них Америка и что такое Америка для себя самой?

Легенды об «империализме», «неоколониализме» США имеют, в принципе, почву под собою. Другое дело, что страны, завоеванные Соединенными Штатами, впоследствии выбирали свой собственный путь, не отказываясь от демократии «американского типа». Филиппины – классический пример. Суверенное государство, превратившееся в таковое после испано-американской войны 1898 года. Долгое время левые журналисты утверждали, что это американская колония, что ее жители не что иное, как «маленькие коричневые американцы». И что сейчас? Филиппинцы охотно говорят по-английски, что позволяет свободно общаться населению десятков островов, не желающему осваивать официальный язык – тагалог. При этом сохраняются испанские имена и католическая религия (за исключением мятежного мусульманского юга). Страна

проводит свою собственную политику, без какой-либо оглядки на мнение Вашингтона, в рамках набирающей силу организации АСЕАН. Собственную политику проводят и карликовые государства Океании, бывшие до относительно недавнего времени американскими протекторатами. И это экономически процветающие государства, а республика Науру одно время занимала первое место в мире по уровню доходов на душу населения. Понятно, однако, что влиять на мировую политику государство с несколькими десятками тысяч человек населения никак не может. За исключением одной возможности – голоса в ООН или даже в Совете Безопасности. Так что – кто больше даст, в этом «самостоятельность» политики. Могут дать и США, но скорее – Саудовская Аравия или кто-то из подобных режимов с непрозрачным бюджетом. Утверждают, что возможные взятки планируются даже в национальных бюджетах карликовых государств.

Американцы крайне недовольны своим государством. Так было с самого начала: «куда смотрит президент», «в гробу мы видели эту демократию» и так далее – до момента, пока какой-нибудь иностранец не начнет повторять их же претензии. Тогда – все наоборот, и яркий всплеск американского патриотизма. Могу привести в пример моего старого друга, выходца из Камбоджи. Будучи буддистом, а вовсе не мусульманином, он познакомил меня с чамом, представителем крохотного меньшинства, исповедующего ислам. Сейчас в Камбодже есть исламский центр, финансируемый ваххабитами, но – пока никаких претензий на власть или часть ее: чамы, которых много лет угнетали, унижали, искореняли, заняты прежде всего проблемой собственного выживания. Мой новый знакомый, правоверный мусульманин-суннит и при этом яростный патриот новой родины – Америки, обратил мое внимание на то, что к нему обращались эмиссары (или агенты), связанные с организацией «Джамаат-уль-Фукра» – одной из наиболее опасных мусульманских организаций, давно базирующейся в США. ДФ идеологически ориентирована на установление власти «истинного» ислама во всем мире. Одним из методов укрепления и расширения влияния ДФ является создание поселений мусульман в глубинке США, особенно в тех штатах, которые выбирают «новые» иммигранты. Ячейки действуют самостоятельно, и при этом явно координируются из единого центра. Словом, очень близко к схеме «Аль-Каиды» – или это один из ее филиалов.

Думаю, что и эта организация (как и другие, наверняка находящиеся под пристальным наблюдением ФБР) не представляет угрозы ни для Америки, ни для всеобщего мира, так или иначе связанного с Америкой. Когда кто-то говорит, что его цель – уничтожить Америку, он лукавит. Он знает наверняка, что Америку уничтожить нельзя. Ненависть к Америке, демонстрируемая каждый день в арабском мире, не имеет реального выхода и действует наоборот: она ведет к краху антиамериканизма и его наиболее явной манифестации – арабо-мусульманского мира в том виде, в котором он существует сейчас. Каков этот мир будет в обозримом будущем – посмотрим. Куда денется убывающий день ото дня европейский антиамериканизм? Что станет с культивируемым, возрастающим день ото дня антиамериканизмом в России, не имеющим ни причин, ни морального оправдания?

Мы завершаем свое путешествие с востока на запад. Обошли весь земной шар – и неизбежно миновали какие-то важные страны, не заметили даже целые континенты. В следующий раз. Пока же – все путешественники остались живы. Сюань Цзан, Марко Поло, Христофор Колумб, Фернан Магеллан, Джеймс Кук и Фрэнсис Дрейк живы и готовы к дальнейшим подвигам. Удивительные страны еще скрывают свои секреты; нужно отказаться от привычных и удобных стереотипов, нужно попытаться представить себя на месте других, привыкнуть к мысли, что Земля не плоская, а круглая – и вертится, *errur si tuove*, как прошептал Галилей. Куда нас приведет разноцветный глобус в следующий раз? Думаю, в какое-то одно место или регион, где мы уж сможем разобрать все по косточкам. Пospорить, поругаться, признать свои ошибки и доказать свою правоту.

ИНЫЕ ЖАНРЫ...

Евгений МИНИН

ПАРОДИИ

ПРОБУЖДЕНИЕ

И я не умер и не болен.
Что ж я на белом тут лежу?
Андрей Битов

Как-то утром, между делом,
Просыпаюсь!
Боже мой!
Отчего ж лежу на белом?!
Люди, как же – я живой?!
По какому ж это праву?!
Кто решил, что мне – капут?!
Не хочу бессмертье,
славу,
Мне, живому, лучше тут.
Я в журналах разных рею,
Мною дорожит страна!
И за Битова Андрея
Пять небитых – не цена!
Стал уже почти великим –
Так за что же так меня?!
И жена
примчалась с криком:
Милый, это ж простыня!

СОБАЧИЙ СТИХ

Уставив глаз свой семицветный,
всё различавший в тишине,
пес умудрённый, семилетний,
сидел и думал обо мне.
Белла Ахмадулина

Пес семилетний, умный,
смело
оставив на меня свой зрак,
не знал, что я собаку съела
по части понимать собак.

Мужчины нынче – буки-бяки,
капризны стали все подряд.
Мне больше нравятся собаки
за то, что на меня глядят.
Как будто кость я из бульона,
а не известнейший поэт!
И размышляют умудрённо
псы от семи и выше лет.
И это сладко и приятно,
необъяснимо это так!
Прошу не понимать превратно,
а то – навешают собак!

ОТВЕТ МАКЕДОНСКОГО МОЛОКОСОСА

Я прошёл от заката снегов до заноса
По следам македонского молокососа.
Евгений Рейн

О поэт,
до тебя по годам не дорос,
Но уж если сказал,
что я – молокосос,
То тогда и Москва –
небольшое село,
Где количество хат бесконечно мало,
Океаны-моря –
небольшие пруды,
Да и Рейн – не река вовсе –
струйка воды.

ПРОБЛЕМА

Под камнем сим – пустое тело
той, что сказала не со зла
гораздо больше, чем хотела,
гораздо меньше, чем могла.
Вера Павлова

Соображалось ошалело,
и мысли острая игла:
А если меньше, чем хотела?
А если больше, чем могла?
И как бы повернулось дело
случись в стихе расклад иной?
Тут не беда – пустое тело,
когда проблема с головой.

ЗАВИСИМОСТЬ

Я пишу эти строки лёжа.
В тёплом пледе. На тёмном ложе.
Неглиже и с кремом на рожке.
Мария Степанова

ПАРОДИИ

Всё читаю потом, итога.
И признаюсь: мороз по коже.
Ужас, что сочиняется, Боже!

На кошмар мои строки похожи,
Впереди не видно ни зги.
Это надо же – крем на роже,
А влияет как на мозги!

ПОРА СЕДЛАТЬ ОСЛА

пора седлать осла
скитаться на покое
где липа не росла
и след не лип к подкове

Алексей Цветков

сдурел от ремесла
хлебнул две рюмки бренди
купил себе осла
в каком-то секонд-хенде
сказали что Пегас
опасней самолёта
мол падают сейчас
а мне пожить охота
поэтов всех кумир
помчусь я как цунами
туда где новый мир
нева звезда и знамя
заслышав стук подков
воскликнет вся Россия
ба это ж не Цветков
а форменный Мессия
взойдет моя звезда
и лишь душа в печали
там критиков орда
вот как бы не распяли

О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ

И я из поколенья зачатых непорочно...

.....

Уезжаю сразу с Трёх вокзалов.

Олег Хлебников

Я признаюсь – не спешите срочно,
Разносить по белу свету слух:
Я – Олег – зачат был непорочно,
Я – Олег – отец, и сын, и дух.
Не нужны мне храмы или залы,
В лике не хочу иконостас,
Но умею сразу с трёх вокзалов
Уезжать в три города зараз.

Это классно быть таким поэтом,
Вроде – человек, но – триедин!
Правда, я не знаю, как с билетом –
Три мне покупать или один?

ЭТО БЫЛ НАШ ПОСЛЕДНИЙ...

Я пил с Мандельштамом на Курской дуге
Снаряды взрывались и мины.

И к нам Пастернак, по окопу скользя,
сказал, подползая на брюхе...

Александр Ерёмко

Мы доблесть свою показали врагу,
не делая саморекламы.
На Курской дуге поднапились «в дугу»,
и я наливал Мандельштаму.
И сам Пастернак, полутрезв-полупьян,
Подполз к нам по краю оврага,
Спросив: Не хотите послушать роман
С названием: «Доктор Живаго»?
Но я отказал Пастернаку и сам
стихи прочитал свои сдуру.
Вскочил, как ужаленный, вдруг Мандельштам:
«Уж лучше я на амбразуру!»

ДЕЛО В МЫШКЕ

О файлы удалённые в корзине
меняющего кожу бытия...

Юрий Беликов

Я объясню – зачем тянуть резину,
Терзать недоумением народ,
Что файла удаление в корзину
Практически – компьютерный аборт.
В такие игры с Музой играю,
Талант гублю бездарно, на корню!
Я файлы гениальные – стираю,
А барахло десятки лет храню.
И абы что потом вставляю в книжку,
Аж самому не хочется читать!
Друзья-поэты!
Отнимите мышку,
А иначе великим мне не стать!

ОБНЕКРАШЕННОЕ

Краски есть – пишу картины,
Красок нет – пишу стихи
И шепчу: для бедной Нины
Все занятя неплохи.

Нина Горланова

Есть крупа – варганю кашу,
Кура есть – варю бульон,
Молоко – пьём простоквашу,
И в сырую – шампиньон!
И на радость мне, поэту,
Если вдруг съестного нет,
Объявляю всем диету
И сбегаю в Интернет.
И тогда горланят дети
И к отцу бегут опять:
Тятя-тятя, эти сети
Утащили нашу мать!!!

У САМОГО СИНЕГО МОРЯ

Меня пугает власть моя над миром,
над разными людьми и над вещами....
Нина Воронель (ред. журнала «22»)

Я нынче в редколлегии журнала.
Всё в кулаке –
и проза, и сатира.
И повод это мне всегда давало
считать себя владычицею мира.
Сама же,
не подвластная запрету,
стеной стою на горе графоману,
того могу печатать или эту,
а захочу – печатать их не стану.
Но и в журнальном деле много риска,
и к рыбке не ходи –
скажу открыто,
что если дальше так пойдет подписка –
сидеть мне у разбитого корыта.

О ВЕЧНОМ

Всё долбим, долбим, долбим,
Сваи забиваем.
А бывал ли ты любим
И забываем?
Андрей Дементьев

Дело лишь одно люблю:
Всюду, где бываю,
Разъясняю, как долблю –
Сваи забиваю.
Лишь последнюю бойком
Загоню я сваю,
То потом своим стихом
Всех уж задолбаю.
Выпущу за томом том,
Я же издаваем!

Чтобы стать в стране потом
Век забываем!

ЧАСТУШКА

Как же объяснить, мой милый,
Чтобы не смотрел нахмурясь?
Я туда уже ходила –
Постояла и вернулась.

Елена Исаева

Милый мой такая бука,
Вне себя от куражу,
Посылает на три буквы,
На какие – не скажу!
Не хватаю чемоданы,
Не рыдаю от души.
Милый, радоваться рано,
За шампанским не спеши!
Я всё помню, не забыла,
Погоди сжигать мосты.
Я туда уже ходила,
Там такие ж, как и ты...

НЕИЗБЕЖНОЕ...

Ербол в России – больше, чем поэт;

Ербол Жумагулов

Поэт в России меньше, чем ербол.
Читали, как я жгу сердца глаголом?!
Я думаю и Бродский был ерболом,
За письменный усаживаясь стол.
И многие за мною по пятам
Идут, ерболизируя идею
поэзии.
И этим я владею.
И всем её на блюдечке подам!
Пусть ёжится литературный свет –
Поверьте, это трезвая оценка,
Ербол в России – больше, чем поэт,
Не меньше, чем Евгений Евтушенко.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

РАЗДРАЖЕНИЕ, ИЛИ «КРУАЗАДА СУПЕРКАРГО ПРИ ПОРЫВИСТОМ ВЕТРЕ»

Уважаемая редакция «Зарубежных записок»!

Моё письмо – это отклик обыкновенного читателя, не критика и не литературоведа, на резкую статью Юрия Колкера «Смотритель Маяковского» (журнал «Крещатик», №4, 2006). Насколько мне известно, Вадим Перельмутер живёт в Германии. Хочу надеяться, что мои слова поддержки до него дойдут.

Имя Вадима Перельмутера, прославленного поэта, литературоведа, культуролога, известное каждому читающему человеку, не нуждается в защите, и тем не менее...

Речь в статье Юрия Колкера идёт о книге Георгия Шенгели («смотрителя Маяковского» – именно так назвал Шенгели придирчивый Мандельштам), составленной и прокомментированной Вадимом Перельмутером. И вот что прежде всего заметно непредвзятому читателю – нескрываемое и немотивированное раздражение. Причём гнев Ю. Колкера обрушивается главным образом на голову составителя и комментатора, который проделал, по общему признанию, большую, самоотверженную работу. Найдя несколько ошибок (не таких уж значительных, на наш взгляд), неистовый Колкер со сладострастным наслаждением язвит и колет серьёзного исследователя, раздувая эти огрехи до немислимых размеров.

Как известно, не рекомендуется множить сущности без особой необходимости, но зачем же множить бессмысленности? Что означает издевательское выражение рассерженного Юрия Колкера «круазада Суперкарго при порывистом ветре»?

Оказывается, вот что – не понравился Ю. К. комментарий Перельмутера:

«Круазада (уст.) – круиз, морское путешествие по круговому маршруту».

И критик раздражается грозным обобщением:

«До какой степени нужно стоять в стороне от европейской культуры, чтобы до этого уст. додуматься! Какой верой в свою безнаказанность обладать! Примечания к стихам европейца-полиглота написаны человеком, не знающим ни одного европейского языка. Ведь французскому *croisade* отвечают *crusade* по-английски, *cruzada* по-испански и по-португальски, *crociata* по-итальянски...»

Дальше – больше. Перельмутер неосторожно комментирует стихотворную строку Шенгели «В тесной каюте над картой седой сидит суперкарго» следующим образом: *«Суперкарго – карго – корабельный груз (без указания точного наименования)».*

Что бы сделал спокойный, доброжелательный человек? Сообщил бы нам, что на самом деле суперкарго – это человек, который отвечает за груз, второй помощник капитана. Приём-сдача, погрузка-выгрузка, правильная загрузка корабля, состояние в пути. То есть – доверенное лицо фрахтователей, тех, кто отправляет груз. Лицо одушевлённое – и вполне может быть седым по достижении определенного возраста (или состояния).

Но Колкер – не доброжелательный, да и придачу ещё и очень эмоциональный, уверяет, что сам седеет от комментариев Перельмутера.

Возможно, некоторые упреки не лишены основания. «Круазада», по всей видимости, действительно от английского *crusade*, «крестовый поход», а не морское кругосветное путешествие, как значится в комментариях. И слово *City* написано с ошибкой, и эпиграф к стихотворению Шенгели «That even the weariest river /Winds somewhere safe to sea» переведён приблизительно. «Wind» здесь не «порывистый ветер», а глагол «виться», и его окончание «s» указывает, что это именно глагол в третьем лице единственного числа, а не существительное. Возможно, В. П.

хуже чувствует английский язык, чем живущий в Лондоне Ю. К., но ведь и пишет культуролог преимущественно о русской поэзии.

И много других мух находит Юрий Колкер и делает из них сами понимаете кого. Но если серьёзно, разве эти незначительные погрешности могут привести к таким оглушительным выводам?

«Постепенно приходим к тому, что не верим вообще ни одному слову комментатора. Этому и тон комментариев способствует, тон самодовольный, авторский, в то время как настоящий комментатор свою индивидуальность должен забыть, подавить».

Указание творческому человеку, каковым является Вадим Перельмутер, подавлять свою индивидуальность, нам кажется по меньшей мере странным.

Вопрос, верить или не верить, пусть остаётся личной проблемой Юрия Колкера. А мы вот верим Вадиму Перельмутеру, он много делает для возрождения русской культуры, побуждает вспомнить почти забытые в России имена.

А к концу статьи автор вообще переходит на личность культуролога и вкладывает собственные мысли и представления о нас, читателях, в голову Вадима Перельмутера.

«Он не любит и не понимает стихов – и точно знает, что все мы таковы: не любим, не читаем и не понимаем стихов, а значит – всё проглотим, не поперхнувшись. Мы – показные потребители культуры, мы преспокойно без неё обходимся, мы только приличия по инерции соблюдаем, держа в памяти имена тех, кто для звуков жизни не щадил. При таком отношении комментариев становится всего лишь балластом...»

В чём только ни упрекает раздражённый житель Лондона замечательного учёного: и языки-то европейские он не знает (а кто их знает-то?), и рифмы бедного Шенгели переврал (ну да – там вместо «солдаты некогда шагали здесь вдоль вала» у комментатора они идут вдоль зала, но ведь это, может быть, даже опечатка), и смыслы его стихов исказил (много примеров), и важное слово «талатта» почему-то не перевёл, не напомнил (зачем? – моя жена его и так постоянно поминает, когда мечтает о летнем отпуске), и совершенно не разбирается в винах, путает итальянское вино с греческим (как это можно-то?), и очень плохо у него с арифметикой, хуже некуда, совершенно не умеет считать – наступление XX1 века отмечал вместе с такими же неучами первого января 2000 года (домыслы Ю. К.).

Заканчивается статья Юрия Колкера громким стенанием по поводу глобального несовершенства мира вообще и нашего читательского равнодушия в частности.

«Мысль, совесть, честное выверенное слово – ушли из нашей жизни за полной ненужностью. Вот тут на председательское место и садится Перельмутер с крузадодой, суперкарго и олимпийской невозмутимостью. Наше равнодушие, наша политическая корректность, уравнивающая ум и глупость, честь и подлость – гарантия его неуязвимости».

Ну что тут скажешь... Остаётся надеяться, что Вадим Перельмутер, несмотря на злобствования новоявленного британца, будет продолжать свой непростой труд просветителя в косной и неблагодарной среде.

С уважением,

*В. М. Перевозчиков, кандидат технических наук
Москва*

Коротко об авторах

Леонид Гиршович Прозаик. Родился в 1948 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградскую консерваторию, скрипач. С 1973 г. жил в Израиле, с 1979 г. – в Германии. Гражданин Израиля. Работал в оркестрах Ленинградской филармонии, Израильского радио, Нюрнбергской оперы, Ганноверского оперного театра. Первые рассказы были опубликованы в 1976 г. В России вышли романы: «Обменные головы» (1992), «Бременские музыканты» (1998), «Прайс» (шорт-лист Буковской премии 1999 г.), «Суббота навсегда» (2001), «Вий» (2005). Живёт в Ганновере.

Владимир Губайловский Поэт, критик, эссеист. Родился в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Окончил механико-математический факультет МГУ им. Ломоносова. В настоящее время работает в отделе критики журнала «Новый мир». Автор книги стихов «История болезни» (1993) и множества публикаций в литературной периодике. Лауреат премии журнала «Новый мир» (2001 год). Живет в Москве.

Елена Елагина Поэт, литературный и арт-критик. Родилась в Ленинграде. Закончила Ленинградский институт точной механики и оптики. Работала программистом, референтом в Союзе писателей, последние 13 лет – теле- и радиожурналист. Автор четырех стихотворных книг и множества публикаций. Лауреат нескольких литературных премий. Стихи переведены на несколько европейских языков. Живет в Санкт-Петербурге.

Александр Иличевский Прозаик, поэт, эссеист. Родился в 1970 в г. Сумгаит, Азербайджан. Окончил Московский физико-технический институт, занимался научной работой в Израиле и Калифорнии. Автор нескольких прозаических и поэтических книг и множества публикаций в российской и зарубежной периодике. Первое место в номинации «Поэзия» литературного конкурса «Дварим» (2005), лауреат премий журнала «Новый мир» (2005), имени Юрия Казакова за лучший рассказ (2005 г.) и IV Международного литературного Волошинского конкурса, финалист Национальной литературной премии «Большая книга» (2005 г.) и Бунинской премии 2006 г. – Серебряная медаль за книгу «Бутылка Клейна». Живёт в Москве.

Александр Кабаков Писатель, публицист. Родился в 1943 г. в Новосибирске. Окончил механико-математический факультет Днепропетровского университета по специальности «математика». Работал инженером, журналистом, был заместителем главного редактора газеты «Московские новости». Автор десятков книг и сотен журнальных и газетных публикаций. Книги переведены на пятнадцать языков и выходят во множестве стран. Лауреат нескольких престижных литературных премий. Живёт в Москве.

Владимир Кантор Писатель, доктор философских наук, историк русской культуры, автор книг по истории литературы, русской философии и философии русской истории, нескольких романов и множества повестей и рассказов. Родился в Москве в 1945 году. Окончил философский факультет МГУ и аспирантуру Института истории искусств. В настоящее время профессор Высшей школы экономики, член редколлегии журнала «Вопросы философии». Лауреат премий Генриха Бёлля (1992), фонда «Литературная мысль» (1997), журнала «Октябрь» (2001). Широко печатается в российской и зарубежной периодике. Статьи и проза переведены на немецкий, английский, французский, испанский, польский, сербский и эстонский языки. Живёт в Москве.

Юрий Колкер Поэт. Родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский политехнический институт, кандидат физико-математических наук. С 1984 г. – в Израиле, с 1989 г. – в Великобритании. Публикуется с 1972 г., за рубежом – с 1981 г. Автор семи книг стихов. Еще семь книг выпустил как редактор и переводчик. Редактор, составитель и комментатор двухтомника Владислава Ходасевича (1982-83, Париж). Около двух тысяч публикаций в российской и зарубежной периодической печати (стихи, рассказы, критика, публицистика). В 1989-2002 гг. работал на русской службе Би-Би-Си, вел программы «Парадигма и Европа». Живет в Лондоне.

Евгений Кочанов Публицист-международник. Родился в 1943 году. Выпускник Института восточных языков при МГУ им. Ломоносова. С 1968 года – сотрудник международного отдела Всесоюзного радио, с 1976 по 1993 гг. – корреспондент Советского (впоследствии Российского) телевидения и радио в странах Южной и Юго-Восточной Азии, печатался в московской и зарубежной периодике. С 2000 года живет в Германии (г. Бонн), регулярно печатается в русскоязычной периодике. Член Международного союза журналистов.

Александр Мелихов Прозаик, критик, публицист. Родился в 1947 г. в г. Россошь Воронежской обл. Окончил математико-механический факультет ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Автор множества прозаических книг, журнальных и газетных публикаций. Широко печатается в России и за рубежом, ведёт большую общественную деятельность. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Санкт-Петербурге.

Евгений Минин Поэт, прозаик. Родился в 1949 г. в городе Невель Псковской области. Закончил Ленинградский политехнический институт. Автор трёх сборников стихов и множества публикаций в периодике России, Европы, Канады, США, Израиля и большого количества текстов популярных песен. Председатель Иерусалимского отделения Союза писателей Израиля. Лауреат конкурса «Пушкинская лира» (США). Живёт в Иерусалиме.

Георгий Нипан Прозаик. Родился в Риге в 1955 г., в 1977 г. окончил химфак МГУ. Доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Института общей и неорганической химии РАН, автор или соавтор 170 опубликованных научных работ. Как прозаик печатался в журнале «Знамя». Живёт в Москве.

Эвелина Ракитская Поэт. Родилась в Москве в 1960 году. В 1988 закончила Литературный институт им. Горького. Автор книг стихотворений «Дожить до тридцати» (1991), «Без гнева и печали» (1998). Публиковалась в журналах и альманахах нескольких стран. С 1998 года – соучредитель издательского содружества А. Богатых и Э. Ракитской (Э.РА), Москва. В Израиле с 2004 г. Живет в Иерусалиме.

Владимир Салимон Поэт, литературный критик. Родился в Москве в 1952 г. Окончил географо-биологический ф-т МГПИ. Работал учителем в школе, в московском лесничестве, в обществе охраны природы, в ж-ле «Юность». Гл. редактор ж-ла «Золотой век» (1991-2001), зам. гл. редактора ж-ла «Вестник Европы» (с 2001). Автор множества поэтических книг и публикаций в ведущих отечественных и зарубежных литературных изданиях. Лауреат премий ж-лов «Золотой век» (1994), «Октябрь» (2001), Европейской премии Римской академии им. Антоньетты Драга за лучшую поэтическую книгу года (1995). Стихи переведены на английский, венгерский, итальянский, немецкий, французский, шведский и украинский языки. Живёт в Москве.

Хаим Соколин Прозаик. По образованию геолог, доктор геолого-минералогических наук, международный консультант по разведке нефти. Автор многочисленных рассказов и очерков, а также документальной повести «Есть ли нефть в Израиле? Записки идеалиста» (издана на иврите в 1990 году, на русском – в 1998 году). Публикуется в израильских русскоязычных газетах, в журналах «Время и Мы» (США) и «Гамбургская мозаика» (Германия). Живет в Иерусалиме.

Борис Хазанов Прозаик, эссеист, переводчик. Родился в 1928 г. в Ленинграде. По образованию врач. Учился в Московском университете, был арестован в 1949 г. по обвинению в антисоветской агитации. Освобождён в 1955 г. Участник самиздата. В 1982 г. эмигрировал в Германию. Многократно переводился на иностранные языки. Широко публикуется в России и за границей. Лауреат престижных литературных премий, в том числе зарубежных. Живёт в Мюнхене.

Марк Харитонов Прозаик, эссеист, переводчик. Родился в 1937 г. в Житомире. В 1960 году окончил историко-философский факультет МГПИ. Работал учителем, ответственным секретарём в многотиражной газете, редактором в издательстве. Переводил с немецкого Г. Гессе, С. Цвейга, Э. Канетти, Ф. Кафку и др. Автор множества книг и журнальных публикаций. Лауреат Букеровской премии за 1991 год. Живёт в Москве.

Сергей Чупринин Критик, публицист. Родился в 1947 г. в деревне Усть-Шоноша Архангельской области. Окончил Ростовский университет и аспирантуру ИМЛИ. Доктор филологических наук, профессор, главный редактор журнала «Знамя». Автор множества книг и публикаций в России и за рубежом. Награжден орденом «Знак Почета» (1984). Премии: «ЛГ» (1977, 1984), СП СССР (1979), ж-лов «ЛО» (1973, 1989), «Октябрь» (1986), им. А.Блока (1999), Царскосельская худ. премия (2001). Произведения переведены на многие иностранные языки. Живёт в Москве.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСКИ
Журнал русской литературы
Выходит ежеквартально

“Partner“ Verlag
Руководитель издательства: Михаил Вайсбанд
Художник: Р. Дубинский
Компьютерная верстка: В. Аввакумов
Корректор: Р. Вайнблат
Подписано к печати 15.09.2007

Адрес: “Partner“ Verlag
Postfach 104219
44042 Dortmund, Germany
Тел.: +49 / 231 / 950 94 10 (общий)
+49 / 231 / 952 973 16 (подписка)
E-mail: info@zapiski.de

Банковские реквизиты:
Konto 190 57 36
BLZ 440 700 24
Deutsche Bank Dortmund

Электронная версия в Интернете:

<http://magazines.russ.ru/> (Журнальный зал)
<http://www.zapiski.de>

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Для подписки на журнал вышлите, пожалуйста, в адрес издательства (“Partner“ Verlag, Postfach 104219, 44042 Dortmund, Germany) Ваши данные (адрес и телефон) и квитанцию об оплате подписки: 16 евро для жителей Германии и 27 евро (или чек на 27 евро) – для проживающих вне Германии. Вы получите четыре очередных выпуска журнала.

По вопросам подписки и приобретения ранее вышедших выпусков журнала звоните по тел.: +49 / 231 / 952 973 16

АНОНС

Читайте в двенадцатом номере «Зарубежных записок»

Прозу

Галины Корниловой (Москва),
Павла Мейлахса (Санкт-Петербург),
Михаила Бусина (Москва),
Арсения Березина (Санкт-Петербург)

Стихи

Светланы Кековой (Саратов),
Юрия Перфильева (Москва),
Давида Паташинского (Мунки, США),
Павла Лукаша (Бат-Ям, Израиль)

Критику

Ирины Роднянской и Владимира Губайловского (Москва)

и другие интересные материалы

